Библиотека
«Любителям российской словесности»

П. А. Висковатов

Михаил Юрьевич Лермонтов

Жизнь и творчество

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Вышедшая в 1891 году книга Павла Висковатого (он же — Висковатов) — первая полноценная биография Лермонтова, классический труд, приравненный к первоисточнику: она написана главным образом на основании свидетельств людей, лично знавших поэта и проинтервьюированных именно Висковатым. Этой биографией автор завершил подготовленное им первое Полное собрание сочинений поэта, приуроченное к 50-летию со дня его гибели.

Вспоминая о проделанной работе, Висковатый писал: «Тщательно следя за малейшим извещением или намеком о каких-либо письменных материалах или лицах, могущих дать сведения о поэте, я не только вступил в обширную переписку, но и совершил множество поездок. Материал оказался рассеяным от берегов Волги до Западной Европы, от Петербурга до Кавказа...» (от издательства «ЗАХАРОВ»)

- П.А. Висковатый
  - ○
  - ○ Часть I ДЕТСТВО И ПЕРВАЯ ЮНОСТЬ
    - ■ ГЛАВА I
    - ■ ГЛАВА II
    - ■ ГЛАВА III
    - ■ ГЛАВА IV
    - ■ ГЛАВА V
    - ■ ГЛАВА VI
  - ○ Часть II СТРЕМЛЕНИЯ И ТРЕВОГИ МОЛОДОСТИ (ПЕРИОД БРОЖЕНИЯ)
    - ■ ГЛАВА VII Университетские годы
    - ■ ГЛАВА VIII Литературная деятельность М. Ю. Лермонтова в университетские годы
    - ■ ГЛАВА IX Пребывание в школе гвардейских юнкеров
    - ■ ГЛАВА X М. Ю. Лермонтов по выходе из школы гвардейских подпрапорщиков
    - ■ ГЛАВА XI Литературная деятельность до первой высылки на Кавказ (1834-1837)
    - ■ ГЛАВА XII
    - ■ ГЛАВА XIII М.Ю. Лермонтов на Кавказе в 1837 году
  - ○ Часть III ЗРЕЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК И ПОЭТ
    - ■ ГЛАВА XIV Любовь

- ГЛАВА XV
- ГЛАВА XVI
- ГЛАВА XVII
- ГЛАВА XVIII
- ГЛАВА XIX
- ГЛАВА XX Дуэль

○ ПОСЛЕСЛОВИЕ

П.А. Висковатый
М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество

СОДЕРЖАНИЕ

Часть I. ДЕТСТВО И ПЕРВАЯ ЮНОСТЬ

Глава I

Бабушка поэта Е.А. Арсеньева. — Отец и мать. — Рождение М.Ю. Лермонтова. — Семейная жизнь родителей. — Смерть матери и разлука с отцом. — Детские забавы. — Воспитатели и товарищи детства. — Поездки на Кавказ. — Первая любовь.

Глава II

Переселение в Москву и воспитатель Капэ. — Боевые рассказы. — Влияние наполеоновских войн. — Капэ и Ле Гран. — Патриотические чувства. — Недовольство положением дел после 25 года отражается на музе Лермонтова. — Новые наставники. — Поступление в Благородный Университетский пансион. — Его состояние в бытность в нем Лермонтова. — Наставники: Зиновьев, Мерзляков и другие

Глава III

Начало поэтической деятельности. — Юношеские тетради Лермонтова. — Подражания Пушкину: «Черкесы», «Кавказский пленник». — Послание к школьным друзьям, «Корсар» и «Преступник». — Влияние Шиллера и Гете. — Начало драматических опытов. — Сюжеты драм. — Влечение к Испании. — Драма «Испанцы».

Глава IV

Драма «Menschen und Leidenschaften». — Меж двух огней. — Катастрофа. — Отец и сын. — Чрезмерная любовь.

Глава V

Предки Лермонтова. — Шотландский бард Томас Лермонт. — Русская ветвь Лермонтов. — Тоска по Шотландии. — Скорбь об отце, мысли о самоубийстве

Глава VI

Жизнь в Середникове. — Внешний вид Лермонтова. — Влияние Байрона и др. — Любовь к народным русским песням. — Детские забавы. — Интерес к серьезному чтению. — Романтическое настроение и жажда любви. — Екатерина Алексеевна Сушкова. — Наклонность передавать бумаге каждую мысль и чувство. — Собственное понимание внутреннего своего состояния

Часть II СТРЕМЛЕНИЯ И ТРЕВОГИ МОЛОДОСТИ (ПЕРИОД БРОЖЕНИЯ)

Глава VII. Университетские годы

Поступление в университет. — Профессора и студенты. — Кружки. — Лермонтов среди товарищей. — Холера — Отношение к вестям о революции во Франции и беспорядках в Польше и Новгороде. — Интересы студенчества, Белинского и Лермонтова. — Симпатии к Полежаеву. — Мидовская история. —

Столкновение с профессорами. — Выход из Московского университета и попытка вступить в Петербургский. — Перемена карьеры. — Поступление в Школу гвардейских юнкеров. — Лермонтов — питомец университета, а не Школы

Глава VIII. Литературная деятельность М.Ю. Лермонтова в университетские годы

Лирические мотивы. — Тоска по надземному миру. — Любовь к Вареньке Лопухиной. — Ангел смерти. — Байронизм. — Измаил-Бей

Глава IX. Пребывание в школе гвардейских юнкеров

Школа гвардейских юнкеров. — Что встретил в ней Лермонтов. — Удальство и отношение к товарищам. — Литературные интересы в школе. — Чувство одиночества

Глава X. М.Ю. Лермонтов по выходе из школы гвардейских подпрапорщиков

Кутежи и шалости. — Монго-Столыпин. Дружеская связь его с поэтом. — Лермонтов в салонах петербургского общества. — Е.А. Хвостова. — Женщины — друзья Лермонтова

Глава XI. Литературная деятельность до первой высылки на Кавказ (1834-1837)

Дружба с А.П. Шан-Гиреем и С.А. Раевским. — Знакомство с А. Краевским и другими литераторами. — Народничество Лермонтова. — Интерес к родной истории и народному творчеству. — Боярин Орта. — Песня про Грозного царя, Кирибеевича и Калашникова. — Тамбовская казначейша. — Сашка. — Маскарад. — Арбенин. — Два брата

Глава XII

Предсмертная дуэль Пушкина. — Впечатление смерти Пушкина на общество. — Толки. — Отношение к ним Лермонтова. — Стихи на смерть поэта. — Распространение стихов. — Арест Раевского и Лермонтова. — Следствие и показание Лермонтова. Приговор. — Отношение Лермонтова к Раевскому

Глава XIII. М.Ю. Лермонтов на Кавказе в 1837 году

Высылка из Петербурга. — Тамань. — Экспедиция на восточном берегу Черного моря. — Генерал Вельяминов. — Жизнь в действующем отряде. — Стихотворение «Бородино» и «Песня про царя Ивана Васильевича Грозного». — Странствование по Кавказу. — Приезд государя и конец экспедиции. — Сюжеты и типы некоторых произведений, взятые из кавказской природы и жизни. — Доктор Майер и декабристы. — Отъезд на родину

Часть III. ЗРЕЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК И ПОЭТ

Глава XIV. Любовь

Лермонтов в кругу молодых женщин. — Варвара

Александровна Лопухина. — Показания Шан-Гирея. — Варенька в произведениях поэта: в лирике, поэмах и драмах. — Колебания. — Померкнувший образ. — Известие о замужестве. — Месть посредством литературных произведений. — Примирение с Варенькой. — Муж Вареньки. — Страдания Варвары Александровны. — Раскаяние Лермонтова. — Смерть

Глава XV

Возвращение с Кавказа. — Приезд в Петербург. — В Гродненском гусарском полку. — Покровительство Бенкендорфа. — Перевод в лейб-гвардии гусарский полк. — Положение общества. — Отношение Лермонтова к современникам. — Суждение о поэте декабриста Назимова, князя Васильчикова и др. — Дума. — Суждение Боденштедта. — Лермонтов в литературных кружках и среди высшего общества. — Охлаждение к нему Бенкендорфа

Глава XVI

Столкновение с де Барантом. — Первая дуэль. — Суд и преследование и защита Лермонтова великим князем Михаилом Павловичем. — Вторая ссылка на Кавказ

Глава XVII

Экспедиция против чеченцев в 1840 году. — Отряд генерала Галафеева. — Конный отряд охотников под командой Дорохова и Лермонтова. — Забавы во время похода. — Бой под «Валериком». — Отзывы о Лермонтове Галафеева и Граббе. — Встреча с французской писательницей Гоммер де Гелль. — Сборы в Петербург

Глава XVIII

Первое издание стихотворений и «Героя нашего времени». — Суждение. — Религиозное направление. — Последнее пребывание в Петербурге. — Мечты об отставке и исключительно литературной деятельности. — Лермонтов в кругу друзей. — Нерасположение к поэту Бенкендорфа. — Внезапная высылка из Петербурга

Глава XIX

Последнее путешествие на Кавказ. — Встреча с Боденштедтом. — Из Ставрополя в Пятигорск. — Затруднения со стороны начальства относительно пребывания поэта в Пятигорске. — Дом, в котором жил Лермонтов. — Жизнь в Пятигорске. — Семья Верзилиных. — Антагонизм между приезжим и местным обществом. — Кружок молодежи. — Нелюбовь к Лермонтову представителей приезжего столичного общества. — Отношение к ним Лермонтова. — И.С. Мартынов. — Выходки Лермонтова: альбом карикатур, шалости

Глава XX. Дуэль

Настроение против Лермонтова. — Интрига. — Бал, данный молодежью пятигорским дамам 8 июля. — Недовольство балом представителей столичного общества. — Празднество, задуманное князем Голицыным. — Вечер 13 июля у Верзилиных и столкновение на нем между Лермонтовым и Мартыновым. — Вызов. — Меры, принятые для предупреждения дуэли, и легкомысленное отношение к ней друзей поэта. — Последнее творчество Лермонтова. — Настоящая причина дуэли кроется в тогдашних условиях общественной и официальной жизни. — Последнее пребывание поэта в колонии близ Пятигорска. — Место дуэли. — Свидетели ее. — Поединок и смерть

Эпилог

Труп поэта на месте поединка. — Перевоз тела в Пятигорск. — Затруднения при похоронах. — Могила. — Следственное дело. — Степень виновности Мартынова и других. — Слухи о причинах, побудивших Мартынова драться с Лермонтовым. — Преследователи и защитники Михаила Юрьевича. — Высочайшее повеление относительно лиц, причастных к дуэли. — Перенесение тела Михаила Юрьевича в Тарханы

Послесловие

Часть I ДЕТСТВО И ПЕРВАЯ ЮНОСТЬ

ГЛАВА I

Бабушка поэта Е.А. Арсеньева. — Отец и мать. — Рождение М.Ю. Лермонтова. — Семейная жизнь родителей. — Смерть матери и разлука с отцом. — Детские забавы. — Воспитатели и товарищи детства. — Поездки на Кавказ. — Первая любовь.

Горячо любила Михаила Юрьевича Лермонтова воспитавшая его бабка, Елизавета Алексеевна Арсеньева, и память о ней тесно связана с именем поэта. Она лелеяла его с колыбели, выходила больным ребенком, позаботилась дать ему блестящее и серьезное для того времени образование, сосредоточила на нем всю свою любовь и заботы. В преклонных летах, частью именно из-за этой беззаветной преданности к внуку, пользовалась она всеобщим уважением и не раз успевала отвращать своим заступничеством серьезную опасность, грозившую поэту. Когда его не стало, она выплакала по нему свои старые очи. Ослабевшие от слез веки падали на них, и, чтобы глядеть на опостылый мир, старушке приходилось поддерживать их пальцами.

По рассказам знавших ее в преклонных летах, Елизавета Алексеевна была среднего роста, стройна, со строгими, решительными, но весьма симпатичными чертами лица. Важная осанка, спокойная, умная, неторопливая речь подчиняли ей общество и лиц, которым приходилось с ней сталкиваться. Она держалась прямо и ходила, слегка опираясь на трость, всем говорила «ты» и никогда никому не стеснялась высказывать то, что считала справедливым. Прямой, решительный характер ее в более молодые годы носил на себе печать повелительности и, может быть, отчасти деспотизма, что видно из ее отношения к мужу дочери — отцу нашего поэта. С годами, под бременем утрат и испытаний, эти черты сгладились — мягкость и теплота чувств осилили их — хотя строгий и повелительный вид бабушки молодого Михаила Юрьевича доставил ей имя Марфы Посадницы среди молодежи, товарищей его по юнкерской школе. В обширном кругу ее родства и свойства именовали ее просто «бабушка».

Елизавета Алексеевна, урожденная Столыпина, была дочь богатого помещика Алексея Емильяновича Столыпина, давшего многочисленному своему семейству отличное воспитание. Многие из членов этой семьи представляли собой людей с

недюжинными характерами, самостоятельных и даровитых. Сперанский был с ними в самых приязненных отношениях, и они поддерживали дружбу с ним даже и во время его опалы когда многие боялись иметь к нему какое-либо отношение.

Сам Алексей Емильянович был человек бывалый, упрочивший состояние свое винными откупами, учрежденными при Екатерине II. Собутыльник графа Алексея Орлова, Алексей Емильянович усвоил себе и повадки, и вкусы его. Он был охотник до кулачных боев и разных потех, но всему предпочитал театр, который в симбирской его вотчине был доведен до возможного совершенства и, перевозимый хлебосольным хозяином в Москву, возбуждал общее удивление. Актерами были крепостные люди, но появлялись на сцене порой и домочадцы, и гости.

Дочери Алексея Емильяновича, девицы крепкого сложения, рослые и решительные, повыходили замуж уже в почтенном возрасте. Елизавета Алексеевна, бабка Лермонтова, сочеталась браком с гвардии поручиком Михаилом Васильевичем Арсеньевым, который был моложе ее лет на восемь.

Арсеньев был членом большой семьи, владевшей селом Васильевское в Тульской губернии, Ефремовского уезда. Женившись, Михаил Васильевич переехал с женой в имение Тарханы, Пензенской губернии, Чембарского уезда. В Васильевском оставались жить родные сестры его, девицы Варвара и Марья Васильевны, вдовая Дарья Васильевна да четыре его брата. Бывая в Москве и перекочевывая из нее в Пензенскую губернию, Арсеньевы подолгу гостили у них в Васильевском. От брака этого была всего одна дочь — Марья Михайловна. Отец ее, по рассказам, умер неожиданно и при необыкновенных обстоятельствах.

Хотя старушка Арсеньева впоследствии охотно говорила о счастливом супружестве, но в действительности сравнительно молодой муж чувствовал себя, кажется, не вполне счастливым с властолюбивой женой. Он увлекся соседкой-помещицей, княгиней или даже княжной Манвой. Елизавета Алексеевна воспылала ревностью к своей счастливой сопернице и похитительнице ее прав. Между женой и мужем произошла бурная сцена. Елизавета Алексеевна решила, что ноги соперницы ее не будет в Тарханах. Между тем, как раз к вечеру 1 января охотники до театральных представлений Арсеньевы готовили вечер с маскарадом, танцами и театральным представлением новой пьесы — шекспировского Гамлета в переводе Висковатова. Гости начали съезжаться рано. Михаил Васильевич постоянно выбегал на крыльцо, прислушиваясь к знакомым бубенчикам экипажа возлюбленной им княжны. Полная негодования, Елизавета Алексеевна следила

за своим мужем, с которым она уже несколько дней не перекидывалась словом. Впоследствии оказалось, что она предусмотрительно послала навстречу княжне доверенных людей с какой-то энергичной угрозой. Княжна не доехала до Тархан и вернулась обратно. Небольшая записка ее известила о случившемся Михаила Васильевича.

Что было в этой записке? Что вообще происходило между Арсеньевым и женой?.. Дело кончилось трагически. Пьеса разыгрывалась господами, некоторые роли исполнялись актерами из крепостных. Сам Арсеньев вышел в роли могильщика в V действии. Исполнив ее, Михаил Васильевич ушел в гардеробную, где ему и была передана записка княжны. Пришедшие затем гости нашли его отравившимся. В руках он судорожно сжимал полученное извещение.

Во время трагической смерти отца Марье Михайловне было лет пятнадцать. Мать страстно любила дочь свою, и, кажется, эта беззаветная привязанность вызвала охлаждение к мужу. Однако со смертью его проснулись воспоминания первых счастливых лет супружества, и Елизавета Алексеевна старалась устроить жизнь свою в прежних рамках. Как при муже, она каждый год проводила несколько месяцев в Москве, куда ездили из пензенского имения, посещая и останавливаясь на пути у родных и знакомых помещиков.

Возвращаясь однажды из Москвы, мать с дочерью заехали в Васильевское, к Арсеньевым, да и загостились у них. С Арсеньевыми находилась в большой дружбе семья Лермонтовых, жившая по соседству в имении своем Кроптовка. Она состояла из пяти сестер и брата Юрия Петровича, который был воспитан в 1-м кадетском корпусе в Петербурге, а потом служил в нем и вышел в отставку по болезни в 1811 году с чином капитана. Таким образом была прервана довольно успешная карьера 24-летнего офицера. Объясняется отставка, кажется, необходимостью переехать в имение и заняться хозяйством, с которым сестры не могли справиться.

Красивый молодой человек с блестящими столичными приемами произвел на Марью Михайловну сильное впечатление. Женское население Кроптовки и Васильевского жарко принялось за дело, и, к радости или к неудовольствию Елизаветы Алексеевны, молодые люди были помолвлены., и Марья Михайловна приехала с матерью в Тарханы объяв ленной невестой.

Родня Арсеньевой, кажется, не очень сочувственно отнеслась к проектированному браку и недоброжелательно глядела на бедного капитана, принадлежавшего не к родовитому их кругу.

Венчание происходило в Тарханах с обычной торжественностью при большом съезде гостей. Вся дворня была одета в новые платья. Среди гостей находились сестра Юрия Петровича и мать его Анна Васильевна.

Хотя Юрий Петрович, как увидим ниже, и происходил от древней шотландской фамилии, рано переселившейся в Россию, и предки его занимали видные должности при первых царях из дома Романовых, но род их обеднел, средства оскудели, и сам Юрий Петрович, как и другие, вряд ли знал хорошо свою родословную. Это можно видеть из того, что сын его еще в 1834 году не имел точных сведений о роде своем и обращался к родственнику своему за гербовой печатью, чтобы вырезать герб на своей.

Выйдя замуж, Марья Михайловна не получила в приданое недвижимого, и за ней считалось всего 17 душ без земли, вывезенных покойным отцом из его тульской деревни. Зато мужу ее, Юрию Петровичу, предоставлено было управлять имениями матери, селом Тарханы и деревней Михайловская. Он и распоряжался этими имениями до самой смерти жены полным хозяином — «вошел в дом», по выражению старожилов. Молодые выехали из Тархан в Москву, когда состояние здоровья Марьи Михайловны этого потребовало. За ними последовала и Елизавета Алексеевна.

Лермонтовы поселились в доме генерала-майора Федора Николаевича Толя около Красных ворот. Здесь у них со 2 на 3 октября родился сын. Крещен он был 11 октября и в честь деда Арсеньева наречен Михаилом. И в этом тоже заметна настойчивость характера бабки Арсеньевой, потому что из рода в род Лермонтовы именовались то Петром, то Юрием. Поэт наш первый в длинном ряду предков получил нетрадиционное имя, и отец его Юрий Петрович согласился на это неохотно.

Малютка и мать его были окружены всевозможными заботами. Из Тархан уже вперед, до срока, прислали двух крестьянок с грудными младенцами. Врачи выбрали из них Лукерью Алексеевну в кормильцы к новорожденному. Она долго потом жила на хлебах в Тарханах, и Михаил Юрьевич уже взрослым не раз навещал ее там, справлялся о житье-бытье и привозил подарки. Из Москвы Лермонтовы с бабушкой и грудным ребенком своим вернулись в Тарханы, и Юрий Петрович выезжал из них лишь иногда по хозяйственным делам то в Москву, то в тульское имение.

Супружеская жизнь Лермонтовых не была особенно счастливой; скоро даже, кажется, произошел разрыв или, по крайней мере, сильные недоразумения между супругами. Что

было причиной их, при существующих данных, определить невозможно. Юрий Петрович охладел к жене. Может быть, как это случается, ревнивая любовь матери к дочке, при недоброжелательности к мужу ее, усугубила недоразумения между ними. Может быть, распущенность помещичьих нравов того времени сделала свое, но только в доме Юрия Петровича очутилась особа, занявшая место, на которое имела право только жена. Звали ее Юлией Ивановной, и была она в доме Арсеньевых в их тульском имении, где увлекся нежным к ней чувством один из членов семьи. Охраняя его от чар Юлии Ивановны, последнюю передали в Тарханы, в качестве якобы компаньонки Марьи Михайловны. Здесь ей увлекся Юрий Петрович, от которого ревнивая мать старалась отвлечь горячо любящую дочку. Этот эпизод дал повод Арсеньевой сожалеть бедную Машу и осыпать упреками ее мужа. Елизавета Алексеевна чернила перед дочерью зятя своего, и взаимные отношения между супругами стали невыносимы. Временная отлучка Юрия Петровича, поступившего в ополчение, не поправила их. Если сопоставить немногочисленные сведения о Юрии Петровиче, то это был человек добрый, мягкий, но вспыльчивый, самодур, и эта вспыльчивость, при легко воспламенявшейся натуре, могла доводить его до суровости и подавала повод к весьма грубым и диким проявлениям, несовместимым даже с условиями порядочности. Следовавшие затем раскаяния и сожаления о случившемся не всегда были в состоянии искупить содеянное, но, конечно, могли возбуждать глубокое сожаление к Юрию Петровичу, а такое сожаление всегда близко к симпатии.

Немногие помнящие Юрия Петровича называют его красавцем, блондином, сильно нравившимся женщинам, привлекательным в обществе, веселым собеседником, «bon vivant», как называет его воспитатель Лермонтова Зиновьев. Крепостной люд называл его «добрым, даже очень добрым барином». Все эти качества должны были быть весьма не по нутру Арсеньевой. Род Столыпиных отличался строгим выполнением принятых на себя обязанностей, рыцарским чувством долга и чрезвычайной выдержкой — черты, отличавшие потом друга и товарища Михаила Юрьевича Алексея Аркадьевича Столыпина, известного под именем «Монго», который в обществе и среди товарищей почитался образцом благородства и рыцарства. В Юрии Петровиче выдержки-то именно и не было. Старожилы рассказывают, как во время одной поездки с женой вспыливший Юрий Петрович поднял на нее руку.

Факт этого грубого обращения был последней каплей в супружеской жизни Лермонтовых. Она расстроилась, хотя

супруги, избегая открытой распри, по-прежнему оставались жить с бабушкой в Тарханах.

Марья Михайловна, родившаяся ребенком слабым и болезненным, и взрослой все еще выглядела хрупким, нервным созданием. Передряги с мужем, конечно, не были такого свойства, чтобы благотворно действовать на ее организм. Она стала хворать. В Тарханах долго помнили, как тихая, бледная барыня, сопровождаемая мальчиком-слугой, носившем за ней лекарственные снадобья, переходила от одного крестьянского двора к другому с утешеньем и помощью; помнили, как возилась она с болезненным сыном. И любовь, и горе выплакала она над его головой. Марья Михайловна была одарена душой музыкальной. Посадив ребенка своего себе на колени, она заигрывалась на фортепиано, а он, прильнув к ней головкой, сидел неподвижно, звуки как бы потрясали его младенческую душу, и слезы катились по его личику. Мать передала ему необычайную нервность свою.

Наконец злая чахотка, давно стоявшая настороже, схватила слабую грудь молодой женщины. Пока она еще держалась на ногах, люди видели ее бродящей по комнатам господского дома, с заложенными назад руками. Трудно бывало ей напевать обычную песню над колыбелью Миши. Постучалась весна в дверь природы, а смерть — к Марье Михайловне, и она слегла. Муж в это время был в Москве. Ему дали знать, и он прибыл с доктором накануне рокового дня. Спасти больную нельзя было. Она скончалась на другой день по приезду мужа. Ее схоронили возле отца, и на поставленном мраморном памятнике еще и теперь читается надпись:

ПОД КАМНЕМ СИМЪ ЛЕЖИТ ТЕЛО
МАРИИ МИХАЙЛОВНЫ
ЛЕРМОНТОВОЙ,
УРОЖДЕННОЙ АРСЕНЬЕВОЙ,
Скончавшейся 1817 года, февраля 24 дня, в субботу.
Житие ей было 21 годъ, 11 месяцевъ и 7 дней.

Что произошло между мужем и матерью покойной, неизвестно, но только Юрий Петрович по смерти жены оставался в Тарханах всего 9 дней и затем уехал к себе в Кроптовку.

Убитая горем, Елизавета Алексеевна приказала снести большой барский дом в Тарханах, свидетеля смерти ее мужа и любимой дочери, и воздвигла на его месте церковь во имя Марии Египетской. Рядом с церковью она построила небольшое деревянное здание с мезонином, где и поселилась с внуком своим. Этот дом в Тарханах уцелел и по сей день.

Через несколько времени после отъезда своего из Тархан Юрий Петрович потребовал к себе сына. 5 июня Сперанский пишет брату Арсеньевой Аркадию Алексеевичу Столыпину: «Елизавету Алексеевну ожидает крест нового рода: Лермонтов требует к себе сына и едва согласился оставить еще на два года. Странный и, говорят, худой человек; таков, по крайней мере, должен быть всяк, кто Елизавете Алексеевне, воплощенной кротости и терпению, решится делать оскорбление». Рассуждение, впрочем, немного странное — называть желание отца иметь при себе сына «оскорблением бабушки». Вообще отзыв Сперанского, очевидно, не знавшего лично Юрия Петровича, надо принимать осторожно. Факт, что Юрий Петрович, несмотря на свое раздражение против жены и тещи, оставляет сына у бабушки, скорее доказывает его мягкость. Предположить, что он не любил сына или оставлял его у других по равнодушию к нему, трудно. Зачем ему в таком случае было требовать сына к себе? Зачем сдаваться на просьбы и представления бабушки, решаясь наконец быть в разлуке с сыном еще только два года? Миша был тогда всего трех лет. Отец рассудил, что уход за ним под наблюдением любящей его богатой бабушки будет лучше, нежели у него, вдовца с весьма ограниченными средствами. Дальше мы увидим, что взаимные отношения отца и сына были задушевные и любящие. Со стороны чувства к своему ребенку упрекать Юрия Петровича, кажется, нельзя.

Глубоко подавленная смертью дочери, Елизавета Алексеевна перенесла на внука всю свою любовь и приязнь. Она видела в нем средоточие всего, что было отнято судьбой в лице ее мужа и потом дочери. Этот внук носил имя своего деда; умирающая дочь поручила ей беречь его детство. Кроме Миши у нее никого не оставалось на свете. Она с ним старалась не расставаться; он спал в ее комнате, она наблюдала за каждым его шагом, страшилась малейшего нездоровья. Рожденный от слабой матери, ребенок был не из крепких. Если случалось ему занемогать, то в «деловой» дворовые девушки освобождались от работ, и им наказывали молиться Богу об исцелении молодого барина.

Приставленная со дня рождения к Мише бонна немка Христиана Осиповна Ремер и теперь оставалась при нем неотлучно. Это была женщина строгих правил, религиозная. Она внушала своему питомцу чувство любви к ближним, даже и к тем, которые по положению находились от него в крепостной зависимости. Избави Бог, если кого-либо из дворовых он обзовет грубым словом или оскорбит. Не любила этого Христиана Осиповна, стыдила ребенка, заставляла его просить прощения у обиженного. Вся дворня высоко чтила эту женщину, для мальчика

же ее влияние было благодетельно. Всеобщее баловство и любовь делали из него баловня, в котором, несмотря на прирожденную доброту, развивался дух своеволия и упрямства, легко при недосмотре переходящий в детях в жестокость.

Елизавета Алексеевна так любила своего внука, что для него не жалела ничего, ни в чем ему не отказывала. Все ходило кругом да около Миши. Все должны были ему угождать, забавлять его. Зимой устраивалась гора, на ней катали Михаила Юрьевича, и вся дворня, собравшись, потешала его. Святками каждый вечер приходили в барские покои ряженые из дворовых, плясали, пели, играли, кто во что горазд. При каждом появлении нового лица Михаил Юрьевич бежал к Елизавете Алексеевне в смежную комнату и говорил: «Бабушка, вот еще один такой пришел!» — и ребенок делал ему посильное описание. Все, которые рядились и потешали Михаила Юрьевича, на время святок освобождались от урочной работы. Праздники встречались с большими приготовлениями, по старинному обычаю. К Пасхе заготовлялись крашеные яйца в громадном количестве. Начиная со Светлого Воскресения, зал наполнялся девушками, приходившими катать яйца. Михаил Юрьевич все проигрывал, но лишь только удавалось выиграть яйцо, то с большой радостью бежал к Елизавете Алексеевне и кричал:

— Бабушка, я выиграл!

— Ну, слава Богу, — отвечала Елизавета Алексеевна. — Бери корзинку яиц и играй еще.

«Уж так веселились, — рассказывают тархановские старушки, — так играли, что и передать нельзя. Как только она, царство ей небесное, Елизавета Алексеевна-то, шум такой выносила!

А летом опять свои удовольствия. На Троицу и Семик ходили в лес со всем дворней, и Михаил Юрьевич впереди всех. Поварам работы было — страсть, на всех закуску готовили, всем угощение было».

Бабушка в это время сидела у окна гостиной комнаты и глядела на дорогу в лес и длинную просеку, по которой шел ее баловень, окруженный девушками. Уста ее шептали молитву. С нежнейшего возраста бабушка следила за играми внука. Ее поражала ранняя любовь его к созвучиям речи. Едва лепетавший ребенок с удовольствием повторял слова в рифму: «пол-стол» или «кошка-окошко», ему ужасно нравилось, и, улыбаясь, он приходил к бабушке поделиться своею радостью.

Пол в комнате маленького Лермонтова был покрыт сукном. Величайшим удовольствием мальчика было ползать по нему и чертить мелом.

Память о матери глубоко запала в чуткую душу мальчика: как

сквозь сон, грезилась она ему; слышался милый ее голос. Потеряв мать на третьем году, он, хотя смутно, но все-таки помнил ее. Замечено, что такие воспоминания могут западать в душу даже с двухлетнего возраста, выступая всю жизнь светлыми точками из причудливого мрака детских воспоминаний. В детстве звуки песни, петой ему матерью, всегда доводили Лермонтова до слез. Позднее он никак не мог вспомнить слов ее, но утверждал, что если бы услыхал эту песню, она произвела на него прежнее действие.

Альбом матери он всегда возил с собой и еще 11 -летним мальчиком на Кавказе вносил в него свои рисунки. Неразлучен с ним был и дневник матери.

Окруженный заботами и ласками, мальчик рос баловнем среди женского элемента. Фантазия его рано была возбуждена. Если ему и не пришлось слышать русских народных сказок, о чем он так сожалел позднее, находя, что «в них больше поэзии, чем во всей французской словесности», то все же голова ребенка полна была образов романтического мира.

Тогдашнее романтическое направление немецкой литературы уже давало себя знать, и немудрено, что его «мамушка», как он называл свою бонну-немку, немало передала ему рассказов, которые наполнили собой юную головку.

Рано уже любил мальчик часами глядеть на луну, следить за разновидными облаками, воображать в них рыцарей в шлемах, окружающих чудесное светило. Представлялось оно ему волшебницей, плавно идущей в свой чудесный замок, сопровождаемой дружиной верных защитников от опасных врагов — великанов, карлов и безобразных драконов и чудищ.

Во втором отрывке из неоконченной повести, имеющем, как и почти все писанное Лермонтовым, автобиографическое значение, изображается развитие характера мальчика — Саши Арбенина. Уже само имя Арбенина, столь часто встречающееся в разнородных сочинениях Лермонтова и всегда являющееся как бы прототипом свойств самого автора, дает нам право видеть в главных чертах Саши рассказ, взятый из истории детского развития самого Михаила Юрьевича. Саша Арбенин живет в деревне, окруженный женским элементом, под руководством няни. Няня эта заведует хозяйством, и с нею странствует Саша по девичьим, или же девушки приходят в детскую. «Саше с ними было очень весело. Они его ласкали и целовали наперерыв, рассказывали ему сказки про волжских разбойников, и его воображение наполнялось чудесами храбрости и картинами мрачными и понятиями противообщественными. Он разлюбил игрушки и начал мечтать. Шести лет он уже заглядывался на

закат, усеянный румяными облаками, и непонятно-сладостное чувство уже волновало его душу, когда полный месяц светил в окно на его детскую кроватку. Саша был преизбалованный, пресвоевольный ребенок. Он семи лет умел уже прикрикнуть на непослушного лакея. Приняв гордый вид, он умел с презрением улыбнуться на низкую лесть толстой ключницы. Между тем, присущая всем склонность к разрушению развивалась в нем необыкновенно. В саду он то и дело ломал кусты и срывал лучшие цветы, усыпая ими дорожки. Он с истинным удовольствием давил несчастную муху и радовался, когда брошенный камень сбивал с ног бедную курицу. Бог знает, какое направление принял бы его характер, если бы не пришла на помощь корь — болезнь опасная в его возрасте. Его спасли от смерти, но тяжелый недуг оставил его в совершенном расслаблении: он не мог ходить, не мог приподнять ножки. Целые три года оставался он в самом жалком положении, и если бы он не получил от природы железного телосложения, то верно отправился бы на тот свет. Болезнь эта имела влияние на ум и характер Саши: он выучился думать. Лишенный возможности развлекаться обыкновенными забавами детей, он начал искать их в самом себе. Воображение стало для него новой игрушкой. Недаром учат детей, что с огнем играть не должно. Но, увы, никто и не подозревал в Саше этого скрытого огня, а между тем он охватывал все существо бедного ребенка. В продолжение мучительных бессониц, задыхаясь между горячих подушек, он уже привыкал побеждать страдания тела, увлекаясь грезами души. Он воображал себя волжским разбойником среди синих и студеных волн, в тени дремучих лесов, в шуме битв, в ночных наездах, при звуке песен, под свистом волжской бури».

Для рано образовавшегося внутреннего, душевного мира поэта, мальчик не находил выражения, и, как это всегда бывает в подобных случаях, сила фантазии и общения мысли устремилась на явления природы. Детская душа, как душа младенствующих народов, тесно примыкает к природе и, сама уходя в нее, в то же время привлекает ее к себе, олицетворяет, индивидуализирует. Поэтому-то в памяти особенно даровитых людей на всю жизнь сохраняются поразившие их фантазию картины природы. Только позднее ум начинает интересоваться человеком, и мы увидим, как Лермонтов, даже и в поэзии своей, долго сохраняет интерес к звездам, тучам, в особенности ко всем величественным, мрачным или приветным явлениям природы и через них знакомит нас с состоянием души своей.

Воображение мальчика Лермонтова рано наполняли видения во сне и наяву. Еще в 1830 году вспоминает он сон, который

видел восьми лет и который сильно подействовал на его душу. Вспоминает он, как в те же годы случилось ему однажды ехать куда-то в грозу и как перед ним быстро неслось по небу небольшое облако, «как бы оторванный клочок черного плаща», и долго в памяти поэта живет то грозное небо с клочком мрачной, словно бедой чреватой, тучи.

Как Саша Арбенин, Лермонтов перенес трудную и продолжительную болезнь. Он вообще был весьма золотушным ребенком, страдал «худосочием», и этому-то, между прочим, приписывала бабушка оставшуюся на всю жизнь кривизну ног своего внука. Желание искоренить следы этой болезни и вообще поправить слабый организм Мишеля побудило ее взять его на кавказские воды.

Хотя Арсеньева и не ладила с своим зятем, но она не совершенно прекратила отношения с ним и его семьей. В 1825 году, когда бабушка опять повезла внука на кавказские воды, ее сопровождал Михаил Пожогин, женатый на родной тетке Михаила Юрьевича Авдотье Петровне Лермонтовой. Что Лермонтов ребенком бывал в имении отца, видно из приписки к стихотворению его «Гений», где он упоминает, что в 1827 году пребывал в ефремовской деревне.

Когда Михаил Юрьевич подрос и вступил в отроческий возраст, — рассказывают старожилы села Тарханы, — были ему набраны однолетки из дворовых мальчиков, обмундированы в военное платье, и делал им Михаил Юрьевич учение, играл в воинские игры, в войну, в разбойников. Товарищами были ему также родственники, жившие по соседству с Тарханами, в имении Апалиха, принадлежавшем племяннице Арсеньевой Марии Акимовне Шан-Гирей. У нее были дети: дочь Екатерина и три сына, старший из которых, Аким Павлович, воспитывался с Мишей и всю жизнь оставался с ним в дружеских отношениях. Близость места жительства ежедневно сводила детей, учившихся у одних и тех же наставников. Поступив позднее в университетский пансион в Москве, Лермонтов еще долго остается в переписке с родной семьей и, говоря о занятиях своих, дает советы относительно занятий прежнего своего товарища и троюродного брата.

Желая создать для Мишеля вполне подходившую обстановку, было решено обучать его вместе со сверстниками, с которыми он делил бы тоже и часы досуга. Кроме Акима Шан-Гирея, в Тарханах года два воспитывались и двоюродные его братья со стороны отца: Николай и Михаил Пожогины-Отрошкевичи, два брата Юрьевых, временно князья Николай и Петр Максютовы и другие. Одно время в Тарханах жило десять мальчиков. Елизавета

Алексеевна не щадила средств для воспитания внука. Оно обходилось ей до десяти тысяч рублей ассигнациями. На это-то она и указывала отцу, когда тот заводил речь относительно желания своего воспитывать сына при себе. Бедный человек, конечно, не был в состоянии сделать для Мишеля даже и части того, что делала бабушка.

Кроме обыкновенного курса наук, Мишеля и сверстников обучали языкам французскому и немецкому, а из древних — латинскому и греческому. Последнему обучал грек из Кефалонии, бежавший в Россию во время смут, предшествовавших войне за освобождение Греции. Но успехи Мишеля у этого ученого политического выходца были не особенно блестящи, и импровизированный ментор скоро перешел на чисто практическую деятельность. Он занялся выделкой шкур собак и этому искусству научил окрестных крестьян, до сей поры им занимающихся.

Своих сверстников Мишель любил делить на два лагеря. Происходили военные игры, воздвигались и брались крепости, совершались переходы. Порой устраивались танцы и даже домашние спектакли. Внимание воспитателей было обращено также и на развитие эстетического вкуса в питомце. Кажется, одной из любимых забав мальчика было занятие театром марионеток, в то время весьма распространенным. Еще из Москвы Лермонтов просил тетку выслать ему «воски», потому что и в Москве он «делает театр, который довольно хорошо выходит, и где будут играть восковые фигуры» (письмо N 1 к М. А. Шан-Гирей). Аким Павлович Шан-Гирей хорошо помнил этих актеров-кукол с вылепленными самим Лермонтовым головами из воска. Среди них была кукла, излюбленная мальчиком-поэтом, носившая почему-то название «Berquin» и исполнявшая самые фантастические роли в пьесах, которые сочинял Мишель, заимствуя сюжеты или из слышанного, или из прочитанного.

Лепил Лермонтов недурно, и С.А. Раевский рассказывает (материалы Хохрякова), что двенадцати лет он «вылепил из воску спасение жизни Александра Великого Клитом при переходе через Граник». Слоны и колесница, украшенные бусами, стеклярусом и фольгой, играли тут главную роль.

Желая поправить здоровье внука, бабушка несколько раз возила его на кавказские воды. У Столыпиных было имение Столыпиновка недалеко от Пятигорска, а ближе к Владикавказу жила сестра Арсеньевой Хастатова. В 1825 году поехали туда многочисленным обществом: бабушка, кузины Столыпины, доктор Анзельм Левис, Михаил Пожогин, учитель Иван Капэ и гувернантка Христина Ремер — все это сопровождало Мишу.

Приехали в Пятигорск в начале лета и здесь съехались с Екатериной Алексеевной Хастатовой, прибывшей из своего имения.

В голове мальчика тогда бродило уже многое. Чуткий ко всем явлениям природы, черпая из них нескончаемый материал для жизни фантазии, Лермонтов не мог не поддаться обаянию величественного Кавказа. Впечатления эти коснулись отзывчивой души мальчика и вызвали новый мир жизни и любви. Вот тут-то встретился он с ребенком-девушкой, вызвавшей первую весеннюю грозу души и глубоко и надолго запавшей в память мальчика. Она была немногим моложе Лермонтова, лет девяти. Белокурые волосы, голубые глаза, быстрые, непринужденные движения, а над ней — синее южное небо, упирающееся в седые вершины кавказских ледников, ниже — хребты гор, одетые причудливыми облаками, а вблизи — шум воды, бегущей меж скал по каменьям; вокруг — пышная зелень в блеске теплых лучей или облитая румяным закатом. Долго потом вспоминал мальчик-поэт этот Кавказ и время первой с ним встречи, время первого пробуждения души, и шестнадцатилетним юношей в тетрадях своих, в которых он изливал все чувства свои в стихотворной форме, он, вспоминая и славя Кавказ, как будто не в силах найти подходящую рифму и лад, пишет ему дифирамб стихотворной прозой:

«Синие горы Кавказа, приветствую вас! Вы взлелеяли детство мое, вы носили меня на своих одичалых хребтах; облаками меня одевали; вы к небу меня приучили, и я с той поры все мечтаю о вас да о небе...».

Едва ли к чему-либо так пристрастилось сердце Лермонтова, как к Кавказу. На него он излил всю свою любовь, им он дышал. Кавказ открыл ему свои объятия, величественные, как душа поэта, и объятия эти заменили ему ласки рано умершей матери, а позднее — любовь родной души, дружбу близких и далекую родину. В 1830 году в упомянутых черновых тетрадях через несколько страниц после воззвания к Кавказу он посвящает ему же еще стихотворение.

Хотя я судьбой, на заре моих дней,
О, южные горы, отторгнут от вас!
Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз.
Как сладкую песню отчизны моей,
Люблю я Кавказ.
В младенческих летах я мать потерял,
Но мнилось, что в розовый вечера час
Та степь повторяла мне памятный глас,
За это люблю я вершины тех скал,
Люблю я Кавказ.

Я счастлив был с вами, ущелья гор!
Пять лет пронеслось, все тоскую по вас.
Там видел я пару божественных глаз.
И сердце лепечет, вспоминая тот взор:
Люблю я Кавказ.

Тут же, 8 июля того же 1830 года, шестнадцатилетний Лермонтов делает описание этой своей ранней страсти:

«Кто мне поверит, что я знал уже любовь, имея 10 лет от роду? ...Мы жили большим семейством на водах кавказских: бабушка, тетушка, кузины. К моим кузинам приходила одна дама с дочерью, девочкой лет девяти; я ее видел там. Я не помню, хороша собою была она или нет, но ее образ и теперь еще хранится в голове моей. Он мне любезен, сам не знаю почему. Один раз, я помню, я вбежал в комнату. Она была тут и играла с кузиной в куклы: мое сердце затрепетало, ноги подкосились. Я тогда ни о чем еще не имел понятия, тем не менее это была страсть сильная, хотя ребяческая, это была истинная любовь; с тех пор я еще не любил так. О, сия минута первого беспокойства страстей до могилы будет терзать мой ум. И так рано!.. Надо мной смеялись и дразнили, ибо примечали волнение в лице. Я плакал потихоньку, без причины, желал ее видеть; а когда она приходила, я не хотел или стыдился войти в комнату, не хотел говорить о ней и убегал, слыша ее название (теперь я забыл его), как бы страшась, чтобы биение сердца и дрожащий голос не объяснили другим тайну, непонятную для меня самого. Я не знаю, кто была она, откуда... И поныне мне неловко как-то спросить об этом: может быть, спросят и меня, как я помню, когда они забыли; или тогда эти люди, внимая мой рассказ, подумают, что я брежу, не поверят ее существованию, а это было бы мне больно... Белокурые волосы, голубые глаза, быстрые, непринужденность...

Нет, с тех пор я ничего подобного не видал, или это мне кажется, потому что я никогда не любил, как в тот раз. Горы кавказские для меня священны...»

По возвращении с Кавказа бабушка с внуком вновь поселились в Тарханах. Это село на расстоянии 120 верст от Пензы, верстах в 12 от Чембар, уездного города с 3000 жителей, в близком расстоянии от большого села Крюковка. Едва выедешь из села этого, как в стороне покажется несколько изб среди густой зелени окружающих деревьев. Над ними высится скромный шпиль сельской колокольни. Это — Тарханы. Барский дом, одноэтажный с мезонином, окружен был службами и строениями. По другую сторону господского дома раскинулся роскошный сад, расположенный на холме. Кусты сирени, жасмина и розанов

клумбами окаймляли цветник, от которого в глубь сада шли тенистые аллеи. Одна из них, обсаженная акациями, сросшимися наверху настоящим сводом, вела под гору к пруду. С полугорья открывался вид на село с церковью, а дальше тянулись поля, уходя в синюю глубь тумана. Здесь мечтал своей детской душой пробужденный мальчик. Здесь переживал он вынесенные впечатления и лелеял мечты о девочке-ребенке, из которой слагался образ чудесного создания, молодой идеал юношеской фантазии.

Очевидно, к этому эпизоду детской любви относится стихотворение «Первая любовь», писанное в 1830 году.

Образ девушки этой возникал пред ним в детских мечтах, в уединении деревенского барского сада, над прудом и полями родного села, в блеске лучей заходящего солнца, среди трепетно падающих листьев ко сну отходящего осеннего леса. Так слит образ этой девушки с воспоминаниями детства, что еще за полтора года до смерти прибегает он к нему, уходя душой из пестрой толпы шумно окружавшего его столичного общества:

И если как-нибудь на миг удастся мне
Забыться, памятью к недавней старине
Лечу я вольной, вольной птицей.
И вижу я себя ребенком; и кругом
Родные все места: высокий барский дом
И сад с разрушенной теплицей.
Зеленой сетью трав подернут спящий пруд,
А за прудом село дымится — и встают
Вдали туманы над полями.
В аллею темную вхожу я; сквозь кусты
Глядит вечерний луч, и желтые листы
Шумят под робкими шагами.
И странная тоска теснит уж грудь мою.
Я думаю о ней, я плачу и люблю.
Люблю мечты моей созданье,
С глазами полными лазурного огня,
С улыбкой розовой, как молодого дня,
За рощей первое сиянье...

ГЛАВА II

Переселение в Москву и воспитатель Капэ. — Боевые рассказы. — Влияние наполеоновских войн. — Капэ и Ле Гран. — Патриотические чувства. — Недовольство положением дел после 25 года отражается на музе Лермонтова. — Новые наставники. — Поступление в

Благородный Университетский пансион. — Его состояние в бытность в нем Лермонтова. — Наставники: Зиновьев, Мерзляков и другие.

Когда Лермонтову пошел 14-й год, решено было продолжать его воспитание в «Благородном Университетском пансионе». В 1827 году бабушка повезла внука в Москву и наняла квартиру на Поварской. Теперь для Мишеля наступила новая жизнь: все пошло по-другому. Шумная рассеянная жизнь заменила прежнюю. В Тарханах и на Кавказе мальчик жил в простой, но поэтической обстановке, с людьми незатейливыми, искренно его любившими. Воспитатель его эльзасец Капэ был офицером наполеоновской гвардии. Раненым попал он в плен к русским. Добрые люди ходили за ним и поставили его на ноги. Он, однако же, оставался хворым, не мог привыкнуть к климату, но, полюбив Россию и найдя в ней кусок хлеба, свыкся и глядел на нее, как на вторую свою родину. И послужил же он ей, став наставником великого поэта.

Лермонтов очень любил Капэ, о котором сохранилась добрая память и между старожилами села Тарханы; любил он его больше всех других своих воспитателей. И если бывший офицер наполеоновской гвардии не успел вселить в питомце своем особенной любви к французской литературе, то он научил его тепло относиться к гению Наполеона, которого Лермонтов идеализировал и не раз воспевал. Может быть также, что военные рассказы Капэ немало способствовали развитию в мальчике любви к боевой жизни и военным подвигам. Эта любовь к бранным похождениям вязалась в воображении мальчика с Кавказом, уже поразившим его во время пребывания там, и с рассказами о нем родни его. Одна из сестер бабушки поэта Екатерина Алексеевна Столыпина была замужем за Хастатовым, жившим в своем имении близ Хасаф-Юрта по дороге из Владикавказа. Оно находилось невдалеке от Терека и именовалось Шелковицей (Шелкозаводск) или «Земной рай», как называли его по превосходному местоположению.

С таким названием еще можно было примириться, принимая в соображение несовершенство всего земного. Назвать имение «раем небесным» нельзя было уже потому, что небесное нам представляется мирным, а мира-то в этой местности тогда именно и не было: имение подвергалось частым нападениям горцев; кругом шла постоянная мелкая война. Однако Екатерина Алексеевна так привыкла к ней, что мало обращала внимание на опасность. Если тревога пробуждала ее от ночного сна, она спрашивала о причине звуков набата: «Не пожар ли?» Когда же ей

доносили, что это не пожар, а набег, то она спокойно поворачивалась на другую сторону и продолжала прерванный сон. Бесстрашие ее доставило ей в кругу родни и знакомых шуточное название «авангардной помещицы».

С Хастатовой Лермонтов познакомился во время своих поездок на Кавказ, да и сама она приезжала навестить свою дочь М.А. Шан-Гирей, жившую в имении своем Апалиха, близ Тархан. Мишель жадно прислушивался к волновавшим его фантазию рассказам о горцах, схватках удалых, набегах бранной жизни. С другой стороны, говорил ему на подобную же тему Капэ, да и вообще тогда все жило еще воспоминаниями о наполеоновских войнах.

То было на Руси время удивительное — эти годы после отечественной войны. Давно Россия на земле своей не видала врагов. Долгий и крепкий сон, которым спала особенно провинция, был нарушен. Очнувшийся богатырь разом почувствовал свою мощь, познал любовь свою к родине так, как сказалась она в нем разве два века назад, в 1612 году, когда стихийные чувства пробудились, смолкла взаимная вражда мелких интересов, перестали существовать сословные предрассудки, забылись привилегии классов, притупились чувства собственности, и каждый, в ком не иссохла душа, — а таких людей, слава Богу, было много — каждый чувствовал, что все его достояние, весь он принадлежит народу и земле родной. Этому народу, этой земле приносилось в дар достояние, как легко добытое, так и трудами накопленное. Оно приносилось в дар или прямо родине, или уничтожалось, чтобы не попалось в руки врага и через то не послужило бы во вред родной земле.

Весь существовавший до той поры порядок был нарушен. Социальный строй общества изменился. Понятия мое и твое перестали существовать; все были поглощены заботами об общем достоянии народа. В общественном понятии воцарились равенство и братство, а за достижение свободы все равно бились и умирали. В России заговорили те же поднимающие дух истины, которые электризовали французский народ в эпоху великой революции. Вот почему, несмотря на вражду, эти два народа, именно в эту годину бед ближе познали друг друга и преклонились в лучших людях своих перед одними и теми же идеалами. Взаимные симпатии и удивление великодушным чертам характера держались упорно, несмотря на проснувшийся патриотизм. Удивительно, что пробудившееся у нас самоуважение, забытое было среди лжи и поклонения всему иноземному, никогда не доводило русских до ослепляющего самомнения. Еще Петр, победителем под Полтавой, в шатре своем

За учителей своих
Заздравный кубок поднимает.

Пожегший добро свое русский, голодный и бесприютный, дружески относится к пленному французу. Говорят, Наполеон под Аустерлицем с соболезнованием и симпатией глядел на храбро гибнувших русских.

Однако зачем же превозносить русских? Не было ли того же одушевления и в Германии? — скажут мне. — Да, и там было оно, и там были люди, которые жертвовали последними грошами своими на войну за освобождение. Да это было не то, — собственность свою вообще там не забывали. Где же уничтожали перед врагом свое добро? Где там горожане жгли города свои, крестьяне — избы и жатву, купцы — свои запасы? Где же горела Москва, Смоленск? Где купец Ферапонтов, который, увидав в своей лавке солдат, расхищавших добро его и насыпавших пшеничную муку в ранцы свои, кричал им: «Тащи все ребята. Не доставайся дьяволам... Решилась Россия, решилась! Сам запалю».

«А разве мы не доказали в 12-м году, что мы — русские? Такого примера не было от начала мира... Мы — современники и не понимаем великого пожара в Москве, мы не можем удивляться этому поступку; эта мысль, это чувство родились вместе с русскими. Мы должны гордиться, а оставить удивление потомкам и чужестранцам, — так рассуждает 17-летний Лермонтов. — Ура, господа, здоровье пожара Московского!..»

Трудно провести параллель между тогдашней Россией и Германией. Там сожжение своей собственности русскими казалось признаком варварства: «Русские не доросли еще до Eigenthumsgefiihl'a» (чувства уважения к своей собственности), — поясняют немцы. Может быть, это и недостаток культуры. Может быть, «культуртрегеры» немцы и обучат нас иному, но только факт остается фактом, и идеи французской революции, разнесенные по лицу Европы наполеоновскими войнами, коснулись нас сильнее и отозвались в лучших умах наших, запечатлевших 25-летним страданием в Сибири свои декабрьские заблуждения.

Пусть декабристы наши повлекли за собой гонение на многие молодые, увлекавшиеся силы, погибшие рано, без прямой пользы родине, все же от них мы считаем новую эру умственного нашего развития. Это была наша первая эпоха возрождения умов, а эти умы воспитали наполеоновские походы. Не ровнять тогдашнюю Россию с Германией по культуре и общему развитию, но только мы, или то немногое, что среди нас было тогда культурного, сильнее восприняли в себя идеалы добра и человеколюбия. Правительство русское еще боролось против подавляющей

метгерниховской системы, и когда вся Германия склонила под нее шею свою, Россия последняя бросилась в ее объятия печальной реакции, от которой не могли отвратить ее утописты-мечтатели «союза благоденствия».

Удивительно, насколько лучше люди смотрели тогда на Наполеона. Поражала своим величием эта мощь человека, поднявшегося благодаря только собственной своей силе до величайшей власти, умевшего подавить многоголовую гидру анархии и междоусобия французского народа. Тут было что-то роковое, всесокрушающее и сокрушившееся само о другую, неизвестную ей, тоже роковую силу.

Пошел великан чужой земли на русского великана, пошел на дерзкий бой с неведомой ему силой. Да и сам-то русский великан сознавал ли свою силу, знал ли, где она у него таилась? Может быть, вследствие этого незнания и были так дерзки притязания рокового витязя чужой нам земли. Сошлись витязи;

Но улыбкою одною
Русский витязь отвечал,
Посмотрел, тряхнул главою:
Ахнул дерзкий и упал.

С удивлением, если не с благоговением, относились мы к личности Наполеона, и не было рабочего кабинета, где бы не находился столбик с чугунной куклой:

Под шляпой, с пасмурным челом,
С руками сжатыми крестом...

Войны с Францией не охладили симпатии русских к французам, а напротив усилили ее. Удивительно, что не только семьи наводнились воспитателями-французами, но даже в казенных заведениях можно было встретить французов-наставников, с полной симпатией относившихся к идеалам французской революции. Так, в императорском Александровском лицее профессором словесности был брат Марата, «весьма уважавший память известного французского террориста и приязненно относившийся к демократическим идеям».

Рассказы Капэ, по-видимому, имели на Лермонтова влияние подобное тому, какое на Гейне-ребенка имел влияние Ле Гран, солдат-барабанщик наполеоновской армии, стоявший в доме родителей поэта в Дюссельдорфе. «Когда я не понимал слова „liberte“, — рассказывает Гейне, — он бил марш „Марсельезы“, и я схватывал значение слова. Когда я не понимал, что значит „egalite“, он бил марш „ca-ira, ca-ira...“, и я понимал»... Внимая Ле Грану, Гейне научился любить Наполеона. «Я видел переход через Симилон: впереди всех император, а за ним лезли, цеплялись храбрые гренадеры. Испуганные птицы с криком кружились над

ними, а вдали слышался гром обвалов. Я видел императора на Лодиевском мосту с знаменем в руках. Я видел императора на лошади, в бою, у подножия пирамид, окруженного пороховым дымом и мамелюками. Я видел императора под Аустерлицем и слышал, как свистали пули над ледяной равниной. Я видел и слышал бой под Иеною, под Эйлау, под Ваграмом».

О разных славных битвах восторженно рассказывал своему питомцу Капэ. Но особенно его трогали рассказы о бородинском сражении, и в этом случае мальчик-поэт не внимал своему наставнику, а всецело склонялся на сторону русских рассказчиков, которых было немало.

Рассказывали и стар, и млад — и те, которые бились начальниками, и те, что сражались воинами-ратниками, — все эти восторженные патриоты, готовившиеся к смерти, чаявшие пасть за родину и накануне великой битвы облекавшиеся в чистые, белые рубахи, чтобы в них встретить славный конец.

Да,

Все громче Рымника, Полтавы

Гремит Бородино!...

восклицает в патриотическом восторге 17-летний Лермонтов, набрасывая в 1831 году первый очерк стихотворения, из которого позднее выработалось знаменитое «Бородино».

Интерес к Франции и Наполеону поэт сохранил на всю жизнь. С 1830 года до 1841 он неоднократно занимается французами и их императором. Суждение относительно их изменяется, но любовь к могучему вождю остается все та же. С годами она даже увеличивается и увеличивается именно тогда, когда он бичует французов:

Мне хочется сказать великому народу:

Ты — жалкий и пустой народ,

жалкий до того, что дух Наполеона, примчавшийся в Париж на свидание с новою гробницей, где лежит его прах, пожалеет

О дальнем острове, под небом южных стран,

Где сторожил его, как он, непобедимый,

Как он, великий океан.

Лермонтов, конечно, не раз слышал рассказы людей, испытавших славное время на Руси и в конце 1820 годов уже чувствовавших гнет реакции.

В Москве, куда перебралась Арсеньева на постоянное жительство, он мог их видеть довольно, и что он чуток был к жалобам их, что социальные вопросы и мысли о положении дел начинали его заинтересовывать, мы видим из стихотворения его, написанного еще в 1829 году в пансионе, под заглавием «Жалобы турка», где видно сетование на положение дел в родной стране,

Где являются порой
Умы холодные и твердые, как камень,
Но мощь их давится безвременной тоской,
И рано гаснет в них добра спокойной пламень.
Там рано жизнь тяжка бывает для людей,
Там за успехами несется укоризна,
Там стонет человек от рабства и цепей...
Друг, это край — моя отчизна!

Не знаю, чувствовал ли так пятнадцатилетний мальчик, но что он мог серьезно задумываться над тем, что слышал вокруг себя, это не подлежит сомнению, хотя бы приходилось судить по одному этому стихотворению.

Но я забежал вперед. Возвращаюсь к Капэ и воспоминаниям о войнах 1812 и 1815 годов, имевшим влияние на молодого поэта. Замечательно, что жители Тархан из многих наставников Михаила Юрьевича сохранили только воспоминание о Капэ и о немке Ремер, что они знают, как «молодой барин» любил учителя-француза и что об этой любви Лермонтова к нему и о влиянии на него старого наполеоновского офицера говорил и наставник Лермонтова Зиновьев.

Капэ, однако, недолго после переселения в Москву оставался руководителем Мишеля — он простудился и умер от чахотки. Мальчик нескоро утешился. Теперь был взят в дом весьма рекомендованный, давно проживавший в России, еще со времени великой французской революции эмигрант Жандро, сменивший недолго пробывшего при Лермонтове ученого еврея Леви. Жандро сумел понравиться избалованному своему питомцу, а особенно бабушке и московским родственницам, которых он пленял безукоризненностью манер и любезностью обращения, отзывавшихся старой школой галантного французского двора. Этот изящный, в свое время избалованный русскими дамами француз пробыл при Лермонтове, кажется, около двух лет и, желая завоевать симпатию Миши, стал мало-помалу открывать ему «науку жизни». Полагаю, что мы не ошибемся, если скажем, что Лермонтов в наставнике Саши в поэме «Сашка» (строфа XXV и далее) описывает своего собственного гувернера Жандро под видом парижского «Адониса», сына погибшего маркиза, пришедшего в Россию «поощрять науки». Юному впечатлительному питомцу нравился его рассказ:

Про сборища народные, про шумный
Напор страстей и про последний час
Венчанного страдальца. Над безумной
Парижскою толпою много раз
Носилося его воображенье... и т. д.

Из рассказов этих молодой Лермонтов почерпнул нелюбовь свою к парижской черни и особенную симпатию к неповинным жертвам, из среды которых особенно выдвигался дорогой ему образ поэта Андре Шенье. Но вместе с тем этот же наставник внушал молодежи довольно легкомысленные принципы жизни, и это-то, кажется, выйдя наружу, побудило Арсеньеву ему отказать, а в дом был принят семейный гувернер, англичанин Виндсон. Им очень дорожили, платили большое для того времени жалованье — 3000 р. — и поместили с семьей (жена его была русская) в особом флигеле. Однако же и к нему Мишель не привязался, хотя от него приобрел знание английского языка и впервые в оригинале познакомился с Байроном и Шекспиром.

Между тем, шло приготовление к экзамену для поступления в Благородный Университетский пансион. Занятиями Мишеля руководил Александр Зиновьевич Зиновьев, занимавший в пансионе должность надзирателя и учителя русского и латинского языков. Он пользовался репутацией отличного педагога, и родители особенно охотно доверяли детей своих его руководству. В Благородном пансионе считалось полезным, чтобы каждый ученик отдавался на попечение одного из наставников. Выбор предоставлялся самим родителям. Родственники приехавшей в Москву Арсеньевой Мещериновы рекомендовали Зиновьева, и таким образом Лермонтов стал, по принятому выражению, «клиентом» Зиновьева и оставался им во всю бытность свою в пансионе.

Пансион помещался тогда на Тверской; он состоял из шести классов, в которых обучалось до 300 воспитанников. Лермонтов поступил в него в 1828 году, но расстаться с своим любимцем бабушка не захотела, и потому решили, чтобы Мишель был зачислен полупансионером, следовательно, каждый вечер возвращался бы домой.

Справедливое замечание одного из лучших наших публицистов, что «в истории русского образования Московский университет и Царскосельский лицей играют значительную роль», само собой касается и Благородного Университетского пансиона, существование которого неразрывно связано с Московским университетом. Пансион этот с самого своего основания наделял Россию людьми, послужившими ей и приобретшими право на внимание потомства. Так там воспитывались: Д.И. Фонвизин, В.А. Жуковский, Д.В. Дашков, А.И. Тургенев, В.Ф. Одоевский, А.С. Грибоедов, И.Н. Инзов (кишиневский покровитель Пушкина), братья Николай и Дмитрий Алексеевичи Милютины и многие другие.

Можно смело сказать, что добрая часть наших деятелей

первой половины XIX века вышла из стен пансиона.

Когда в 1828 году Лермонтов поступил в университетский пансион, старые его традиции еще не совершенно исчезли. Между учащимися и учащими отношения были добрые. Холодный формализм не разделял их. Интерес к литературным занятиям не ослаб. Воспитанники собирались на общее чтение, и издавался рукописный журнал, в котором многие из них принимали посильное участие. Преподавание было живое, имелось в виду изучение славных писателей древних и новых народов, а не грамматического балласта, под которым в наши дни разумеют изучение языков.

Лермонтов принимал живое участие в литературных трудах товарищей и являлся в качестве сотрудника школьного рукописного журнала «Утренняя заря». Здесь поместил Лермонтов свою поэму «Индианка», которая была им сожжена. Содержание ее мы не знаем.

Им там же помещались стихотворения, на которые было обращено внимание учителей. Лермонтов показывал свои переводы из Шиллера, и Зиновьев полагает даже, что перевод баллады Шиллера «Перчатка» был его первым стихотворным опытом, что, однако, неверно. Любимому им учителю рисования Александру Степановичу Солонецкому Лермонтов передал тщательно переписанную тетрадку своих стихотворений.

Подавали свои стихотворные опыты учителям и другие воспитанники. Дурново подал пьесу «Русская мелодия» — подал ее за свою, хотя она и была писана Лермонтовым, вероятно, шутки ради, потому что Лермонтов, говоря об этом, отзывается о товарище задушевно. Инспектор пансиона Михаил Григорьевич Павлов, профессор физики при Московском университете, отличавшийся живостью преподавания и вносивший в область естествознания философию Шеллинга, поощрял литературные вкусы молодежи и задумал даже собрать лучшие из опытов их в особое издание. Этот проект остался невыполненным, но Лермонтов в письме в Апалиху к тетке своей Марье Акимовне с истинно детской восторженностью упоминает об этом факте.

Этот же инспектор интересовался успехами Лермонтова в рисовании и хранил у себя его удачные рисунки. «Умственное воспитание Лермонтова было по преимуществу литературное», — замечает А.Н. Пыпин в биографическом очерке поэта (изд. 1873 г., т. I, с. 1, с. XXII). Я полагаю, что относительно воспитания поэта можно сказать: любовь ко всем искусствам развивалась в нем, и все искусства были близки душе его. Он не только отлично рисовал, но хорошо играл на скрипке и на фортепиано. А. З. Зиновьев, учивший старших воспитанников декламации,

особенно обращал внимание на дикцию любимого им ученика. «Как теперь смотрю на милого моего питомца, — рассказывает этот наставник, — отличившегося на пансионском акте, кажется, 1829 года. Среди блестящего собрания он прекрасно произнес стихи Жуковского „К морю“ и заслужил громкие рукоплескания. Тут же Лермонтов удачно исполнил на скрипке пьесу и вообще на этом экзамене обратил на себя внимание, получив первый приз в особенности за сочинение на русском языке».

Лермонтов учился хорошо. Из упомянутого письма к тетке мы видим, что он считался вторым учеником. Поступил Лермонтов, кажется, в 4 или 5 класс. Всех классов было шесть, и высший подразделялся на младшее и старшее отделения. Директором был Петр Александрович Курбатов, а кроме названных учителей в пансионе преподавал еще Д.Н. Дубенский (известный своими примечаниями на «Слово о полку Игореве»), латинскому языку — адъюнкт университета Кубарев и математик Кацауров. В старшем же классе преподавали профессора университета Алексей Федорович Мерзляков и Дмитрий Матвеевич Перевощиков.

Мерзляков имел большое влияние на слушателей. Он отличался живой беседой при критических разборах русских писателей и недурно, с увлечением, читал стихи и прозу. Приземистый, широкоплечий, со свежим, открытым лицом, с доброй улыбкой, с приглаженными в кружок волосами, с пробором вдоль головы, горячий душой и кроткий сердцем, Алексей Федорович возбуждал любовь учеников своих. Его любили послушать в классе, с университетской кафедры, в литературном собрании пансиона. Но чтобы вполне оценить его красноречие и добродушие, простоту обращения и братскую любовь к ближнему, надо было встречаться с ним в дружеских беседах, за круговой чашей или в небольшом обществе коротко знакомых людей; тогда разговор его был жив и свободен. Мерзляков тем более должен был повлиять на Лермонтова, что давал ему частные уроки и был вхож в дом Арсеньевой. Конечно, мы не можем с достоверностью судить насколько сильно было это влияние. Сам Лермонтов не высказывается об этом, но явствовать может это из возгласа бабушки, когда позднее над внуком ее стряслась беда по поводу стихотворения его на смерть Пушкина: «И зачем это я на беду свою еще брала Мерзлякова, чтоб учить Мишу литературе! Вот до чего он довел его».

Об отношениях Лермонтова к пансионским товарищам мы знаем очень мало, но в одной его тетради, перебеленной в 1829 году, мы встречаемся со стихотворными посланиями к некоторым из них, проливающими свет на эти отношения. В пансионе, в кругу товарищеском, началась поэтическая деятельность

Лермонтова и по свидетельству наставника его Зиновьева, и по собственному признанию поэта. Но эта поэтическая деятельность подготовлялась в душе мальчика еще раньше. Интересно заглянуть в самый процесс первого развития ее.

ГЛАВА III

Начало поэтической деятельности. — Юношеские тетради Лермонтова. — Подражания Пушкину: «Черкесы», «Кавказский пленник». — Послание к школьным друзьям, «Корсар» и «Преступник». — Влияние Шиллера и Гете. — Начало драматических опытов. — Сюжеты драм. — Влечение к Испании. — Драма «Испанцы».

Пребывание на Кавказе и первая любовь открыли душу ребенка для мира поэзии. До нас дошла голубого цвета бархатная тетрадь, принадлежавшая Лермонтову-ребенку Она была подарена ему дружественно расположенным лицом на двенадцатом его году. И в эту тетрадь стал мальчик вписывать те стихи, которые ему особенно нравились. Явление это весьма обыкновенное. Вряд ли есть какой-либо ребенок, одаренный самой обыденной фантазией, который не заводил бы себе альбомов для записывания нравящихся ему стихов. Но по тетрадям Лермонтова мы вполне можем проследить, как от переписки стихов он мало-помалу переходит к переработке или переложению произведений известных поэтов, затем уже к подражанию и наконец к оригинальным произведениям. Замечу тут, кстати, что, строго говоря, подражания в Лермонтове не было. Напротив того, он переиначивал произведения других писателей, придавая им характер, присущий его индивидуальности. Подражание ограничивалось разве тем, что молодой поэт заимствовал сюжет или тот или другой стих, но и сюжету он давал свое освещение и иной характер действующим лицам и событиям. Стихи же, которые он заимствовал у другого поэта, получали у него своеобразный вид и напоминали оригинал разве одной лишь чисто внешней своей формой, но отнюдь не значением.

Платя дань обычаю времени, бабушка старалась сделать для внука французский язык родным. Тетради носят на себе следы этих французских упражнений. Даже переписка Лермонтова-юноши с близкими людьми велась на французском языке. Но поразительно верное чутье, которым всегда отличался поэт наш, рано подсказало ему, что не иноземная, а русская речь должна служить его гению. С Лермонтовым не повторялось того, что видим мы в Пушкине, — он не на французском языке пишет свои первые опыты.

Пятнадцати лет уверен он, что «в народных русских сказках

более поэзии, чем во всей французской литературе». Напрасно окружающие стараются убедить двенадцатилетнего мальчика в красотах французской музы: он, как будто скрепя сердце, поддается общему тогда восхищению этими поэтами, но уже тринадцати лет, кажется, навсегда отворачивается от них. По крайней мере, в упомянутой нами голубой бархатной тетрадке мальчика Лермонтова мы находим пометку, которой он вдруг перерывает неоконченную выписку из сочинения французского автора, говоря: «Я не окончил, потому что окончить не было сил». А затем, как бы в подтверждение нашей догадки, что ему чужеземная речь была не по душе, он переходит к переписке русских стихотворений, помечая день этот 6 ноября 1827 года. Дальше мы будем иметь случай указать на задушевную мысль уже зревшего таланта — избавить нашу литературу от наплыва произведений иноземных муз.

Первая выписка поэтических произведений на русском языке, которую мы находим в тетради Лермонтова — это «Бахчисарайский фонтан» А.С. Пушкина, переписанный им целиком, и «Шильонский узник» В.А. Жуковского. Самостоятельные же поэтические опыты, по собственному признанию поэта, были им сделаны в пансионе.

Приступая к рассмотрению этих опытов, нельзя не поговорить о важности биографического материала, представляемого юношескими тетрадями поэта. Они нагляднее всякой биографии рисуют поэта и постепенное развитие его таланта. Из них видно, как рано полюбил Лермонтов поэзию и как постоянно оставался верен ей. Дома, в пансионе, летом в деревне — везде вносил он в эти тетради свои мысли, чувства и свои — сначала детские, потом юношеские — стихотворения. Из этих же тетрадей видно, кто больше всего имел влияния на Лермонтова, что он читал, чего хотел, как он по несколько раз обращался к одной и той же мысли. Эти тетради составляют счастливое приобретение для биографа, но, кроме того, и редкость в литературном мире. У какого писателя так далеко могут восходить воспоминания? У кого из них уцелел такой материал, если не всегда важный в литературном, то неоцененный в биографическом отношении? Здесь нет той невольной хитрости, тех невольных уловок мыслей, которые всегда заметны в автобиографиях, написанных в позднюю пору жизни, нет желания отыскивать объяснения позднейших явлений, хитрить с самим собой, все подводить под одну теорию — одним словом, нет умысла, хорошего или дурного, все равно. Здесь день идет за днем, перед вами растет человек и поэт, и вы, помимо всяких чужих свидетельств, которым не всегда можно верить, видите, что он любил, как он

любил, что имело на него сильное влияние, под влиянием каких писателей и направлений он находился. Вы видите постепенное влияние на него французских писателей, потом Пушкина, Жуковского, Шиллера, Гете, Байрона и Шекспира.

В тетрадях этих литературная работа часто прерывается ученическими упражнениями на немецком, французском и английском языках, а в школьных тетрадях среди ученических занятий встречаем мы стихотворные наброски.

От переписки стихов Лермонтов перешел к их переделке. Понятно, что любимцем его стал Пушкин, слава которого тогда уже гремела. Но не первые произведения «певца Руслана и Людмилы», как всюду тогда величали Пушкина, увлекали мальчика. Своеобразные типы байроновских героев, отразившихся на «Бахчисарайском фонтане», «Кавказском пленнике» и «Цыганах», поражают его воображение. Образцы эти, естественно, вязались с омраченной, чуткой и не чуждой страданиям душой мальчика. Знаменательно уже, что он тщательно переписывает именно «Бахчисарайский фонтан» и «Шильонский узник». Хотя в переводе Жуковского, уже по свойству его таланта, выдвинулась более романтическая сторона и меньше заметно специального духа, свойственного байроновским героям, все же он сказался и вместе с «Братьями-разбойниками» Пушкина (напечатанными в 1825 году в «Полярной звезде») вызвал со стороны Лермонтова две поэмы — «Корсар» и «Преступник».

Впрочем, как на первую попытку подражать Пушкину, можно смотреть на поэму «Черкесы», писанную, как кажется, в 1828 году. Писал эту поэму Михаил Юрьевич, когда ему не было еще 14 лет, — писал в городе Чембары, за дубом, с которым связывалось какое-то дорогое для него воспоминание. Рукой поэта на самом заглавном листе переписанной им начисто поэмы помечено: «В Чембаре, за дубом». Мальчика охватили образцы и звуки пушкинского «Кавказского пленника». И неудивительно, что именно это произведение славного нашего поэта увлекало мечтательного Мишеля. Эта мечтательность и так давно была возбуждена картинами Кавказа. Ему невольно должно было казаться, что Пушкин вылил словами то, что выразить самому еще было не по силам. Живые впечатления Кавказа, вынесенные мальчиком так недавно, сливались с очарованием пушкинского стиха. Сначала он зачитывается этим произведением, но работающие в нем мысли и чувства настолько самостоятельны, что он не может без дальнейшего принять и удовлетвориться продуктом чужого творчества. И вот он под руководством поэмы Пушкина пробует создать свое или переделать эту дорогую поэму так, чтоб она более соответствовала его собственному

мировоззрению и индивидуальности его. Поэтому он, не стесняясь, берет у Пушкина, что ему кажется подходящим, а что не подходит, он видоизменяет по-своему.

Неудовлетворенный первой попыткой, Лермонтов тотчас берется за переделку сюжета и прямо называет его одним именем с пушкинской поэмой — «Кавказский пленник», также как у Пушкина, разбивая его на две части. Надо однако сознаться, что если вся концепция взята Лермонтовым у Пушкина, то в картинах кавказской природы мы видим будущего великого художника. Многие стихи «Черкесов» мы встречаем в стихах «Кавказского пленника»; и те, и другие являются собственно только пересказом пушкинских.

Конец пушкинской поэмы, очевидно, казался юному поэту недостаточно трагичным, то есть ужасным — два понятия, всегда смешиваемые в юные годы. И вот Лермонтов старается усилить впечатление тем, что освобожденный любящей его черкешенкой пленник в глазах ее сражен пулей, посланной ему притаившимся отцом ее. При этом сама смерть пленника описывается почти теми же словами, как смерть Ленского в «Евгении Онегине».

Но роковой ударил час...
Раздался выстрел — и как раз
Мой пленник падает... Не муку,
Но смерть изображает взор,
Кладет на сердце тихо руку...

Отец попирает убитого ногой, и, не вынеся этого горя, черкешенка, как и у Пушкина, потопляет себя. Трагизм всего Лермонтов старается увеличить указанием на то, что старый черкес, застреливший русского, в то же время стал убийцей своей дочери.

Но кто убийца их жестокий?..
Он был с седою бородой;
Не видя девы черноокой,
Сокрылся он в глуши лесной.
Увы, тот был отец несчастной!..
Поутру труп оледенелый
Нашли на пенистых брегах:
Он хладен был, окостенелый.
Казалось, на ее устах
Остался голос прежней муки;
Казалось, жалостные звуки
Еще не смолкли на губах...
Узнали все, но поздно было...
Отец, убийца ты ее,
Где упование твое?

Терзайся век, живи уныло!
Ее уж нет и за тобой
Повсюду призрак роковой...

Весьма замечательно, что уже тут в первом произведении поэта высказывается самостоятельная мысль (об отце у Пушкина и намека нет), которую потом встретим мы в целом ряде юношеских драм. Это — деспотизм отца, доводящий детей до трагического самоубийства.

В поэму введены и друзья пленника, чего нет у Пушкина. Внося в поэму свое индивидуальное, Лермонтов дал в ней место выражению занимавших его чувства. Душа его в то время уже сильно жаждала дружбы. В набело переписанной тетради 1829 года, содержащей пьесы 1828 года, мы встречаем множество намеков, указывающих на то, что душа мальчика постоянно была занята мыслями о дружбе. Многие стихи посвящены лицам, очевидно, из дружеского, товарищеского круга:

Я рожден с душою пылкой,
Я люблю с друзьями быть

— говорит он. Всю тетрадь эту Лермонтов посвящает тогдашнему близкому другу своему, некоему Сабурову, не раз, впрочем, оскорблявшему чуткую душу мальчика.

.. Оттенок чувств тебе несу я в дар,
Хоть ты презрел священной дружбы жар.

Он жалуется, что «ложный друг увлек Сабурова в свои сети», жалуется на его измену, восклицает: «Как он не понимал моего пылкого сердца!» и зовет его к себе

Под сень черемух и акаций,
Чтоб разделить святой досуг.

Наконец, последовал и совершенный, должно быть, разрыв. «Наша дружба, — говорит Лермонтов в примечании к последнему стихотворению, посвященному тому же Сабурову, — наша дружба смешана со столькими разрывами и сплетнями, что воспоминания о ней совсем невеселы. Этот человек имеет женский характер; я сам не знаю, отчего дорожил им».

Впечатлительная и зыбкая натура юноши часто приводила его к тяжкому разочарованию в друзьях. Тогда он старался найти выход этому чувству в эпиграммах на друзей или дружбу.

Хороши были отношения Лермонтова к другому товарищу — Дурново, о котором он отзывался еще и немного позднее, как о друге, которого он все еще уважает за его открытую и добрую душу. «Он мой первый и последний друг», — говорит юный поэт.

Это примечание к стихотворению сделано рукой поэта по прошествии известного времени. Должно полагать, когда он вновь перечитывал и передумывал писанное прежде. Постоянные

обращения к друзьям и намеки на дружбу, конечно, свойственны самому возрасту, в который вступал мальчик, но, кроме того, и самая жизнь в семье стала все более тяготить его. Несчастное положение между любимым и принижаемым отцом, с одной стороны, и бабушкой и родными, с другой, обострялось все более. Гордого по натуре ребенка все сильнее раздражало пренебрежение окружающих к бедности и незнатности рода отца, а следовательно, и его самого. Мальчик должен был искать привета и дружбы вне домашней обстановки, там, где ничто не оскорбляло бы его. И вот

В уме своем он создал мир иной
И образов иных существованье.

Этим состоянием, может быть, объясняется, почему в своем «Кавказском пленнике» мальчик-поэт рисует друзей пленника, играющих в его новом положении не последнюю роль и утешающих его, разделяющих с ним скорбь рабского положения на чужбине. «В слезах склонясь к младой главе», стараются эти товарищи несчастья привести в чувство лежащего без памяти. На груди их он плачет и рыдает по родине. Он

Счастлив еще, — его мученья
Друзья готовы разделять
И вместе плакать и страдать...

«Кавказского пленника» Лермонтов писал в Москве. По крайней мере, тетрадь, в которую вписан он, помечена: «Москва, 1828 год».

Мальчику, очевидно, очень хотелось придать своему опыту характер почтенного печатного издания. Тетрадь имеет вид небольшой книжки, переплетенной в зеленый сафьян с золотым тиснением, в 8-ю долю листа, с виньетками и картинками и с заглавным листом, писанным как бы печатными буквами.

В одной тетради с «Кавказским пленником» находится и еще поэма, тоже относящаяся к 1828 году, — это «Корсар». Она писана под влиянием «Шильонского узника» Жуковского и начинается почти теми же словами:

Друзья, взгляните на меня!
Я бледен, худ, потухла радость!

Повлияли не нее, может быть, и «Братья-разбойники» Пушкина, которые, впрочем, и сами по себе напоминают «Шильонского узника», что чувствовал и сам Пушкин и что высказал он в письме к князю Вяземскому («Русский Архив» 1874 г., N 1). Во всяком случае, влияние «Братьев-разбойников» видно в стихотворении «Преступник». Но в этой поэме можно отыскать следы и еще одного влияния — это влияние Шиллера и именно драмы его «Дон Карлос». Героя поэмы полюбила мачеха. Как и в

«Доне Карлосе», старик-отец женится на молодой женщине. Молодая женщина и летами, и характером ближе подходит сыну, чем отцу, и развивается роковая страсть, вызывающая вражду между отцом и сыном. У Лермонтова отношения между мачехой и пасынком имеют более жгучий и страстный характер, у Шиллера же любовь их идеальнее и более платоническая. Надо, впрочем, сознаться, что в этой поэме заметно, как мальчик-поэт начинает освобождаться от непосредственного влияния. Мы видим больше самостоятельности и не встречаем перефразировки чужого стиха.

Влияние на поэму Шиллера тем вероятнее, что в это время Лермонтов действительно начинает знакомиться с ним и вчитываться в него, что видно из попыток перевода некоторых пьес немецкого поэта, которые встречаем в тетрадях 1828 и 1829 годов. В Шиллере его поразила мысль, которую он и передал двустишием:

Счастлив ребенок! и в люльке просторно ему, но дай время
Сделаться мужем — и тесен покажется мир.

Ясно, что раз под влиянием пушкинских произведений открылся в душе мальчика родник поэзии, давно в нем дремавший и насыщенный природой Кавказа, он уже бежал неудержимо, обращаясь сначала в ручей, потом развиваясь в бурливый поток и в реку, то шумно бегущую меж скал и каменьев, то тихо катящуюся меж тростников и лугов по цветущей равнине.

Выследить рост этого ручья мы можем: видим почти каждый посторонний приток, воспринятый им, и надо сказать, что рост этот совершался с изумительной быстротой. Лермонтов воспринимал в себя все, что подходило к его индивидуальности, энергически отбрасывая чуждое ему.

Одновременно с Шиллером Лермонтов познакомился, конечно, и с Гете, но олимпийское спокойствие гетевской музы не могло нравиться юноше — он понял ее уже гораздо позднее, когда талант и дух его стали более зрелыми. Теперь он сделал было попытку даже перевести кое-что из Гете, но не кончил перевода.

Знакомясь с Шиллером, Лермонтов начинает пристращаться и к драматической форме. Прежде всего в тетради 1829 года встречаем мы перевод сцены трех ведьм из «Макбета» Шиллера. Известно, что Шиллер не просто перевел шекспировского Макбета, а переделал его под влиянием общераспространенного в то время мнения, что произведения Шекспира, при всей своей гениальности, уродливы и для представления в театре должны быть переделываемы. Лермонтов рано интересуется Шекспиром, переделки его ему не нравятся, и он оставляет Макбета в

переделке Шиллера непереведенным.

Первую попытку драматизировать сюжет, хоть бы и чужой, представляют «Цыганы» Пушкина. Он хотел из этой поэмы составить либретто для оперы и взялся за него еще в 1829 году, но и эта попытка осталась неоконченной. Лермонтов частью сохранял дословный пушкинский текст, частью же, где считал это нужным, вставлял свои стихи, или писал монолог прозой, или оставлял пробел для того, чтобы «выписать из Московского Вестника подходящую песню для одной из цыганок». Юный писатель, как видно, не церемонился и откровенно брал то, что считал подходящим.

Мало-помалу драма так увлекает Лермонтова, что все прочитанное слагается в фантазии его в драматическую форму. Тут мы встречаемся с обрывками мыслей и воспоминаний, накиданных им в черновых его тетрадях. Прочитывает ли Михаил Юрьевич популярный тогда роман Шатобриана «Аттала»; он в тетрадях пишет заметку: «Сюжет трагедии. — В Америке. — Дикие, угнетенные испанцами. — Из романа французского Аттала». Читает ли он русскую историю; сейчас слагаются у него образы и драматизируется сюжет: «Мстислав черный». В герое Мстиславе Лермонтов старается изобразить свои чувства, свою любовь, патриотизм.

В конце израненный Мстислав умирает под деревом, прося одного из бегущих мимо него поселян, ищущих в лесу убежища от татар, рассказать его дела какому-либо певцу, «чтобы этой песнью возбудить жар любви к родине в душе потомков».

Очевидно, Лермонтов в себе самом видел этого певца. Сюжет этот, оставленный поэтом, доказывает однако же, как рано затрагивали его мотивы из народного прошлого и что знаменитая его «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» — не единственная попытка в этом роде. Между стихотворениями 1829 года встречаем мы тоже отрывок поэмы «Олег».

Все, с чем знакомился Лермонтов, приводит его к мысли о драме. Читая жизнь Мария, написанную Плутархом, он задумывает трагедию «Марий», оканчивающуюся смертью Мария и самоубийством его сына, и затем, в той же тетради, говорит о желании написать трагедию «Нерон», не помечая, впрочем, плана ее. Эти обе трагедии задуманы были им в 1831 году и тоже не выполнены. В тетрадях же 1830 года после сюжета «Мстислав» встречается целый ряд набросков и замыслов один другого причудливее, а главное — кровавее. Как и раньше в своих переделках произведений знаменитых поэтов, в своем «Кавказском пленнике» и «Корсаре», молодой Лермонтов думает

еще, что сила трагедии заключается в ужасном, в убийстве и крови.

Едва ли не первым сюжетом трагедии записан сюжет, в котором отец с дочерью, злейшие разбойники, ожидают приезда сына к себе в деревню. Недалеко от этой отцовской деревни, спешащий к отцу и сестре молодой человек на постоялом дворе встречается со своей возлюбленной и матерью ее. Ночью на них нападают разбойники. Офицер храбро защищается и одному отрубил даже руку. Поутру с трупом своей возлюбленной он прибыл в деревню отца, где по недостающей руке больного он узнает, кто были ночные разбойники. Подоспевшая, еще по прежним подозрениям, полиция арестует отца, а сын, не вынеся горя и позора, застреливается. Тут вбегает старый служитель сына, хочет его увидеть и видит мертвого.

Таких набросков и планов в двух-трех словах или кратких пометках много раскидано по тетрадям. Начинающий драматург не знает, за что взяться. Выполнение задуманных сюжетов не удавалось, но, может быть, оно требовало изучения, которое было не под силу; требовало знания нравов, жизни, этнографии, истории. Поэт мечется из стороны в сторону. Он даже думает покинуть драматическую форму и временно останавливается на мысли написать поэму «Поэма на Кавказе. Герой — пророк», как гласит небольшая пометка.

Наконец, воображение его остановилось на Испании. Ни одна страна не могла представить данных, более удобных для составления драм. Тут, казалось, и не требовалось особого изучения нравов и жизни. Молодой фантазии услужливо представлялись: гордый своими предками, закоренелый в сословных предрассудках кастилец, инквизитор, иезуит, наемный убийца, преследуемый жид. Тут — убийства, кровь, зарево костров и благородная отвага, луна, любовь и балкон, с ангелом на балконе и с певцом под ним. В эту страну перенес и другой великий поэт XIX века, Генрих Гейне, свою молодую фантазию, и одной из первых его драматических попыток была драма из этой воображаемой романтической испанской жизни «Альманзор», с дикой страстью, с убийством и кровью. В порывистых и страстных натурах Гейне и Лермонтова было некоторое сходство.

Но кроме причин, приковывавших фантазию молодого Михаила Юрьевича к испанской обстановке, его влекло к этой стране особое чувство: он видел в ней родину своих предков и воображал, что в нем течет испанская кровь.

Существовало предание о том, что фамилия Лермонтовых происходила от испанского владетельного герцога Лермы, который во время борьбы с маврами должен был бежать из

Испании в Шотландию. Это предание было известно Михаилу Юрьевичу и долго ласкало его воображение. Оно как бы утешало его и вознаграждало за обиды отцу. Знатная родня бабушки поэта не любила отца его. Воспоминание о том, что дочь Арсеньевой вышла замуж за бедного, незнатного армейского офицера, многих коробило. Немудрено, что мальчик наслушался, хотя бы и от многочисленной дворни, о захудалости своего рода. Тем сильнее и болезненнее хватался он за призрачные сказания о бывшем величии рода своего. Долгое время Михаил Юрьевич и подписывался под письмами и стихотворениями: «Лерма». Недаром и в сильно влиявшем на него Шиллере он встречался с именем графа Лермы в драме «Дон Карлос». В 1830 или 1831 году Лермонтов в доме Лопухиных на углу Поварской и Молчановки начертил на стене углем голову (поясной портрет), вероятно, воображаемого предка. Он был изображен в средневековом испанском костюме, с испанской бородкой, широким кружевным воротником и с цепью ордена Золотого Руна вокруг шеи. В глазах и, пожалуй, во всей верхней части лица нетрудно заметить фамильное сходство с самим нашим поэтом. Голова эта, нарисованная al fresco, была затерта при поправлении штукатурки, и приятель поэта Алексей Александрович Лопухин был этим очень опечален, потому что с рисунком связывалось много воспоминаний о дружеских беседах и мечтаниях. Тогда Лермонтов нарисовал такую же голову на холсте и выслал ее Лопухину из Петербурга. Испания стала страной поэтической фантазии юного поэта.

Даже действие любимого, много лет занимавшего поэта, произведения «Демон» в наброске 1830 года происходит в Испании.

Раз найдя почву для драматического сюжета, Лермонтов с жаром принимается за него, и в тетрадях среди лирических произведений мы постоянно натыкаемся на наброски планов, имен, сцен, действующих лиц и наречий, касающихся трагедии «Испанцы».

Герой трагедии, пылкий и благородный Фернандо, безродный найденыш, воспитанный в доме гордого испанского дворянина Аль-вареца, влюбляется в дочь дона Альвареца прекрасную Эмилию, преступной страстью к которой увлечен патер Соррини, иезуит и член инквизиции. Альварец выгоняет Фернандо за дерзновенное помышление жениться на Эмилии. В длинной тираде перед портретами предков он прославляет значение знатного рода. В ответ на это юный поэт заставляет Фернандо высказывать мысли личной симпатии к народу. Видно, его занимал вопрос взаимных отношений знати к простолюдину. В

одной из черновых тетрадей мы встречаемся с наброском мысли: «В первом действии моей трагедии молодой испанец говорит отцу своей любовницы, что благородные для того не сближаются с простым народом, что боятся, дабы не увидали, что они еще хуже его», и действительно мысль эту поэт вносит в трагедию.

Злая мачеха Эмилии, вторая жена Альвареца, желая избавиться от падчерицы, входит в заговор с Соррини, который выкрадывает молодую девушку и прячет у себя. Фернандо находит ее в момент величайшей для нее опасности и, оберегая от позора, закалывает. Мимо оторопевшего Соррини и слуг его он уходит с дорогим трупом и приносит его в родительский дом. Соррини поднимает на ноги инквизицию. Фернандо окружают, боятся, однако, подойти к нему. Фернандо серьезно и не думает защищаться и просит только, чтобы Соррини позволил ему тереть с прядью волос, отрезанных у мертвой Эмилии.

ФЕРНАНДО (к Соррини).

Ты видишь этот черный пук волос!
Пускай они горят со мной; сегодня
Я их отрезал с головы ее (указывает на тело Эмилии).
Пред смертью не снимайте их с меня —
Они вам не мешают.

СОРРИНИ.

Нет, нельзя!
Никак нельзя.

ФЕРНАНДО.

Последняя мольба! (скрежещет зубами).
Поверь мне, эти волосы никак
Тебе не помешают слышать крики
Мои, которые железо пытки
Исторгнет!...

СОРРИНИ.

Нет, никак нельзя...
Их вид твои страданья облегчит,
Но этого не хочет суд,
(Действие V, сцена 1-я).

Когда и эта последняя просьба не признана, Фернандо бросается заколоть Соррини, но только легко ранит его в руку. В этой неудаче он видит указание неба и смиряется.

ФЕРНАНДО (к Соррини).

Ныне вижу,
Что не исполнил ты свое предназначенье
И меру всех твоих злодейств. Творец —
Свидетель мне: хотел отчистить землю я
От зверя этого... Презренный человек!

Он отвратительнее для меня,
Чем все орудья пытки. (Бросает кинжал на землю).
Прочь неверный
Металл! Ты мне служил как люди:
Помог убить невинность, притупился
О грудь злодея... Прочь изменник!
Видя, что он безоружен, его схватывают.

В последнем действии народ толкует, ожидая казни Фернандо.

ОДИН ИЗ ТОЛПЫ.
Все кончилось! Я был в суде. Фернандо
Ведут на казнь. Его пытали долго;
Вопросы делали... Он все молчал; ни слова
Они не вырвали у гордого Фернандо,
И скоро мы увидим дым и пламя...

Но этим не оканчивается — этого мало! Оказывается, что Фернандо — сын им спасенного еврея, который раньше приютил израненного подосланными убийцами Фернандо. У еврея есть дочь. Она, узнав о усадьбе Фернандо, сходит с ума и умирает.

В этой трагедии легко отыскать влияние прочитанного в то время Лермонтовым. Тут видны драмы Шиллера — «Разбойники» и «Коварство и любовь». Только краски Лермонтов постарался наложить ярче. Так, в последней из названных драм Шиллера Фердинанд, желая спасти опозоренную любимую им девушку, грозит заколоть ее, но не выполняет этого. Фернандо у Лермонтова исполнил угрозу. В 1830 году драмы Шиллера — «Разбойники» и «Коварство и любовь» — давались в Москве с участием Молчанова, и Лермонтов говорит о том, что видел их на сцене. Тем понятнее их влияние. Под влиянием этих пьес, дававшихся на московской сцене, находился в то время и Белинский. Они-то и побудили его написать драму.

Повлияло на Лермонтова, очевидно, и чтение «Натана Мудрого» Лессинга. В лермонтовской драме «Испанцы» старый еврей с дочкою Ноэми и старухой служанкой — совершенный сколок с Натана Мудрого, его дочери и старой ее няни. У Лермонтова, как у Лессинга, под конец драмы герой ее оказывается братом молодой еврейки. Сама симпатия Лермонтова к старому еврею, выставленному честным и правдивым, навеяна, очевидно, Лессингом. У Лермонтова, как и у Лессинга, герой сначала морщился и презрительно относился к облагодетельствованному им «жиду» и позднее лишь побеждается мудростью отца и добродетелью дочери. Впрочем, в первую половину XIX века, под влиянием западной литературы и веяния времени, сильно распространена была склонность

покровительствовать «угнетаемым» евреям. Бывали примеры, что помещики ютили у себя целыми семьями гонимых бездомных сынов Израиля. Так, князь Гагарин в имении своем Окны на видном месте выстроил евреям целый посад, исходя из того воззрения, что хорошее обращение и обстановка делают людей лучше. Неудивительно, что идеальная натура и романтическое настроение увлекло мальчика-поэта. Во многих набросках и стихотворениях того времени мы встречаем интерес его к евреям.

Спокойный и радужный конец лессинговой драмы не соответствовал тогдашним понятиям Михаила Юрьевича, и он в своей драме губит и героя, и еврейку, и, кажется, старика-отца. Говорю кажется, потому что последняя страница трагедии «Испанцы» утеряна, но по ходу можно так предположить.

Влияние немецких поэтов было столь ощутимо, что вторую трагедию свою, писанную одновременно с «Испанцами», Лермонтов озаглавил по-немецки: «Menschen und Leidenschaften. — Ein Trauerspiel» («Люди и страсти. Трагедия» (нем.)). В черновых тетрадях того времени мы не только встречаемся с переводами из Гете и Шиллера, как замечено выше, но даже со стихами на немецком языке, очевидно, сочиненными самим Михаилом Юрьевичем.

ГЛАВА IV

Драма «Menschen und Leidenschaften». — Меж двух огней. — Катастрофа. — Отец и сын. — Чрезмерная любовь.

Вторая написанная Лермонтовым трагедия «Menschen und Leidenschaften» («Люди и страсти») представляет собой особенный автобиографический интерес. В ней описан эпизод из времен его юношеских страданий, положивших печать на впечатлительную душу поэта. Драма эта особенно ясно рисует нам события весьма важные для уразумения характера Михаила Юрьевича и объясняет многое, что без нее оставалось для нас лишь в области догадок. По-видимому, Лермонтов написал эту трагедию в момент, когда дурные отношения между бабушкой и отцом его обострились до вызова катастрофы. Изображением и разъяснением событий молодой поэт как бы дает выход волновавшим его чувствам, он изливает их в целом ряде сцен, в которых выводит себя и близких домашних и родных. Под гнетом страдания, в аффекте страсти, он накладывает краски слишком яркие, так что позднее сам считает нужным смягчить их, пощадить некоторых лиц, осветить их менее пристрастно — и

пишет другую драму «Странный человек», одинакового с предыдущей автобиографического значения.

Событием, вызвавшим этот странный порыв, был, кажется, окончательный разрыв между отцом Михаила Юрьевича и бабушкой его. С самого того времени, когда, спустя девять дней со смерти жены, Юрий Петрович уехал из бывших под его управлением Тархан, а потом потребовал к себе сына, бабушка постоянно боялась за потерю внука. Ей представлялось, что вот-вот нагрянет отец и отнимет или увезет Михаила Юрьевича. Поэтому мальчика берегли и хранили строго. Старожилы в Тарханах рассказывали мне, что когда Юрий Петрович приезжал навестить сына, то Мишу или увозили и прятали где-либо в соседнем имении, или же посылали гонцов в Саратовскую губернию к брату бабушки Афанасию Алексеевичу Столыпину звать его на помощь против возможных посягательств Юрия Петровича, чего доброго замыслившего отнять Мишеля. Страх потерять внука, очевидно, доходит у бабушки до болезненных размеров. Из диалогов действующих лиц в драме мы узнаем все обстоятельства детства Юрия Волина, то есть Михаила Лермонтова. Самое начало распри излагается в рассказе Василия Михайловича Волина. Но уже в начале драмы, в первом явлении, между слугами происходит разговор, который вполне характеризует положение дел.

ИВАН: А можно спросить, отчего, барыня, вы ссоритесь с Николаем Михайловичем? Кажись, бы не отчего — близкая родня.

ДАРЬЯ: Не отчего? Как не отчего? Погоди, я тебе все это дело-то расскажу. Вишь ты, я еще была девчонкой, как Марья Дмитриевна, дочь нашей барыни, скончалась, оставя сына. Все плакали как сумасшедшие, наша барыня больше всех. Потом она просила, чтоб оставить ей внука, Юрья Николаевича. Отец-то сначала не соглашался, но наконец его уломали, и он, оставя сынка, да и отправился к себе в отчину: Наконец, ему вздумалось к нам приехать. А слухи-то и дошли от добрых людей, что он отнимет у нас Юрия Николаевича. Вот от этого с тех пор они и в ссоре.

Содержание драмы поясняет нам, и поясняет подробно, отношения между Лермонтовым и Арсеньевой. Она не только подтверждает догадки биографа, но и дополняет указания современников. Мы вполне понимаем, что было причиной, побудившей Юрия Петровича оставить сына у бабушки. Видим, что он решился сделать это на то время, пока мальчику нужен был женский присмотр. Подобные соображения, просьбы бабушки и сознание, что недостаток средств не позволит дать Мише тщательного воспитания, побудили отца временно с ним

расстаться. Однако он не совсем отчуждается, он думает навещать сына. Разлука его грызет, и вот, приезжая, он вместо ласки и задушевности встречает в теще подозрительность, боязнь насилия с его стороны; от него стараются скрыться в другом имении, вызывают родных на защиту. Все это, конечно, далеко не может действовать успокоительно на Юрия Петровича. Легко понять, что впечатлительный, вспыльчивый характер должен был увлечь его опять на выходки, которые, конечно, не могли успокоить тещу. Так росли взаимное недоверие и неприязнь. Из некоторых данных в драме можно заключить и еще об одном обстоятельстве. Кажется, Юрию Петровичу было обещано, что если он сына оставит у бабушки, то ему отдадут причитавшееся за покойной женой имение, которое должно было перейти к сыну Юрий

Петрович ведь и управлял этим имением при жизни жены, ему ближе всего было стать опекуном будущего состояния сына. Сгоряча, в первые дни горя по смерти дочери, мать так и думала поступить. Все это было сделано на словах. Когда же прошла первая скорбь, часто сближающая, по общности своей, всех, ею пораженных, когда произошло затем первое столкновение, когда бабушка болезненно стала опасаться увоза от нее дорогого внука, единственную радость свою, тогда невольно стала настороже. Добрые люди, всегда охотно подливающие масло в огонь, укрепили ее в мыслях, что состоянием своим она может держать в руках зятя. Вся родня Арсеньевен отличалась, как мы сказали уже, своей правдивостью, исполнением данного слова и принятых обязанностей. Но эта же родня отличалась и вспыльчивостью, и упрямством, да и общим тогда на Руси свойством сильных, своеобразных натур — самодурством. «Не хотел, дескать, как я хочу, — ну, так не будет же и по-твоему». Должно быть, не мягко обошелся с бабушкой и Юрий Петрович, может быть, какой-либо выходкой он сам подкопал свое нравственное право. Ему нашептали, что бабушка хочет отнять у него имение, а бабушке, что Юрий Петрович уступил ей сына только временно, пока не заберет денежки в руки, а там и Мишу возьмет — значит, силу из рук нельзя выпускать. Вот бабушка и решила, что Юрий Петрович действиями своими утратил право на обещание, ему данное, да и для блага Миши надо ей поступить решительно. Она объявила, что если Юрий Петрович возьмет сына, то она лишит его наследства.

Поразмыслив, Юрий Петрович увидел, что сына-то воспитывать не на что, что сделает его нищим, если заупрямится. Любящий отец победил в себе гордость обиженного человека — Юрий Петрович смирился, затаил злобу и для блага сына порешил оставить его до 16 лет у бабушки.

«Я сына моего, — говорит в драме зять теще своей, — не меньше вас люблю, и этому доказательство, что его уступил вам, лишился удовольствия быть с моим сыном, ибо я знал, что не имею довольно состояния, чтобы воспитывать его так, как вы могли».

Юрий Петрович, однако, сохранил за собой право следить за воспитанием сына и поставил условием, чтобы по вопросам о воспитании во всем обращались к нему. Но такое требование, конечно, на практике не могло быть выполнено. Где же было из Тульской губернии следить за тем, что делалось в Пензенской!.. Каждый приезд Юрия Петровича в Тарханы давал пищу новым неприятностям. Между тем, Миша стал подрастать, его повезли в Москву, и тут отец наведывался чаще. Он, по рассказам Зиновьева, наезжал в Москву из Кроптовки с двумя своими незамужними сестрами Натальей и Александрой. Останавливался он в особой квартире, не у Арсеньевой. Сын его навещал, особенно же часто проводил у него праздничные дни. Воспитатели, может быть, под влиянием Арсеньевой, говорили, что отец очень баловал сына и на него имел влияние недоброе.

Сын же крепко любил отца своего. «Папенька сюда приехал, — пишет он тетке своей в Апалиху, — и вот уже две картины извлечены из моего портфеля; слава Богу, что такими любезными мне руками».

Пошел наконец внуку и роковой для бабушки 16-й год. Подходил срок условию. Отец мог потребовать выполнения условий — отдачи ему сына обратно. Начались переговоры. Как раз в этом 1830 году Император Николай Павлович приказал (29 марта) закрыть Благородный Университетский пансион и переименовать заведение в гимназию. Лермонтов находился тогда в старшем отделении высшего класса. Он, как и многие другие, подал прошение об увольнении и получил его 16 апреля. Речь зашла о том, где продолжить воспитание Мишеля. Думали везти молодого человека за границу: бабушка мечтала о Франции, а отец о Германии.

Чем более приближалось время окончательной перемены судьбы Михаила Юрьевича, тем более обострялось взаимное нерасположение тещи и зятя. В Юрии Петровиче прорывалась накипевшая годами злоба и желание вознаградить себя за долгую разлуку с сыном; в Елизавете Алексеевне проснулся весь страх за потерю самого дорогого в жизни. Вся борьба между ними теперь сосредоточилась теперь на 16-летнем мальчике. К кому он прильнет? Кто одержит верх?.. Крепко ухватились обе стороны за ревниво любимого юношу. Добром это не могло кончиться. Кажется, каждый готовился выпустить его только с жизнью, но

трагизм положения всей тяжестью давил молодого поэта. Конечно, он давно, как только стал мыслить, — а мысли зашевелились в нем рано — понял, что между его отцом и бабушкой что-то неладно. Он давно это чуял, давно страдал под этим сознанием. Положение высокоодаренного мальчика между аристократической бабушкой и редко видаемым, бедно обставленным отцом было тяжелое. Там где-то есть отец, появление которого в доме неприятно бабушке, но который ему мил и дорог, а здесь вокруг сына его — богатая обстановка, и любовь, и уход... Но почему же не любят того, кто ему так дорог? Почему он исключен из круга родных, почему он не может пользоваться тем же, чем пользуется сын?... Эта мысль, может быть, еще более привязывала мальчика к отцу. Он его жалел, а кто жалеет любя, тот вдвойне любит.

Все это, говорю я, давно чувствовал мальчик, но всех подробностей передряг и ссор он не знал или не знал их во всей ясности. Весь ужас положения ему не представлялся еще. Вероятно, и бабушка, и отец, оба любя его, берегли его. И вдруг все от него скрываемое открылось, страсти разнуздались, пошли взаимные обвинения, уличения и вечная апелляция к его чувству, к любви его, к долгу, к благодарности. Мальчик изведал страшную пытку — тем более страшную, что все его воспитание, любовь и баловство увеличили и без того в высшей степени сильную впечатлительность.

Неужели человек может быть так чувствителен, что всякая малость раздражает его?

Так в драме Заруцкий характеризует Юрия Волина, то есть самого Лермонтова. И точно таким же зыбким и раздражительным описывает 15 -летнего поэта в своих воспоминаниях Хвостова. Не следует забывать, что Михаил Юрьевич находился в это время в опасном переходном возрасте — от отрочества к юношеству, когда нервная система бывает особенно чувствительна. И вот в этот-то столь трудный период внутренней борьбы и развития пришлось бедному юноше испить чашу нравственной пытки.

Опять-таки в драме мы находим выражение того, как Лермонтов судил о своем состоянии. Он заставляет говорить о себе Юрия:

Помнишь ли ты Юрия, когда он был счастлив, когда ни раздоры семейственные, ни несправедливости еще не начинали огорчать его? Лучшим разговором для меня было размышление о людях. Помнишь ли, как нетерпеливо старался я узнавать сердце человеческое, как пламенно я любил природу, как творение человечества было прекрасно в ослепленных глазах моих? Сон

этот миновался, потому что я слишком хорошо узнал людей...

... У моей бабушки, у моей воспитательницы, жестокая распря с отцом моим, и это все на меня упадает....

Очевидно, сын стал сильно льнуть к отцу. Бабушка жалуется на него поверенной своей:

Все там сидит, сюда не заглянет. Экой какой он сделался!... Бывало, прежде ко мне он был очень привязан, не отходил от меня, как мал был. И напрасно я его удалила от отца, там умели его уверить, что я отняла у отца материнское имение, как будто не ему же это имение достанется. Кто станет покоить мою старость? И я ли жалела что-нибудь для его воспитания? Носила сама Бог знает что, готова была от чаю отказаться, а по четыре тысячи платила в год учителю... И все пошло не впрок.... Уж, кажется, не всяким ли манером старалась сберечься от нынешней беды... Ах, кабы дочь моя была жива, не то бы на миру делалось.

Наконец вопрос для Михаила Юрьевича был поставлен ребром. Бабушка и отец поссорились окончательно. Сын хотел было уехать с отцом, но тут-то и началась самая тонкая интрига приближенных с одной стороны бабушки, с другой — отца. Бабушка упрекала внука в неблагодарности, угрожала лишить наследства, описывала отца самыми черными красками и наконец сама, под бременем горя, сломилась. Ее слезы и скорбь сделали то, чего не могли сделать упреки и угрозы, — они вызвали глубокое сострадание внука. Его стала терзать мысль, что, решившись ехать с отцом, покидая старуху, он отнимает у нее опору последних дней ее. Она дала ему воспитание, ей он обязан уходом в детстве, воспитанием, богатством, всем, кроме жизни, правда, но жизнь-то на что же?.. Ему казалось, что в несколько дней он приблизил бабушку к могиле, что он неблагодарен к ней... Свои сомнения он высказывает отцу. Отец же, ослепленный негодованием на тещу за ее непонимание его, за нанесенные оскорбления, да, может быть, и под влиянием интриги, подозревает в сыне желание покинуть его, остаться у бабушки. Семейная драма дошла до высшего своего развития. Что тут произошло опять, мы знать не можем, но только отец уехал, а сын по-прежнему оставался у бабушки. Они больше не виделись — кажется, вскоре Юрий Петрович скончался. Что сразило его — болезнь или нравственное страдание? Может быть, то и другое, может быть, только болезнь. А.З. Зиновьев будто помнил, что он скончался от холеры. Верных данных о смерти Юрия Петровича и о месте его погребения собрать не удалось. Надо думать, что скончался отец Лермонтова вдали от сына, и не им были закрыты дорогие глаза. Впрочем, рассказывали мне тоже, будто Юрий Петрович скончался в Москве и что его сын был на похоронах.

Возможно, что стихотворение «Эпитафия», находящееся в черновых тетрадях 1830 года, относится к отцу.

Из него можно понять, что Михаил Юрьевич был на похоронах или у гроба отца. Во всяком случае, интересно, что высказанная в этом стихотворении мысль: «Ты дал мне жизнь, но счастья не дал», совпадает с местом в драме «Menschen und Leidenschaften», тоже писанной в 1830 году, где Юрий Волин говорит отцу:

Я обязан вам одною жизнью... Возьмите ее назад, если можете... О, это горький дар!

По этой же драме выходит, что раздраженный отец проклинает сына, и, доведенный этим окончательно до отчаяния, сын налагает на себя руку.

Надо полагать, что Лермонтов перенес в это время страшные мучения, что катастрофа, разыгравшаяся в семье, действительно чуть не довела его до самоубийства. Не говоря о том, что мысль эта встречается в лирических стихотворениях на страницах черновой тетради, мы находим ее в записанных сюжетах для драм, и обе драмы его: «Mencshen und Leidenschaften» и «Странный человек» кончаются самоубийством героя.

Что первая из названных драм имеет чисто автобиографическое значение, кажется, ясно, но и вторая, написанная в 1831 году, носит тот же характер. Впрочем, ведь и сам поэт говорит об этом в предисловии к ней, замечая, что изображенные им лица «все взяты из природы» и что он желал бы, чтобы они были узнаны, так как тогда раскаяние верно посетит души тех людей...

Но пускай они не обвиняют меня. Я хотел, я должен был оправдать тень несчастного!

Этот несчастный, которого Лермонтов отдает на суд общества, очевидно, он сам. Да и есть отчего сделаться несчастным: он ли не любил отца, он ли в разлуке с ним не лелеял образ его, и вдруг неожиданно все разбито, все безвозвратно потеряно! От него, от его любящей души отец отвернулся. И он чувствовал, что отец, оскорбленный, любящий отец, не виноват — он не такой, каким его хотели выставить другие, тоже дорогие ему лица. Понятно, что юноша облегчал душу свою созданием поэтического произведения, излил всю желчь на свою бабушку. Не она ли подала повод к последней разыгравшейся катастрофе?.. Он и выставил ее в драме «Люди и страсти» с особенной неприязнью. По внешнему виду и всей обстановке, по содержанию ее нельзя не признать. Чувствуется на каждом шагу глубокая неприязнь юноши к виновнице его горя, и связывает его с ней только чувство благодарности. Вся симпатия

лежит к отцу. Это несомненно для каждого читателя драмы.

Когда затем прошло некоторое время и острая боль улеглась, Михаил Юрьевич увидал, что он несправедлив был к бабушке своей. В то же время, желая выставить все события, «чтобы раскаяние посетило души виновных», он пишет еще раз драму — «Странный человек», в которой опускает бабушку и уже не с прежней симпатией относится к отцу. Может быть, ему стало известно отношение отца к матери, и он выводит ее на сцену доброй, любящей, загнанной. Что обе драмы вызваны одними и теми же мотивами, ясно при взаимном их сравнении. Целые сцены из драмы «Люди и страсти» перенесены сюда. Только герой называется не Волиным, а Арбениным. Это имя особенно дорого поэту и встречается в нескольких произведениях его. Зато в той и другой драме близким другом героя является Заруцкий. Одинаковую роль играет в обеих драмах и старый слуга.

Постигшее горе не могло не оставить глубокого следа на характере поэта. Он, что называется, ушел в себя. Явилось в нем что-то надломленное. С одной стороны — жажда любви, сочувствия; с другой — недоверие к счастью и к людям. Он еще больше ушел в природу и в ней отдыхал и искал облегчения раненой душе своей.

Об отце своем он, кажется, никому не говорил. Не тогда ли родилось в нем обыкновение скрывать от всех все, что было ему особенно близко и свято? Он выказывал людям только внешнюю, разгульную сторону свою, то. что немцы называют Galgenhumor. Это — шутки и юмор человека, идущего на смерть и не желающего, чтобы видели, что душа его смертельно поражена. Известно — и я буду иметь случай указать на это — что Лермонтов дурачился самым непозволительным образом, что он выкидывал легкомысленнейшие штуки в то время, как его занимали самые серьезные мысли. Только бумаге доверял он беседы со своим лучшим я. Немногие заглянули в его душу.

Свое горе по отцу он тоже вверял лишь бумаге. К отцу, очевидно, относятся две пьесы в тетради 1831 года. Первая пьеса содержит в себе то же, что составляет главный мотив в драме «Люди и страсти». Чувствуя горькую судьбу отца, он ощущает и горечь своей судьбы: «Мы оба, — говорит он, — стали жертвою страданья». Смертью прерванная связь тяготит сына; ему хочется общения с отцом и за дверями гроба. Но есть ли отклик? Есть ли в отце, умершем, понимание, есть ли чувство?

Другая пьеса; писанная одновременно с описываемыми событиями, дышит полной безнадежностью, полным трагизмом. Жизнь мрачно глянула на юного поэта и вызвала в нем убеждение, что он призван на несчастье и горе.

Я сын страданья; мой отец
Не знал покоя под конец;
В слезах угасла мать моя;
От них остался только я,
Ненужный челн в пиру людском,
Младая ветвь на пне сухом:
В ней соку нет, хоть зелена.
Дочь смерти, — смерть ей суждена.

Странно, что мы в тетрадях нигде не находим чего-либо, что имело бы отношение к бабушке, кроме, конечно, того, что встречается в драме «Люди и страсти». Нигде не высказалась горячая симпатия к ней, словом, что-либо подобное тому, что чувствовал он к отцу. Или это случайность?.. Что Лермонтов был очень внимателен к бабушке, известно. На слово его старушка всегда могла положиться. Так меня заверяло лицо, близко знавшее Лермонтова, что, когда открылась первая на Руси железная дорога в Царское Село, старушка, боявшаяся этого нововведения, как-то раз вырвала у внука, тогда уже давно гусарского офицера, обещание не ездить более по ней. Михаил Юрьевич свято хранил данное слово и ездил в Царское Село, где стоял его полк, на тройках.

Другой современник и близкий родственник Лермонтова рассказывал мне, что бабушка так дрожала над внуком, что всегда, когда он выходил из дому, крестила его и читала над ним молитву. Он уже офицером, бывало, спешит на ученье или парад, по службе, торопится, но бабушка его задерживает и произносит обычное благословение, и так, бывало, по нескольку раз в день... Как ни трогательна такая любовь, но если подумать о нетерпеливом, горячем, лихом характере Лермонтова, то легко представить себе, что подчас он должен был тяготиться этим, и можно удивляться, как покорно он исполнял желание старухи и, торопясь, все же не упускал заходить к ней прощаться. Да, и слишком большая любовь может быть источником страданий. Елизавета Алексеевна ревниво любила и дочь, и внука. Невольно спрашиваешь себя, разумна ли была эта чрезмерная любовь? Не она ли произвела распрю между женой и мужем, а потом между отцом и сыном?.. Но страшна была и немезида: бабушка пережила всех дорогих — и мужа, и дочь, и внука, и угасла одна в 85 лет, оплакивая Михаила Юрьевича так, что веки ее от слез ослабели и сами закрывали глаза, которым не суждено было видеть дорогие черты.

ГЛАВА V

Предки Лермонтова. — Шотландский бард Томас Лермонт. — Русская ветвь Лермонтов. — Тоска по Шотландии. — Скорбь об отце, мысли о самоубийстве.

Было уже говорено о том, как печалило Мишу Лермонтова то недружелюбное отношение к отцу его, которое выказывалось ему богатым родством бабушки. Род Лермонтовых был захудалым родом. Столыпиных род шел в гору — счастье ему улыбалось. Круг знакомых и родных бабушки причислял себя к знати. То было время, когда образованность главным образом встречалась в кружках так называемого высшего общества. Дорого обходилось тогда развитие, образование. Его встречали почти исключительно в привилегированном сословии богатого дворянства. К нему принадлежали лучшие люди от 20-х до 40-х годов. Многие из декабристов, Хомяков, Киреевские, Аксаковы, Огарев, Герцен, Одоевский, граф Вельегорский, пушкинский кружок — весь длинный ряд наших деятелей примыкал к высшему слою. Людям из бедного или среднего сословия, как Белинский, приходилось тяжело. Известно, как Пушкин страдал захудалостью своего рода. Стремление занять положение среди высшего круга нельзя считать слабостью, недостойной его гения. В наше время, когда развитие и образованность уже далеко не составляют достояния высшего круга, а скорее приютились в среднем сословии нашем (если вообще мыслимо говорить у нас о сословиях), трудно представить себе, почему наши лучшие писатели рвались в среду наших аристократов, часто весьма неохотно открывавших им доступ к себе. Нам кажется недостойным гения их, когда люди, как Пушкин и Лермонтов, стоя далеко выше людей аристократического салона, сетовали на то, когда двери его не раскрывались перед ними с подобающей предупредительностью. Их бесило, когда люди, пользовавшиеся исключительно случайностью своего происхождения, без всякой личной заслуги, кичились перед ними. Глубоко и заслуженно презирая этих людей, они все-таки рвались в салон, порог к которому заграждался им именно этими ничтожными людьми, бывшими лишь хористами на подмостках сцены аристократизма. Из биографии Пушкина мы знаем, какими препятствиями преграждали эти ничтожные статисты путь нашего славного поэта. То же испытывал и Лермонтов. Стоит вспомнить для примера усилия графа Соллогуба — аристократа и тогда многообещавшего писателя — в повести «Большой свет» описать Лермонтова ничтожным человеком, пробирающимся в круг петербургской знати. Почтенный, позднее вполне и по заслугам оцененный автор выставляет Лермонтова в образе бедняка,

армейского офицера, играющего жалкую роль прихвостня аристократического денди Софьева, в котором он рисовал Монго Столыпина, друга и товарища нашего поэта.

Лермонтов отлично чувствовал всю тяжесть отношения света к захудалым родам и высказал это в знаменитом своем стихотворении «На смерть Пушкина»:

... А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов...

Эту обиду, нанесенную его захудалому роду, Лермонтов в детстве чувствовал еще сильнее, потому что под ней страдал любимый им отец.

Вот почему мальчик так много мечтал о прошлом величии своего рода. Сначала, как мы видели, он производил его от испанского «дюка Лерма», потом узнал и кое-что о происхождении своем от шотландской фамилии Лермонтов.

Фамилия шотландских предков нашего героя сохранилась и до сих пор в Шотландии, в графстве Эдинбург, где живут Лермонты в поместье Дин (Dean). По шотландским преданиям, фамилия Лермонтов восходит к XI веку. В это время Лермонты или уже находились в Шотландии, или, вернее, пришли туда из Англии вместе с королем Малькольмом. Малькольм, как гласят древние хроники, бежал в Англию, когда отец его Дункан был умерщвлен Макбетом. Там он собрал вокруг себя бежавших из Шотландии танов и, получив помощь от английского короля Эдварда, двинулся против узурпатора. Победив Макбета, павшего в сражении от руки Мак-дуффа, Малькольм в 1061 году короновался в Скане, а затем созвал парламент в Форфере. Около Форферы находится холм, именуемый «Сапожным холмом» (Boot-hill). По преданию, холм этот составился вследствие обычая, по которому вассалы, в знак подданства, приносили своему лендному владельцу сапог земли из своих поместьев. Здесь-то Малькольм возвратил приверженцам своим земли, отнятые от них Макбетом, а пришельцев из Франции, Англии и других стран, присоединившихся к нему, одарил владениями. Он возводил их в графское, баронское или рыцарское достоинство, и многие стали затем именоваться по имени полученных поместий. Таким образом тогда появилось много новых шотландских фамилий. Между одаренными приверженцами Малькольма упоминается и Лермонт. Лермонт получил поместье Рэрси (Rairsie), и ныне находящееся в графстве Файф в Шотландии, но уже не в руках фамилии Лермонтов. Шекспир в известной своей трагедии воспользовался почти дословно рассказом хроники, и предок

нашего поэта легко бы мог попасть в число называемых драматургом шотландских фамилий, назови Шекспир еще двух-трех танов.

Другой известный английский писатель, Вальтер Скотт, написал балладу в трех частях: «Певец Томас» («Thomas the Rimer»), в котором изображается один из предков Михаила Юрьевича, шотландский бард Лермонт. Этот Томас Лермонт жил в замке своем, развалины которого и теперь еще живописно расположены на берегах Твида, в нескольких милях от слияния его с Лидером. Развалины эти носят еще название башни Лермонта (Learmonth Tower). Недалеко от этого поэтического места провел Вальтер Скотт детство свое и здесь построил себе замок, знаменитый Аббатсфорт. В окрестностях еще жили предания о старом барде, гласившие, что Томас Эрсильдаун, по фамилии Лермонт, в юности был унесен в страну фей, где и приобрел дар ведения и песен, столь прославивших его впоследствии. После семилетнего пребывания у фей Томас возвратился на родину и там изумлял своих соотечественников даром прорицания и песен. За ним осталось название певца и пророка. Томас предсказал шотландскому королю Александру III смерть накануне события, стоившего ему жизни. Верхом на лошади король чересчур близко подъехал к пропасти и сброшен был испуганным конем на острые скалы.

В поэтической форме изложил Томас предсказания будущих исторических событий Шотландии. Пророчества его ценились высоко и еще в 1615 году были они изданы в Эдинбурге. Большой известностью пользовался он и как поэт. Ему приписывается роман «Тристан и Изольда», и народное предание утверждает, что по прошествии известного времени царица фей потребовала возврата к себе высокочтимого барда, и, дав прощальное пиршество, покинул он свой замок — Эрсильдаун. Это прощание между прочим и описывает Вальтер Скотт:

«Роскошный пир вдет в Эрсильдаунс. В старинном зале Лермонта сидят и рыцари, и дамы в пышных платьях.

Музыки звуки, песни раздаются, и нет в вине и эле недостатка.

Вот смолк веселый пир: Томас поднялся и лиру, что у фей на состязаньи у эльфов выиграл, настроил молча.

Умолкло все — движенье, разговоры; от зависти бледнеют менестрели; железные на меч склонились лорды и слушают:

И льется песня барда, пророка вещего: в грядущие века не отыскать певца, который смог бы ту песню повторить.

Ее обрывки несутся вдаль, вдаль по реке времен, как корабля обломки выплывали средь моря бурного.

Поет Томас товарищей, сподвижников Артура, о Мерлине, но более всего о благородном Тристане и нежной его Изольде.

В поцелуе страстном слилась она с его последним вздохом и умерла... Кому так спеть, как песнь была им спета?

Умолк певец; затихли звуки лиры, а гости долго за столом сидели, поникнув головами, будто струны, казалось им, звенели замирая.

Вот в робком шепоте сказалось горе предчувствия тяжелого: вздыхали не только дамы — не одна, украдкой, слеза железной рукавицей стерта.

На волны Лидера, на башни замка спускаются вечерние туманы — ив лагере, и в замке, и в лачугах идут ко сну.

Но вот Дугласу чудесную приносят весть поспешно:

По брегу Лидера оленей белых идет чета; и шерсть на них белеет как снег вершин.

Идут при свете лунном, они не торопясь, спокойно, рядом.

В обитель Лермонта та весть проникла: Томас поднялся с ложа торопливо.

Сначала побледнел, как воск он белый, потом, как воск, стал красен и сказал: пробил мой час, спряглася нить, за мною пришли они!

Подобно менестрелю повесил он себе на шею лиру — и грустно в ночи струны прозвучали.

Вот вышел он, но часто, удаляясь, глядел назад на древнюю обитель.

Блеск месяца осеннего играл на кровлях замка; белые туманы с подножья скал тихонько поднимались.

Прощай отцов моих обитель, — молвил в последний раз он, — не бывать жилищем тебе веселья и власти вечно!

Лермонтам здесь уж не владеть землею. Серебристые струи Лидера, скалы и замок мой, прощайте!

Подошли к нему тихонько белые олени — и с ними через реку он в присутствии Дугласа удалился.

Вскочил на лошадь вороную Дуглас, помчался через Лидер; летел быстрее молнии, но тщетно — он не нагнал их. Говорят одни, что шествие чудесное сокрылось в холме; другие — что оно в долине исчезло ближней.

Только с той поры между живых Лермонта не встречали».

Шотландская фамилия Лермонтов считает Томаса Лермонта одним из своих предков, но точных сведений о дальнейшей судьбе всех членов рода в Шотландии нет, что и понятно: при тех страшных смутах, которые переживала не раз Шотландия, трудно проследить историю отдельной фамилии. Зато у нас на Руси сохранись верные данные о той ветви Лермонтов, которая

прибыла к нам из Шотландии. Историческое значение предания о связи фамилии Лермонтов с испанским герцогом Лермой сомнительно.

В XVII веке во время смут в Шотландии один из Лермонтов покинул страну. По дошедшим до нас данным, это был Юрий (Георгий) Андреевич Лермонт, основатель русской отрасли Лермонтовых. Выехал он из Шкотский земли сначала в Польшу, оттуда на Белую (город Смоленской губернии) и потом уже прибыл в Москву еще до 1621 года, потому что уже в этом году царь Михаил Федорович дарит его 8 деревнями и пустошами в Галицком уезде, в Заболоцкой волости. По указу царя, Лермонту было велено обучать «рейторскому строю новокрещенных немцев старого и нового выезда, равно и татар».

Юрий Андреевич именуется поручиком (или ротмистром), и уговор с ним был заключен боярином Иваном Борисовичем Черкасским.

У Юрия Андреевича было три сына: Вилим (Вильям), Петр и Андрей. Только средний оставил потомство. Этот Петр Юрьевич был в 1656 году, указом царя Алексея Михайловича, сделан воеводой Саранска, да велено было ведать «по черте» иные города и пригородки. У него был сын Евтихий, или Юрий, что одно и то же. Во-первых, на Руси двойственность имени не была редкостью, а во-вторых, дети Евтихия называются в родословной Юрьевичи. Этот Евтихий, или Юрий, был в 1679 году царем Федором Алексеевичем пожалован стряпчим, а в 1682 году — стольником, и эту должность исправлял еще в 1692 и 1703 годах. Затем мало-помалу род захудал, хотя иногда мы и встречаемся с представителями этой фамилии в различных исторических актах. Замечательно, что старшие сыновья всегда назывались по деду, так что мы постоянно встречаем то Петра Юрьевича, то Юрия Петровича. Поэт наш был последним представителем старшей линии и происходит от Лермонта, «выходца из Шкотской земли», в восьмом колене. По традициям семьи, он должен бы назваться по отцу — Петром, но бабушка Арсеньева настояла на том, чтоб его назвали Михаилом — по деду с материнской стороны.

Фамилия Лермонтова должна официально писаться через а — потому, что так записана эта фамилия в актах и гербовнике. Правильнее же писать через о, как пишется шотландская ветвь. Если родоначальника русских Лермонтовых, шотландца Лермонта, в древних актах пишут через а, то это можно объяснить московским аканьем, тем более, что в имени Лермонтова имеется ударение на первом слоге.

Поэт наш писал имя сначала через а и уже после стал писать на о — Лермонтов — и подписывался он так главным образом в

печати, под своими сочинениями. И затем к концу 30 годов стал писать через о и в письмах, к тем же лицам адресованных, с которыми прежде писал через а.

Всех подробностей истории своего рода Михаил Юрьевич не знал. Не были они известны и отцу его, который для того, чтобы поместить сына в университетский пансион, хлопочет о внесении себя со всем родом в дворянскую родословную книгу Тульской губернии. Какие он представлял документы в доказательство дворянского своего достоинства, мы не знаем. Сын его, поэт наш, о шотландском происхождении фамилии своей намекает в стихотворениях 1830 и 1831-го годов, так что, может быть, он только в это время узнал о том. Шотландские барды, поэзия Оссиана занимают его, и, услыхав от путешественника описание могилы Оссиана, он вспоминает о Шотландии, называя ее своей:

Под завесою тумана,
Под небом бурь, среди степей,
Стоит могила Оссиана
В горах Шотландии моей.
Летит к ней дух мой усыпленный
Родимым ветром подышать...

Вспоминая в подмосковном селе Средникове отца, чуткою душой скорбя о социальном приниженном положении покойного и чувствуя себя чужим среди богатой родни бабушки, он уходил душою в прошлую жизнь предков своих.

29 июля 1831 года одинокий сидит он на бельведере. Мысли далеко уносятся вглубь времен. Шотландские барды — певцы и бойцы свободы — встают перед ним. Видит он замок предков опустелым среди гор, и, может быть, образ Томаса Лермонта, воспетый Вальтером Скоттом, встал перед ним, грозный и таинственный. Пронесшийся на запад черный ворон, исчезнувший на вечернем небе, дальше и дальше увлекает за собою мысли поэта. Тоскливое желание настраивает душу, и вот в ней заговорили струны звонкой песнью:

Зачем я не птица, не ворон степной,
Пролетевший сейчас надо мной?
Зачем не могу в небесах я парить
И одну лишь свободу любить?
На запад, на запад помчался бы я,
Где цветут моих предков поля,
Где в замке пустом, на туманных горах,
Их забвенный покоится прах.
На древней стене их наследственный щит
И заржавленный меч их висит.
Я стал бы летать над мечом и щитом —

И смахнул бы я пыль с них крылом.
И арфы шотландской струну бы задал —
И по сводам бы звук полетел;
Вниманием одним и одним пробужден,
Как раздался, так смолкнул бы он.
Но тщетны мечты, бесполезны мольбы
Против строгих законов судьбы —
Меж мной и холмами отчизны моей
Расстилаются волны морей.
Последний потомок отважных бойцов
Увядает средь чуждых снегов;
Я здесь был рожден, но не здешний душой...
О, зачем я не ворон степной!..

Да, Михаил Юрьевич предугадал: он был последним потомком шотландских бойцов; но не в снегах кончил боец этот жизнь свою, а в южной стране, среди гор, ставших ему милее туманных картин на берегах Лидера и Твида.

Смерть отца повергла поэта нашего в скорбь, которую он тщательно скрывал перед другими и перед самим собою. Жизнь била в нем ключом, и ему удавалось поднимать свое настроение до резвой веселости, но тем сильнее были минуты скорби. И если в двух автобиографических драмах мы находим следы мыслей о самоубийстве, то о том же гласят многие лирические стихотворения того времени. Юноша немало перенес тяжелых душевных мук и борьбы. Когда мрачное настроение овладевало им, он уходил в уединенные места — в лес, в поле, на кладбище, или проводил бессонные ночи, глядя сквозь окно в ночную тьму, а в голове стучала безысходная мысль покончить с собою. Покой могилы манил его.

С такими мрачными думами сидел он у окна своего в Середникове, когда написал свое «Завещание».

1
Есть место близ тропы глухой,
В лесу пустынном, средь поляны,
Где вьются вечером туманы,
Осеребренные луной...
Мой друг, ты знаешь ту поляну!
Там труп мой хладный ты зарой,
Когда дышать я перестану.
2
Могиле той не откажи
Ни в чем, последуя закону:
Поставь над нею крест из клену
И дикий камень положи...

Совершенно предаться мрачному настроению, впрочем, мешала поэту не только полная жизни натура его, но и шумное общество окружавших его в Середникове людей.

ГЛАВА VI

Жизнь в Середникове. — Внешний вид Лермонтова. — Влияние Байрона и др. — Любовь к народным русским песням. — Детские забавы. — Интерес к серьезному чтению. — Романтическое настроение и жажда любви. — Екатерина Алексеевна Сушкова. — Наклонность передавать бумаге каждую мысль и чувство. — Собственное понимание внутреннего своего состояния.

Когда Лермонтов ходил учиться в пансион, бабушка его жила на Молчановке, лето же проводила в подмосковном имении покойного брата своего Дмитрия Алексеевича Столыпина, селе Середниково. Оно лежит верстах в 20 от Москвы, по дороге в Ильинское, в прекрасной местности, и принадлежало тогда Екатерине Апраксеевне Столыпиной, вдове Дмитрия Алексеевича, замечательно образованного и развитого человека. Командуя корпусом в южной армии, завел он ланкастерские школы, был близок к Пестелю и умер скоропостижно в Середникове, во время арестов, после 14 декабря. В настоящее время Середниково перешло в другие руки.

Когда там жила бабушка Лермонтова, то по воскресеньям и праздникам приезжавшие соседи зачастую оставались у хлебосольной и радушной Елизаветы Алексеевны. Особенно часто собиралось тут родство ее. В верстах четырех жили Верещагины, еще ближе, в Большакове, подруга Сашеньки Верещагиной Катя Сушкова. Приятельницы, живя на расстоянии 1,5 верст, видались иногда по несколько раз в день, и Лермонтов, спутник их еще в Москве, бывал кавалером на разных пикниках, катаньях и кавалькадах. Девушки, одних лет с Мишелем, чувствовали, как и всегда бывает в подобных случаях, свое превосходство. Они считались взрослыми, невестами, а он — мальчиком. Это давали они ему чувствовать и, несмотря на то, что пользовались его услугами, все же над ним потешались, шутили, дразнили его. Шестнадцатилетнего юношу не могли не бесить такого рода отношения. Он обижался и дулся, бежал их общества, уединялся; но доброе слово шаловливых приятельниц вновь привлекало его к ним до новой ссоры и обиды.

Легко можно представить себе неловкого еще не то юношу, не

то мальчика, который, несмотря на раннюю зрелость, все же находился в переходном возрасте. Наружный вид его соответствовал этому состоянию. Он был невысокого роста, довольно плечист, с не устоявшимися еще чертами матового, скорее смуглого лица. Темные волосы, со светлым белокурым клочком чуть повыше лба, окаймляли высокое, хорошо развитое чело. Прекрасные большие умные глаза легко меняли выражение и не теряли ничего от появлявшейся порою золотушной красноты. Слегка вздернутый нос и большей частью насмешливая улыбка, тщательно старавшаяся скрыть мелькавшее из-под нее выражение мягкости или страдания, — вот каким описывают Мишу Лермонтова знавшие его в эти годы.

В то время шла в нем усиленная поэтическая деятельность Образы творений, над которыми работал он позднее, наполняли его фантазию: были сделаны первые наброски «Демона»; он успел кое-что передумать и пережить; обрывки мыслей, образов, типов, носясь в его воображении, путались и сливались с героями произведений других поэтов. Молодое восторженное настроение внезапно сменялось мрачным чувством, вскормленным горькими ранними опытам любящего сердца. Романтизм, свойственный его годам, да и эпохе 30-х годов, овладел им. Он любил декламировать из Ламартина и Пушкина, задумывался над драмами Шиллера, но всего больше начинал говорить в душе его Байрон. С огромным томом байроновских творений бродил молодой поэт по уединенным местам большого сада или, обиженный не понимавшими его девушками, удалялся в свою комнату. Мрачная байроновская муза нашла отголосок в душе молодого, начинавшего страдать мировой скорбью, непризнанного поэта. Он невольно подпадал под влияние этой музы, как и под влияние других; но, подражая британскому поэту, он оставался все-таки и тогда уже самим собой, своеобразным, как даже и в первых детских опытах подражания Пушкину. Все, что он писал, выливалось из души, пережившей то, что старался он передать в стройных рифмах своей поэзии. Он занимал у поэтов форму; брал даже целые стихи, но только если они отвечали его душе. Он не был слепым подражателем: не чужая рифма и образы руководили им, как это бывает обыкновенно в отзывчивых молодых душах в юные годы, воображающих себя поэтами, — нет, он брал только то, что по духу считал своим. Великие поэты служили ему образцами. Под их руководством он делал первые шаги на поприще искусства: так, художник, будь он великий Рафаэль, изучая и копируя кисть своего учителя, руководясь ею, рано уже высказывает собственную мысль и душу и, будучи под влиянием великих образцов, все же не может быть

назван их подражателем. Таков был и Лермонтов. По тетрадям видно, как быстро он усваивал себе, что было нужно, как пользовался он творениями других поэтов для собственного совершенствования и развития и затем выходил на свою оригинальную дорогу. И чем более зрел он, тем менее отражалось влияние занимавшего его поэта. В тетрадях 1829 года, когда начал он свою поэтическую деятельность, мы видим концепцию и целые песни, взятые у Пушкина. В тетрадях 1830-1831 годов, когда является влияние других поэтов и особенно Байрона, Лермонтов уже далеко не в такой степени им подчиняется. Не боязливым учеником является он — не учеником, подражающим мастеру и вводящим в чужое произведение некоторые свои мотивы, — нет, он здесь уже сознает свои силы. Удивляясь наставнику и учась у него, он предъявляет смело права своей индивидуальности и знает, что по силе дарования рано или поздно станет с ним рядом, самостоятельным, как и он, великим талантом.

Нет, я не Байрон, я другой,
Еще неведомый избранник, —
Как он, гонимый миром странник,
Но только с русскою душой.
Я раньше начал, кончу ране,
Мой ум немного совершит;
В душе моей, как в океане,
Надежд разбитых груз лежит.
Кто может, океан угрюмый,
Твои изведать тайны? Кто
Толпе мои расскажет думы? —
Или поэт, или никто!..

Это стихотворение, написанное в альбом Сушковой, может быть, и было тем, что, видя его «неразлучным с огромным Байроном», его дразнили английским поэтом — говорили, что он ему подражает, драпируется в тогу его. А Лермонтов никогда ни в кого и ни во что не драпировался.

В черновых тетрадях этого времени встречается много переводов и подражаний Байрону то в прозе, то в стихах. Так, он работал над «Гяуром», «Беппо», «Ларой» и другими произведениями английского поэта.

Лермонтов тщательно читает жизнь лорда Байрона, написанную Муром, что тотчас вынуждает его написать стихотворение:

Не думай, чтоб я был достоин сожаленья.
Хотя теперь слова мои печальны, — нет,
Нет, все мои жестокие мученья —

Одно предчувствие гораздо больших бед.
Я молод, но кипят на сердце звуки,
И Байрона достигнуть я б хотел.
У нас одна душа, одни и те же муки, —
О, если б одинаков был удел!
Как он, ищу забвенья и свободы.
Как он, в ребячестве пылал уж я душой.

Юноша так увлекался Байроном, что постоянно приравнивает судьбу его к своей. Свою раннюю любовь он поясняет сходством с ним. Сходство видит он и в первых приемах проявления таланта: «Когда начал я марать стихи в 1828 году, я как бы по инстинкту переписывал и прибирал их. Они теперь еще у меня. Ныне я прочел в жизни Байрона, что он делал то же самое: сходство меня поразило». Затем далее он пишет: «Еще сходство в жизни моей с лордом Байроном: его матери в Шотландии предсказала старуха, что он будет великий человек и будет два раза женат; про меня на Кавказе старуха предсказала то же самое моей бабушке. Дай Бог, чтоб и надо мной сбылось, хотя бы я был так же несчастлив, как Байрон».

Однако и это влияние Лермонтов скоро пережил и понял, что он — не Байрон, а «другой, еще неведомый, избранник», и избранник с русскою душой. Любопытно, что Лермонтов среди увлечения Байроном инстинктивно чувствует необходимость найти противовес влиянию чужеземного писателя и ищет его в родной литературе.

Родная литература наша тогда еще мало могла дать ему. Образцовые наши поэты бледнели от сравнения с иностранными, так что около того времени Белинский мог говорить о несуществовании русской литературы. Лермонтов в тех тетрадях, в которых занят Байроном, как бы с отчаянием восклицает: «Наша литература так бедна, что я из нее ничего не могу заимствовать. В пятнадцать же лет ум не так быстро принимает впечатления, как в детстве, но тогда я почти ничего не читал. Однако же если захочу вдаться в народную поэзию, то верно нигде больше не буду ее искать, как в русских песнях» С этими песнями знакомил Михаила Юрьевича учитель русской словесности семинарист Орлов. Он давал уроки Аркадию Столыпину, сыну владетельницы Середникова Екатерины Апраксеевны. Орлов имел слабость придерживаться чарочки. Его держали в черном теле и не любили, чтобы дети вне уроков были в его обществе. Лермонтов, который был на несколько лет старше своего родственника, беседовал с семинаристом, и этот «поправлял ему ошибки и объяснял ему правила русской версификации, в которой молодой поэт был слаб». Часто беседы оканчивались спорами. Миша

никак, конечно, не мог увлечься красотами поэтических произведений, которыми угощал его Орлов из запаса своей семинарской мудрости, но охотно слушал он народные песни, с которыми тот знакомил его.

В рано созревшим уме Миши было, однако, много детского: будучи в старших классах университетского пансиона и много и серьезно читая, он в то же время находил забаву в том, чтобы клеить с Аркадием из папки латы и, вооружась самодельными мечами и копьями, ходить с ним в глухие места воевать с воображаемыми духами. Особенно привлекали их воображение развалины старой бани, кладбище и так называемый «Чертов мост». Товарищем ночных посещений кладбищ, или уединенного, страх возбуждающего, места, бывал некто Лаптев, сын семьи, жившей поблизости в имении своем. Описание такого ночного похода сохранилось тоже в черновой тетради:

«Середниково. В Мыльне. — Ночью, когда мы ходили попа пугать», — гласит заглавие стихотворения.

Тут же рядом с этими стихотворениями, описывающими ребяческое похождение юноши, жаждущего фантастических, возбуждающих нервы впечатлений, мы находим следы серьезной мысли и серьезного чтения. Так, Лермонтов, читая «Новую Элоизу» Руссо, делает по поводу ее критические заметки и сравнения с «Вертером» Гете.

Итак, и Байрон, и Руссо, и Гете занимали ум юноши в то время, как фантазия прибегала к самым странным средствам для удовлетворения жажды сильных ощущений.

Тревога душевная и романтическое настроение искали себе выхода в сердечной привязанности. Мы видели, как рано начал Лермонтов жить сердцем. Еще неясный для него язык страстей встревожил десятилетнего мальчика. Ранняя чувствительность, сентиментализм эпохи, прирожденная чуткость души и образы разных героев и героинь из прочитанного — все это волновало воображение. К тому же окружал его преимущественно женский мир. Жажду любви мальчик переносил с одного предмета на другой, увлекаясь то в ту, то в другую сторону. Услужливое живое воображение рисовало ему в разном свете встречаемые им типы девушек, и самому юноше трудно было отдать себе отчет в волновавших чувствах, уразуметь, что было более истинным, что преходящим, минутным увлечением.

К стихотворению «К Гению», писанному в 1829 году, рукой Лермонтова сделана приписка: «Напоминание о том, что был в Ефремовской деревне в 1827 году, где я во второй раз полюбил 12-ти лет и поныне люблю». Кто была эта вторая страсть поэта мы частью можем догадываться из одной заметки в тетради 1830

года: «Мне 15 лет. Я однажды (3 года назад) украл у одной девушки, которой было 17 лет, и потому беспредельно любимой мною, бисерный синий снурок, он и теперь у меня хранится. Кто хочет узнать имя девушки, пускай спросит у двоюродной сестры моей. — Как я был глуп!» — Кто же была эта двоюродная сестра? У Лермонтова было много родственниц, которые все слыли за двоюродных сестер его. Что могут значить слова: «Как я был глуп!» Не сказаны ли они в порыве острой боли или минутного очарования? Во всяком случае, нет сомнения, что и эта, по выражению самого поэта, «вторая любовь», длившаяся три года, сильно тревожила и наполняла душу его; но в 1830 году она уже кончилась. Что девушка им любимая была близкой родственницей и именно сестрой, ясно видно из целого ряда произведений того времени. В драме «Люди и Страсти» выводится любовь Юрия Волина к двоюродной сестре его Любови. В «Юношеской повести» мы тоже видим любовь Вадима к сестре, и отсутствие взаимности делает Вадима дурным, развивает в нем демонические черты. В этих двух образах — Юрии Волине и Вадиме — Лермонтов по преимуществу рисовал самого себя. Оба произведения принадлежат к одной эпохе; в обоих, особенно в драме, как видели мы, почти дословно пересказывается действительно пережитое. Чем больше вчитываешься в произведения Лермонтова, чем больше знакомишься с душой его, тем несомненнее является уверенность, что как раз в эти годы, в которые было положено начало для всей позднейшей деятельности поэта, вынес он большую нравственную борьбу. Это нравственное страдание было связано не только с трагической для юноши распрей между отцом и бабушкой, но и с сердечными муками любви. Недаром же в одном и том же произведении описывает он оба трагические в жизни его события. Этот мотив несчастной любви, губящей человека, замечается и в «Испанцах», и в «Странном человеке», и в набросках «Демона», в котором потом получает новое, еще другим эпизодом жизни Лермонтова обусловленное, значение.

Достойно сожаления, что в рукописи драмы «Люди и Страсти» (Menschen und Leidenschaften) невозможно разобрать имени, кому посвящена она, — это бы раскрыло и уяснило нам многое. На заглавном листе этой драмы, возле тщательно зачеркнутого имени, Лермонтов нарисовал пером поясной портрет девушки под деревом. Самое посвящение тоже знаменательно:

Тобою только вдохновенный,
Я строки грустные писал —
Не знал ни славы, ни похвал;

Не мысля о толпе презренной,
Одной тобою жил поэт,
Скрываючи в груди мятежной
Страданья многих, многих лет,
Свои мечты, твой образ нежный,
Назло враждующей судьбе...

В черновой тетради на том же листе, где говорится о любви к двоюродной сестре, мы находим как бы дальнейшее еще разъяснение этой любви и намеки на разрыв. Прежде всего мы читаем стихотворение «Дереву»:

Давно ли с зеленью радушной
Передо мной стояла ты,
И я коре твоей послушной
Вверял любимые мечты!
Лишь год назад...
Промчался легкий страсти сон;
Дремоты флер был слишком тонок, —
В единый миг прорвался он.
И деревцо с моей любовью
Погибло, чтобы вновь не цвесть...

Вслед за этим, в виде как бы примечания к стихотворению, Лермонтов пишет:

Мое завещание (про детство, где я сидел с А.С). Схороните меня под этим сухим деревом, чтобы два образа смерти предстояли глазам вашим. Я любил и любил под ним и слышал волшебное — люблю, которое потрясло судорожным движением каждую жилу моего сердца. В то время это дерево еще цветущее, при свежем ветре, покачало головой и шепотом молвило: «Безумец, что ты делаешь?» (Оно засохло.) Время постигло мрачного свидетеля радостей человеческих прежде меня. Я не плакал, ибо слезы есть принадлежание тех, у которых есть надежды, но тогда же взял и сделал следующее завещание: «Похороните мои кости под этой сухою яблоней, положите камень — и пускай на нем ничего не будет написано, если одного имени моего не довольно будет доставить ему бессмертие»...

Так, Лермонтов вверял бумаге каждое движение души, большей частью выливая их в стихотворную форму. Он всюду накидывал обрывки мыслей и стихотворений. Каждым попадавшимся клочком бумаги пользовался он, и многое погибло безвозвратно.

«Подбирай, подбирай, — говорил он шутя своему человеку, найдя у него бумажные обрывки со своими стихами, — со временем большие деньги будут платить, богат станешь». Когда не случалось под рукою бумаги, Лермонтов писал на столах, на

переплете книг, на дне деревянного ящика — где попало.

Гоголь говаривал, что писатель должен, как художник, постоянно иметь при себе карандаш и бумагу. Плохо, если пройдет день, и художник ничего не набросает. Плохо и для писателя, если он пропустит день, не записав ни одной мысли, ни одной черты — надо в себе поддерживать умение выливать в форму думы свои.

Этот рецепт, рекомендованный Гоголем каждому писателю, Лермонтов выполнял вполне. Он даже сам подтрунивал над «этою смешною страстью своею всюду оставлять следы своего существования», а в тетрадях 1830-го года пишет — очевидно, самому себе — «Эпитафию плодотворному писаке»: «Здесь покоится человек, который никогда не видал перед собою белой бумаги».

Хотя Лермонтов и похоронил любовь свою «под сухою яблонью», однако оставаться с незанятым сердцем было не в его характере, пылком и увлекающейся. Кем-то из окружавших его девушек поэт увлекся, но ненадолго. Среди лета 30-го года он пишет:

Никто, никто не усладил
В изгнаньи сем тоски мятежной.
Любить? — три раза я любил.
Любил три раза безнадежно...

По уверениям Екатерины Александровны Хвостовой, она в это стала предметом любви Лермонтова. Что это уверение не лишено основания, мы видим из того, что сам Михаил Юрьевич, позднее, в одном письме, говорит об Екатерине Александровне: «... было время, когда она мне нравилась...» Но как долго это длилось и насколько серьезно было чувство — это вопрос другой.

У бабушки Арсеньевой в Середниково гостили зачастую знакомые, соседи и приезжие из Москвы. Сюда приезжали Лопухины: три сестры и брат Алексей Александрович, с которым Лермонтов и прежде и после оставался в самой искренней дружбе. Гостили и сестры Бахметевы; бабушка приютила этих небогатых девушек, и с одной из них, с Софьей Александровной, Лермонтов был особенно близок. С жившей по соседству двоюродной сестрой своей Александрой Михайловной Верещагиной Лермонтов тоже был очень дружен и посвятил ей немало стихотворений; между прочим, и поэму свою «Ангел смерти». Через нее еще в Москве познакомился Мишель с Катей Сушковой.

В Середниково приезжали и кузины Столыпины, между которыми Анна Григорьевна еще и прежде пользовалась расположением молодого поэта. Ко всем им он писал стихи, то

прочувствованные и разочарованные, то саркастические. В черновых тетрадях сохранилось немало эпиграмм или посланий к разным московским родным и знакомым. От едких, подчас, слов поэта не уберегали себя ни стар, ни млад. Страсть к язвительной и меткой насмешке, доставившей Лермонтову столько врагов, рано выказывается в нем.

Госпожа Хвостова в своих воспоминаниях упоминает о нескольких подобных случаях. «Всякий вечер после чтения затевались игры. Тут-то отличался Лермонтов. Один раз он предложил нам сказать всякому из присутствующих в стихах или прозе что-нибудь такое, чтобы приходилось кстати. У Лермонтова был всегда злой ум и резкий язык, и мы, хотя с трепетом, но согласились выслушать его приговор. Он начал с Сашеньки Верещагиной:

Что можно наскоро стихами молвить ей?
Мне истина всегда дороже;
Подумать не успев: ты всех милей!
Подумав, я скажу все то же».

... Кате Сушковой (то есть самой госпоже Хвостовой) Лермонтов сказал четырехстишие с намеком на прекрасную ее косу:

Вокруг лилейного чела
Ты косу дважды обвила;
Твои пленительные очи,
Яснее дня, чернее ночи.

«К обыкновенному нашему обществу, — рассказывает госпожа Хвостова, — присоединился в этот вечер родственник Лермонтова. Его звали Иваном Яковлевичем; он был глуп и рыж и на свою же голову обиделся тем, что Лермонтов ничего ему не сказал. Не ходя в карман за острым словом, Мишель скороговоркой проговорил ему: „Vous etes Jean, vous etes Jacques, vous etes roux, vous etes sot et cependant vous n'etes point Jean-Jacques Rousseau“»*.

---

* — Игра слов: «Вы — Жан (Jean — фр. аналог имени Иван), вы — Жак (Jacques — Яков(левич)), вы рыжий (фр. roux [ру] — рыжий) вы глупый (фр. sot [со] — глупый), однако, вы вовсе не Жан-Жак Руссо».

Еще была одна барышня, соседка Лермонтова по чембарской деревне, и упрашивала его не терять слов для нее и для воспоминания написать ей хоть одну строчку правды для ее альбома. Он ненавидел попрошаек и чтоб отделаться от ее настойчивости сказал: «ну, хорошо, дайте лист бумаги, я вам

выскажу правду». Соседка поспешно принесла бумагу и перо, и он начал:

Три грации...

Барышня смотрела через плечо на рождающиеся слова и воскликнула:

— Михаил Юрьевич, без комплиментов — я правды хочу!

— Не тревожьтесь, будет правда, — ответил он и продолжал:

Три грации считались в древнем мире,
Родились вы, — все три, а не четыре!

За такую сцену можно было бы платить деньги. Злое торжество Мишеля, душивший нас смех, слезы воспетой и утешения Jean-Jacques'a — все представляло комическую картину.

В черновых тетрадях тоже находятся попытки саркастического отношения к лицам, встречаемым поэтом. К четырехстишию: «Моя мольба» Лермонтов делает приписку: «Писано после разговора с одной очень мне известной старухой, которая восхищалась и читала, и плакала над Грандисоном»:

Да охранюся я от мушек,
От дев, не знающих любви,
От дружбы слишком нежной и —
От романтических старушек.

Не без сарказма, по свидетельству самой Екатерины Алексеевны («Записки», с. 92), относился Лермонтов и к ней. Раз утром он послал m-lle Сушковой стихотворение. На сложенной серенькой бумажке было написано: «Ей правда». Развернув, она прочла:

ВЕСНА

Когда весной разбитый лед
Рекой взволнованной идет,
Когда среди полей местами
Чернеет голая земля,
И мгла ложится облаками
На полу-юные поля —
Мечтанье злое грусть лелеет
В душе неопытной моей,
Гляжу: природа молодеет,
Не молодеть лишь только ей...

Что госпожа Хвостова, тогда еще m-lle Сушкова, нравилась поэту, отвергать, уже на основании вышеприведенного признания самого Лермонтова, конечно, нельзя. Но, повторяю, как долго длилось увлечение, и была ли это любовь или только мимолетная симпатия — вот вопрос. Мне кажется, что г-жа Хвостова в записках своих склонна преувеличивать немного страсть поэта. Я говорю пока о первой встрече с ней. Ряд стихотворений, даже

целая тетрадь или альбом, переданный мальчиком-поэтом девушке, ничего еще не доказывает. Лермонтов в то время многим знакомым и родным ему барышням переписывал стихи свои или посвящал им целые поэмы.

Голова Лермонтова была набита — по выражению все той же госпожи Хвостовой — романтическими идеями, и рано было развито в нем желание попасть в губители сердец.

Он платил дань общему тогда направлению молодежи. Это свидетельство скорее говорит против существования тогда серьезной привязанности к рассказчице.

Сама Екатерина Алексеевна в то время посмеивалась над юношей-поэтом вместе с подругой своей Сашенькой Верещагиной:

Очень посмеивались мы над ним в том, что он не только был неразборчив в пище, но никогда не знал, что ел — телятину или свинину, дичь или барашка. Мы говорили, что, пожалуй, он со временем, как Сатурн, будет глотать булыжник. Наши насмешки выводили его из терпения; он спорил с нами почти до слез, стараясь убедить нас в утонченности своего гастрономического вкуса; мы побились об заклад, что уличим его в противном на деле. И в тот же самый день, после долгой прогулки верхом, велели мы напечь к чаю булочек с опилками, и что же? Мы вернулись домой утомленные, голодные, с жадностью принялись за чай, а наш-то гастроном Мишель, не поморщась проглотил одну булочку, принялся за другую и уже придвинул к себе третью, но Сашенька и я — мы остановили его за руку, показывая в то же время на неудобоваримую для желудка начинку. Тут не на шутку взбесился он, убежал от нас и не только не говорил с нами ни слова, но даже и не показывался несколько дней, притворившись больным.

В другом месте говорится:

Сашенька и я обращались с Лермонтовым, как с мальчиком, хотя и отдавали полную справедливость его уму. Такое обращение бесило его до крайности — он домогался попасть в юноши в наших глазах...

Со своей стороны и Лермонтов в долгу не оставался.

Молодежь, толпившаяся в Середниково,— подметив в Кате Сушковой слабость заниматься прекрасными своими волосами и черными очами, над ней подтрунивала и называла ее «черноокой». Г-жа Хвостова откровенно рассказывает: «У меня чудные волосы, и я до сих пор люблю их выказывать; тогда я носила их просто заплетенными в одну огромную косу, которая два раза обвивала голову». Заглавие «Черноокой» носит и одно стихотворение Лермонтова, писанное им к Сушковой с

эпиграфом:

Твои пленительные очи Яснее дня, чернее ночи.

Черновой набросок этого стихотворения сохранился и тетрадях Лермонтова с припиской, которая очень уясняет и его происхождение, и характер отношения мальчика-поэта к черноокой девушке-красавице.

Перед отъездом бабушки Арсеньевой из Середникова в Москву, где Мишель по окончании каникул должен был продолжать учение, всем обществом собрались в путь, намереваясь посетить Сергиевскую лавру и Воскресенский монастырь.

Надо было подняться рано утром. Молодежь решила собраться под окнами m-lle Сушковой и разбудить ее пением.

Мистер Корд, гувернер Аркадия Столыпина, подал мысль. Молодежь, говоря между собой по-английски, называла Екатерину Алексеевну «Miss black eyes» (черноокой барышней) и повторяла относительно нее стих:

Never in our lives

Have we seen such black eyes.

(Никогда в жизни мы не видели таких черных глаз.(англ.))

Решено было пробудить «черноокую» пением этих строк, и в назначенный час раздалось под окном ее пение, а потом говор и клики веселого кружка. По поводу этого события и написано было стихотворение «Черноокой», поднесенное госпоже Сушковой.

Общество пошло на богомолье пешком; только бабушка ехала впереди в карете. Весело, смеясь и болтая, шла молодежь. На четвертый день прибыли в Лавру. Остановились в трактире. Умылись, переоделись и пошли в монастырь отслужить молебен. На паперти повстречали слепого нищего. Дряхлой, дрожащей рукой протянул он деревянную чашку, в которую спутники стали кидать ему мелкие деньги. Нищий крестился и благодарил: «Подай вам Бог счастья, господа добрые! Намедни вот насмеялись надо мною, тоже господа молодые — вместо денег положили мне камешков».

Помолясь в храме, общество вернулось в гостиницу пообедать и отдохнуть. Все говорили, суетились, только Лермонтов, углубившись в самого себя, не принимал участия в общем веселье. Он стоял поодаль на коленях и, положив бумагу на стул, что-то писал. Верный своему обыкновению, он передал бумаге впечатления и думы, занимавшие его:

У врат обители святой

Стоял просящий подаянья,

Бессильный, бледный и худой

От глада, жажды и страданья.

Куска лишь хлеба он просил,
И взор являл живую муку.
И кто-то камень положил
В его протянутую руку.
Так я молил твоей любви
С слезами горькими, с тоскою:
Так чувства лучшие мои
На век обмануты тобою.

В Воскресенском монастыре на стенах жилища Никона Лермонтов начертил два стихотворения, рисующие занимавшие его думы.

Да, несмотря на внешнюю веселость и проказы, грустные думы таились в молодой душе поэта:

Пора уснуть последним сном...
Довольно в мире пожил я,
Обманут жизнью был во всем,
И ненавидя, и любя.

Это стихотворение писано на обороте последнего листа черновой тетради, принадлежащей к рассматриваемой эпохе. Всего же яснее внутреннее состояние молодого поэта, которое старались мы проследить в этих двух главах, выразилось в стихотворении, писанном «11 июня 1831 г.» и так же озаглавленном:

Моя душа, я помню, с детских лет
Чудесного искала. Я любил
Все обольщения света, но не свет,
В котором я минутами лишь жил;
И те мгновенья были мук полны,
И населял таинственные сны
Я этими мгновеньями...
.....
Никто не дорожит мной на земле,
И сам себе я в тягость, как другим.
Тоска блуждает на моем челе.
Я холоден и горд, и даже злым
Толпе кажуся; но ужель она
Проникнуть дерзко в сердце мне должна?
Зачем ей знать, что в нем заключено?
Огонь иль сумрак там — ей все равно!
.....
Душа сама собою стеснена,
Жизнь ненавистна, но и смерть страшна;
Находишь корень мук в себе самом,
И небо обвинить нельзя ни в чем.

Я к состоянью этому привык,
Но ясно выразить его б не мог
Ни ангельский, ни демонский язык:
Они таких не ведают тревог;
В одном все чисто, а в другом все зло.
Лишь в человеке встретиться могло
Священное с порочным. Все его
Мученья происходят от того.
Мысли о смерти постоянно тяготеют над ним:
Я предузнал мой жребий, мой конец,
И грусти ранняя на мне печать,
И как я мучусь, знает лишь Творец;
Но равнодушный мир не должен знать.

Хотя тут несомненно влияние Байрона, но нельзя не видеть и пережитого и перечувствованного самим поэтом. Часть этого стихотворения вошла в драму «Странный человек», которая, по признанию самого автора, имеет чисто автобиографическое значение.

Часть II СТРЕМЛЕНИЯ И ТРЕВОГИ МОЛОДОСТИ (ПЕРИОД БРОЖЕНИЯ)

ГЛАВА VII Университетские годы

Поступление в университет. — Профессора и студенты. — Кружки. — Лермонтов среди товарищей. — Холера — Отношение к вестям о революции во Франции и беспорядках в Польше и Новгороде. — Интересы студенчества, Белинского и Лермонтова. — Симпатии к Полежаеву. — Мидовская история. — Столкновение с профессорами. — Выход из Московского университета и попытка вступить в Петербургский. — Перемена карьеры. — Поступление в Школу гвардейских юнкеров. — Лермонтов — питомец университета, а не Школы.

Посещение Мишей Лермонтовым Благородного Университетского пансиона прекратилось вследствие его закрытия и переименования в гимназию. Указ о закрытии последовал 29 марта 1830 года, а Лермонтов, вероятно, не пожелавший перечислиться в гимназию, получил увольнение 16 апреля того же года. После некоторых колебаний и планов относительно продолжения воспитания за границей решено было приготовить Михаила Юрьевича к вступительному экзамену в Московский университет. 21 августа 1830 года Лермонтов подал прошение о принятии его в число своекоштных студентов на нравственно-политическое отделение. Через несколько дней, еще в течение того же августа месяца, Лермонтов, по предложению ректора, был подвергнут испытанию в комиссии профессоров, которые в донесении своем на имя правления заявили, что нашли молодого человека достаточно подготовленным к слушанию профессорских лекций.

В то время полный университетский курс был трехлетний. Первый курс считался приготовительным и был отделен от двух последних. Университет разделялся до введения нового устава в 1836 году на четыре факультета или отделения: нравственно-политическое, физико-математическое отделение, врачебное и словесное.

Нравственно— или этико-политическое отделение считалось между студентами наименее серьезным. Лермонтов, впрочем, долго на нем не оставался, а перешел в словесное отделение, более соответствовавшее его вкусам и направлению. По указанию

современников, преподавание вообще шло плохо. Профессора относились к своему делу спустя рукава, если и читали лекции, то большинство читало так, что выносить студенту из лекций было нечего. Московский университет был тогда еще накануне возрождения, начавшегося только со второй половины 1830-х годов. Когда учился в университете Лермонтов, то не было уже Мерзлякова. Шевырев, приобретший на первый раз большую, но недолгую популярность, появился на кафедре немного позднее, а Надеждин начал читать лишь в 1832 году, и Лермонтов мог слушать его только в последнее полугодие своего пребывания. На первом курсе студенты всех отделений обязательно слушали словесность у Победоносцева, преподававшего риторику по старинным преданиям, по руководствам Ломоносова, Рижского и Мерзлякова. Он читал о хриях, инверсах и автонианах, но главное внимание свое обращал на практические занятия: неуклонно требовал соблюдения правил грамматики, занимал студентов переводами с латинского и французского языков, причем строго следил за чистотой слога и преследовал употребление иностранных слов и оборотов. Особенно любил задавать студентам темы для сочинений и требовал, чтобы слушатели подавали ему «хрийки». Лекции богословия читались Терновским самым схоластическим образом. По обычаю семинарии, кто-нибудь из студентов, обыкновенно духовного звания, вступал с профессором в диалектический спор. Терновский сердился, но спорил. Когда спор прекращался, он заставлял кого-нибудь из слушателей пересказывать содержание прошедшей лекции. Каченовский читал соединенную историю и статистику Российского государства и правила российского языка и слога, относящиеся преимущественно к поэзии. Всеобщую историю читал Ульрихс по Гейму, греческую словесность и древности преподавал Ивашковский, Снегирев — римскую словесность и древности, немецкий язык — Кистер, французский — Декамп.

Деканом словесного факультета был Каченовский, ректором университета — Двигубский, по описанию современника, один из остатков допотопных профессоров, или, лучше, допожарных, то есть до 1812 года... Вид его был так назидателен, что какой-то студент из семинаристов постоянно называл его «отец-ректор». Он был страшно похож на сову с Анной на шее, как его рисовал другой студент, получивший более светское образование. Обращение ректора со студентами отличалось грубым, начальническим тоном, смягчавшимся перед молодыми людьми из влиятельных фамилий. Попечителем был князь Сергей Михайлович Голицын — большой барин, но, в сущности, добрый человек. Назначенный императором Николаем Павловичем

попечителем Московского округа, он должен был «подтянуть» университет и долго не мог свыкнуться с царившем в нем беспорядком, например, с тем, что когда профессор болен, то лекций нет. «Он думал, что следующий по очереди должен был его заменять, так что отцу Терновскому пришлось бы иной раз читать в клинике о женских болезнях», — острил Герцен. Наконец, князю наскучила борьба, и он перестал входить в дела, предоставив всем заправлять своим помощникам: графу Панину и Голохвастову. Эти люди смотрели на каждого студента как на своего личного врага и вообще студентов считали опасным для общества элементом. Они все добивались что-то сломить, искоренить, уничтожить, дать острастку. Граф Панин никогда не говорил со студентами как с людьми образованными. Он выкрикивал густым басом, постоянно командуя, грозя, стращая.

Если профессора относились к лекциям своим довольно беспечно, то и студенты от них не отставали, и в аудиториях разыгрывались сцены совершенно школьнического характера. Константин Сергеевич Аксаков рассказывал, как студент принес однажды на лекцию Победоносцева воробья и во время лекции выпустил его. Воробей принялся летать, а студенты, как бы в негодовании на такое нарушение приличия, вскочили и принялись ловить его. Поднялся шум, и остановить ревностное усердие было дело нелегкое. Однажды, когда Победоносцев, который читал лекции по вечерам, должен был прийти в аудиторию, студенты закутались в шинели, забились по углам аудитории, слабо освещаемой лампой, и только показался Победоносцев, грянули: «Се жених грядет во полунощи». Часто после прихода профессора разыгрывалась следующая сцена: «Обычный шум в аудитории прекращался, и водворялась глубочайшая тишина. Преподаватель, обрадованный необыкновенными безмолвием, громко начинал читать, но тишина эта была самая коварная, — раздавался тихий, мелодический свист, обыкновенно мазурка или какой-нибудь другой танец, и профессор останавливался в недоумении. Музыка умолкала, и за ней следовал взрыв рукоплесканий и неистовый топот».

Иногда целая аудитория в 100 человек по какому-нибудь пустому поводу поднимала общий крик. Окна тряслись от звука, и всякому было любо! Чувство совокупной силы выражалось в эту минуту в общем громовом голосе... Однажды узнали, что Каченовский не будет. «Каченовский не будет!» — закричал один студент. — «Не будет!» — закричало несколько. — «Не будет!» — загремела вся аудитория и долго гремела. Кто-то вошел в нее в калошах. «Долой калоши! A bas, a bas! (Долой! (фр.))» —

раздалось дружно, и вошедший поспешил скорее удалиться и скинуть калоши. «Странное дело! — говорит К.С. Аксаков, — профессора преподавали плохо, студенты не учились, мало почерпали из университетских лекций, но души их, не подавленные форменностью, были раскрыты, и все-таки много вынесли они из университета. Развивало общее веселье молодой жизни чувство общей связи товарищества — слышалось, хотя и бессознательно, что молодые силы эти собраны во имя науки, во имя высшего интереса истины. Здесь постоянно были шумны и веселы; не было ни одного ни истощенного, ни вытертого, не было ни светского тона, ни житейского благоразумия. Спасительны эти товарищеские отношения, в которых только слышна молодость человека, и этот человек здесь не аристократ и не плебей, не богатый, не бедный, а просто — человек. Такое чувство равенства, в силу человеческого имени, давалось университетом и знанием студента».

Московский университет — по справедливому замечанию Герцена — вырос в своем значении вместе с Москвой после 1812 года: разжалованная императором Петром из царских столиц, Москва была произведена императором Наполеоном (сколько волей, а вдвое того неволей) в столицу народа русского. Народ догадался по боли, которую почувствовал при вести о ее занятии неприятелем, о своей кровной связи с Москвой. С тех пор началась для нее новая эпоха. Московский университет больше и больше становился средоточием русского образования. Все условия для его развития были соединены: историческое значение, географическое положение и не столь ощутимая централизующая и все под один уровень подводящая бюрократическая власть администрации. Из-за тумана, которым заволокло умственную и общественную жизнь русскую после несчастных событий 14 декабря, первый стал выдвигаться Московский университет, и хотя во время пребывания в нем Лермонтова не было еще того обновления, которое сказалось вскоре затем после появления молодых профессоров, влиятельнейшим среди которых был Грановский, но все же животрепещущие интересы жили в среде молодежи. Больше лекций и профессоров развивала студентов аудитория юным обменом мыслей. Общественно-студенческая жизнь и общая беседа, возобновлявшаяся каждый день, много двигали вперед здоровую молодость.

Святое место!... Помню я, как сон,
Твои кафедры, залы, коридоры,
Твоих сынов заносчивые споры
О Боге, о вселенной и о том,

Как пить: с водой, иль просто голый ром, —
Их гордый вид пред гордыми властями,
Их сертуки, висящие клочками,
Бывало только восемь бьет часов,
По мостовой валит народ ученый.
Кто ночь провел с лампадой средь трудов,
Кто — в грязной луже, Вакхом упоенный;
Но все равно задумчивы, без слов
Текут... Пришли, шумят... Профессор длинный
Напрасно входит, кланяяся чинно.
Он книгу взял, раскрыл, прочел, — шумят;
Уходит, — втрое хуже...

Так Лермонтов описывает толпу товарищей своих, шумно наполнявшую каждый день аудитории Московского университета.

Однако из всего сказанного не надо выводить заключение, что молодежь во всем была обязана только самой себе и что профессора уже решительно ничего ей не давали. Еще известный Павлов пробуждал интерес к общим философским вопросам. Многие профессора примыкали к литературному миру, и преподавание их невольно должно было проникаться интересами жизни и литературы. Каченовский был издателем «Вестника Европы», Погодин — издателем «Московского Вестника». Вскоре стал влиять и Надеждин — сотрудник «Вестника Европы» и издатель «Телескопа». «Да, Московский университет делал свое дело! Профессора, способствовавшие своими лекциями развитию Лермонтова, Белинского, а потом и Тургенева, Кавелина, Пирогова, могут спокойно играть в бостон и еще спокойнее лежать под землей», — так говорит Герцен, характеризуя московских студентов и профессоров. Стремления нового поколения, независимо от университета, питала сама тогдашняя литература: поэтическая деятельность Пушкина, критика Полевого и Надеждина.

Интересы литературные проникали в студенчество и вызывали их на деятельность. В разных кружках читали, спорили, писали и обсуждали творения известных писателей или товарищей. Немалое влияние на дух студенчества имели камеры казенно-коштных студентов. Их было до 150 человек, и жили они в общем здании, помещаясь от 8 до 12 человек в комнате. Столовые были общие. Порядком заведовал известный в свое время Д.М. Перевощиков. Камеры, в которых жили эти казенные студенты, часто представляли центры, в которых собирались молодые люди потолковать о своих интересах и нуждах. Здесь зачастую зарождался и развивался тон и направление, сказывавшиеся потом в толпе студенчества. Каждая камера

значилась под известным номером. Сохранился рассказ очевидца об одной из камер «11 номер», где жил Белинский. Тут обнаружились литературные интересы: между товарищами Белинского были люди с такою же любовью к ней. Умственная деятельность в студенческом кругу, особенно в 11 номере, шла бойко: спор о классицизме и романтизме еще не прекращался тогда между литераторами, несмотря на глубокомысленное и многостороннее решение этого вопроса Надеждиным в его докторском рассуждении о происхождении и судьбах романтической поэзии... И между студентами были свои классики и романтики, сильно ратовавшие между собой на словах. Некоторые из старших студентов, слушавшие теорию красноречия Мерзлякова и напитанные его переводами из греческих и римских поэтов, были в восторге от его перевода Тассова «Иерусалима» и очень неблагосклонно отзывались о «Борисе Годунове» Пушкина, только что появившемся в печати, с торжеством указывая на глумливые о нем отзывы в «Вестнике Европы». Первогодичные студенты, воспитанные в школе Жуковского и Пушкина и не заставшие уже в живых Мерзлякова, мало сочувствовали его переводам и взамен этого знали наизусть прекрасные песни его и беспрестанно декламировали целые сцены из комедии Грибоедова, которая тогда еще не была напечатана. Пушкин приводил в неописанный восторг. Между младшими студентами самым ревностным поборником романтизма был Белинский, который отличался необыкновенной горячностью в спорах и, казалось, готов был вызвать на битву всех, кто противоречил его убеждениям. Увлекаясь пылкостью, он едко и беспощадно преследовал все пошлое и фальшивое, был жестоким гонителем всего, что отзывалось риторикой и литературным староверством. Доставалось от него иногда не только Ломоносову, но и столь высокочтимому тогда Державину за риторические стихи и пустозвонные фразы. Случайные сходки в 11 номере приняли мало помалу более постоянный характер, и из них образовалось общество, получившее название «литературных вечеров». Здесь рассуждали о прочитанном, о новом, появившемся в журналах, о лекциях профессоров. Иногда читались и собственные сочинения и переводы. Вот на этих-то «литературных вечерах» в продолжение нескольких заседаний читал свою драму Белинский.

Кроме этого кружка, примыкавшего к 11 номеру, были и другие кружки, отличавшиеся друг от друга некоторыми особенностями и составом лиц, но того же искреннего направления, той же общности жизненных и литературных интересов. Собирались у Станкевича, собирались ежедневно, друзья, товарищи-студенты и окончившие университет. Там

бывали: Ключников, Петров (санскритист), К. Аксаков, А.И. Ефремов, Красов и др.; позднее примкнул и Белинский. Этот кружок Станкевича был замечательным явлением в умственной истории нашего общества. «В этом кружке, — говорит Аксаков, — выработалось уже общее воззрение на Россию, на жизнь, на литературу; усилившаяся фабрикация стихов, неискренность печатного лиризма — все это породило справедливое желание простоты и искренности, породило сильное нападение на всякую фразу и эффект... Кружок Станкевича отличался самостоятельностью мнения, свободного от всякого авторитета»... Кружок этот был трезвый и по образу жизни: не любил ни вина, ни пирушек, которые если случались, то очень редко, и, что всего замечательнее, кружок этот, будучи свободомыслен, не любил ни фразерства, ни либеральничанья, боясь, вероятно, той же неискренности, той же претензии, которые были ему ненавистнее всего; даже вообще политическая сторона занимала его мало; этот кружок желал правды, серьезного дела, искренности и истины. Сам Станкевич, средоточие и глава кружка, был человек необыкновенного и глубокого ума. Главным интересом его была чистая мысль. Он был человек простой, без претензий, и даже боялся ее.

Кружком иного склада был кружок Герцена. И здесь интересовались литературой, читали, спорили, но интересовались не одними теоретическими интересами. В противоположность кружку Станкевича, здесь следили за животрепещущими вопросами социальной и политической жизни. Собирались большей частью у Огарева. Он жил один в нижнем этаже отцовского дома, у Никитских ворот. Квартира была недалеко от университета, и в нее особенно всех тянуло. В Огареве было то магнитное притяжение, которое образует первую стрелку кристаллизации. В его светлой, веселой комнате, обитой красными обоями с золотыми полосками, не проходил дым сигар, запах жженки, яств и питий. Часто, впрочем, из яств, кроме сыра ничего не было. Здесь спорили целые ночи напролет. Кроме Герцена и Огарева, ближайшими друзьями были Вадим Пас-сек, Оболенский, Кетчер, Сазонов и др.; беседы сопровождались возлияниями Бахусу, что, однако, по уверению Герцена, не мешало серьезности интересов. Вероятно, в противоположность ему, К. Аксаков восхваляет трезвость кружка Станкевича: ненависть в нем к фразе и политическим тенденциям, «мысль о каких-либо тайных обществах и проч. была кружку Станкевича смешна, как жалкая комедия». Тот же Аксаков упрекает кружок Герцена в погоне за эффектом и во фразерстве. Действительно, в некоторых членах кружка и в самом Герцене на всю жизнь

сохранилась страсть к эффектным фразам, но это не уничтожило искренности убеждений. Кружки имели между собой более или менее отдаленные отношения через отдельных членов, встречавшихся в аудиториях. Некоторая солидарность интересов видна из того, например, что когда за «Сунгуровскую историю» ссылали молодых людей, то делались в пользу их денежные сборы Огаревым и Иваном Киреевским, каждым в своем кружке, а затем вся сумма была отвезена Киреевским по назначению.

Лермонтов, ставший студентом Московского университета одновременно с упомянутыми людьми, по-видимому, не был членом какого-либо из названных кружков, но общность интересов связывала его с ними. В первое время пребывания в университете Лермонтов чуждался товарищей. Предыдущая жизнь его и трагическая история между отцом и бабушкой, разыгравшаяся как раз перед поступлением его в университет, определенно должны были дать мыслям восприимчивого молодого человека серьезное, мрачное направление. Он, естественно, ушел в себя, и шумное веселье товарищеской жизни в аудиториях не могло прельстить его. К тому же ребяческие выходки студентов, о которых говорено было выше, должны были тяжело действовать на серьезный, сосредоточенный дух поэта, привыкшего уходить от жизни в поэтический мир фантазии или в творения серьезных писателей. Шестнадцатилетний юноша, достаточно переживший, передумавший и перечувствовавший, сознавал себя более зрелым против товарищей, которых он видел в коллективной массе. Сойтись ближе с некоторыми отдельными лицами он не имел пока ни времени, ни желания, вследствие все той же причины внутреннего нравственного страдания. Появление в аудитории этого мрачного, не общительного лица поразило товарищей. Вистенгоф передает весьма характерный рассказ о том, как держал себя Лермонтов в первое время пребывания в университете, и какое он производил впечатление на студентов.

«Мы стали замечать, что в среде нашей аудитории между всеми нами один только человек как-то рельефно отличался от других; он заставил нас обратить на себя особенное внимание. Этот человек, казалось, сам никем не интересовался, избегал всякого сближения с товарищами, ни с кем не говорил, держал себя совершенно замкнуто и в стороне от нас, даже и садился он постоянно на одном месте, всегда отдельно, в углу аудитории, у окна; по обыкновению, подпершись локтем, он читал с напряженным, сосредоточенным вниманием, не слушая преподавания профессора. Даже шум, происходивший при перемене часов, не производил на него никакого впечатления. Он

был небольшого роста, некрасиво сложен, смугл лицом, имел темные, приглаженные на голове и висках волосы и пронзительные темно-карие (скорее серые) большие глаза, презрительно глядевшие на все окружающее. Вся фигура этого человека возбуждала интерес и внимание, привлекала и отталкивала. Мы знали только, что фамилия его — Лермонтов. Прошло около двух месяцев, а он неизменно оставался с нами в тех же неприступных отношениях. Студенты не выдержали. Такое обособленное исключительное поведение одного из среды нашей возбуждало толки. Одних подстрекало любопытство или даже сердило, некоторых обижало. Каждому хотелось ближе узнать этого человека, снять маску, скрывавшую затаенные его мысли, и заставить высказаться.

Однажды студенты, близко ко мне стоявшие, считая меня за более смелого, обратились ко мне с предложением отыскать какой-нибудь предлог для начатия разговора с Лермонтовым и тем вызвать его на какое-нибудь сообщение. „Вы подойдите, Вистенгоф, к Лермонтову и спросите его, какую это он читает книгу с таким постоянным, напряженным вниманием? Это предлог для разговора самый основательный“, — сказал мне студент Красов, кивая головой в тот угол, где сидел Лермонтов. Умные и серьезные студенты Ефремов и Станкевич одобрили совет этот. Недолго думая, я отправился. „Позвольте спросить вас, Лермонтов, какую это книгу вы читаете? Без сомнения, очень интересную, судя по тому, как углубились вы в нее. Нельзя ли ею поделиться и с нами?“ — обратился я к нему, не без некоторого волнения, подойдя к его одинокой скамейке. Мельком взглянув в книгу, я успел только распознать, что она была английская. Он мгновенно оторвался от чтения. Как удар молнии сверкнули его глаза; трудно было выдержать этот насквозь пронизывающий, неприветливый взгляд. „Для чего это вам хочется знать? Будет бесполезно, если я удовлетворю вашему любопытству. Содержание этой книги вас нисколько не может интересовать, потому что вы не поймете тут ничего, если я даже и сообщу вам содержание ее“, — ответил он мне резко, приняв прежнюю свою позу и продолжая опять читать. Как бы ужаленный, бросился я от него».

Лекции осенью 1830 года длились, впрочем, недолго — были они прерваны холерой, которая шла с севера капризно, скачками, то останавливаясь, то внезапно со страшной свирепостью разыгрываясь на новом месте. Она, казалось, обходила Москву, и многие спешили в столицу, ища в ней убежища. Впрочем, даже когда холера показалась в городе, помещики соседних деревень все же спешили туда, может быть, следуя пословице, что «на

людях и смерть красна».

Внезапно разнеслась весть, что холера — в Москве. Утром студент патологического отделения почувствовал себя дурно на лекции. На другой день он умер. За ним смерть сразила других. Было приказано закрыть университет. Студенты всех отделений собрались на большой университетский двор. Что-то трогательное было в этой толпящейся молодежи, которой велено было расстаться перед заразой. Лица были бледны и особенно одушевлены; многие думали о родных, о друзьях. Простились с казеннокоштными, которых отделили карантинными мерами, осудя на безотлучное пребывание в казенном здании, и разбрелись небольшими кучками по домам. Арсеньева с Лермонтовым оставалась в Москве. Мрачные слухи, часто преувеличенные, часто страшные в своей правдивости, тревожили умы. Чернь волновалась и в разных местах России бунтовала. Арсеньева получила известие о гибели брата своего, Николая Алексеевича Столыпина, растерзанного в Севастополе рассвирепевшей толпой, собственно толпой женщин. Из Саратова тоже приходили тревожные слухи. Холера проявилась так жестоко, люди умирали так быстро и в таком количестве, что во многих местах ее принимали за чуму. В сентябре болезнь так усилилась в Москве, что и тут стали в ней видеть чумную эпидемию. Лермонтов в черновых тетрадях не раз упоминает об эпидемии, называя ее то холерой — «cholera morbus», то просто чумой.

В холерное время Москва приняла совсем необычный вид. Эти печальные месяцы имели что-то торжественное. Явилась публичность жизни, неизвестная в обыкновенное время.

Экипажей было меньше, мрачные толпы народа стояли на перекрестках и толковали об отравителях. Кареты, возившие больных, двигались шагом, сопровождаемые полицейскими. Бюллетени о болезни печатались два раза в день. Город был оцеплен, как в военное время, и солдаты пристрелили какого-то бедного дьячка, пробиравшегося через реку. Все это сильно занимало умы. Страх перед болезнью отнял страх перед властями, жители роптали, а тут — весть за вестью, что тот-то занемог, что такой-то умер...

Митрополит устроил общее молебствие. В один день и в одно время священники с хоругвями обходили свои приходы; испуганные жители выходили из домов и бросались на колени во время шествия, прося со слезами отпущения грехов. Сами священники были серьезны и тронуты. Часть их шла в Кремль; там, на чистом воздухе, окруженный высшим духовенством, стоял коленопреклоненный митрополит и молился, «да минует чаша

сия...»

В этот год бедствия проявились в московском обществе энергия, деятельность и распорядительность, и выказало оно при этом великое человеколюбие и патриотизм. Герцен, склонный скорее к замечанию отрицательных сторон, говорит с полным одушевлением и признанием деятельности московского общества:

«Москва, по-видимому, сонная и вялая, занимающаяся сплетнями и богомольем, свадьбами и ничем, просыпается всякий раз, когда надобно, и становится в уровень с обстоятельствами, когда над Русью гремит гроза. Она в 1612 году кроваво обвенчалась с Россией и сплавилась с ней огнем 1812 года.

Я был во время жесточайшей холеры 1849 года в Париже. Болезнь свирепствовала страшно. Июньские жары ей помогали, бедные люди мерли как мухи; мещане бежали из Парижа, другие сидели взаперти. Правительство, исключительно занятое борьбой против революционеров, не думало брать деятельных мер. Тщедушные коллекты были несоразмерны требованиям. Бедные работники оставались покинутыми на произвол судьбы, в больницах не было довольно кроватей, у полиции не было довольно гробов, и в домах, битком набитых разными семьями, тела оставались дня по два во внутренних комнатах.

В Москве (в 1830 году) было не так. Князь Д.В. Голицын, тогдашний генерал-губернатор, человек слабый, но благородный, образованный и очень уважаемый, увлек московское общество, и как-то все уладилось по-домашнему, то есть без особенного вмешательства правительства. Составился комитет из почетных жителей — богатых помещиков и купцов. Каждый член взял себе одну из частей Москвы. За несколько дней было открыто двадцать больниц; они не стоили правительству ни копейки — все было сделано на пожертвованные деньги. Купцы давали даром все, что нужно для больниц: одеяла, белье и теплую одежду, которую оставляли выздоравливавшим. Университет не отстал. Весь медицинский факультет, студенты и лекаря — en masse привели себя в распоряжение холерного комитета; их разослали по больницам, и они оставались там безвыходно до конца заразы. Три или четыре месяца эта чудная молодежь прожила в больницах ординаторами, фельдшерами, сиделками, письмоводителями, и все это — без всякого вознаграждения, и притом в то время, когда так преувеличенно боялись заразы...»

Понятно, что такое время и такая деятельность подняли дух общества и особенно молодежи. Войти в прежнюю колею, раз из нее выбившись, было не так-то легко. Все ощутили большую степень свободы. Применение к делу личных сил, временное ослабление прежнего порядка и замена его новым поднимали в

горячих головах несбыточные надежды на какое-то совершенное обновление жизни. К тому же в 1830 году события неслись быстро.

«Едва худощавая фигура Карла X успела скрыться за туманами Голируда, Бельгия вспыхнула. Трон короля-гражданина качался; какое-то горячее, революционное дуновение началось в прениях, в литературе. Романы, драмы, поэмы — все снова сделалось пропагандой, борьбой... Тогда орнаментальная, декоративная часть революционных постановок во Франции нам была неизвестна, и мы все принимали за чистые деньги. Мы следили шаг за шагом, за каждым словом, за каждым событием, за смелыми вопросами и резкими ответами, за генералом Ламарком. Мы не только подробно знали, но горячо любили тогдашних деятелей — разумеется, радикальных — и хранили у себя их портреты от Манoеля и Бенжамен Констана до Дюпон-де Лера и Армана Карель».

Так Герцен описывает настроение молодежи в Московском университете. В тетрадях Лермонтова мы находим стихотворение, показывающее, что он держался тех же мыслей, испытывал те же чувства.

Таково стихотворение, озаглавленое: «Париж 30 июля 1830 года».

До того заразительны были звуки революции, которая, как казалось молодежи, должна была принести с собой всем, следовательно и России, свободу, равенство и братство и водворить новую эру всеобщего счастья, что на всех противодействовавших революционному движению смотрели враждебно, а успеху его рукоплескали.

Еще раньше, как только прибыла весть о революционном движении во Франции, Лермонтов восторженно восклицал:

Опять вы, гордые, восстали
За независимость страны,
И снова перед вами пали
Самодержавные сыны;
И снова знамя вольности кровавой
Явилося — победы мрачный знак,
Оно любимо прежде было славой,
Суворов был его сипъневший враг...

Юный поэт так увлекся мечтами свободы, что готов был выразить негодование даже на великого полководца, когда-то боровшегося против войск революционной Франции.

Кажется, уцелевший клочок приведенного стихотворения имеет именно такой смысл, и сомнительно, чтобы продолжение представляло иной вид. Когда был подавлен бунт военных

поселений, Лермонтов упрекал новгородцев за недостаток стойкости. Под заглавием: «Новгород 30 октября 1830 года» он писал:

Сыны снегов, сыны славян,
Зачем вы мужеством упали?
Зачем?.. Погибнет ваш тиран (Аракчеев),
Как все тираны погибали!..
До наших дней при имени свободы
Трепещет ваше сердце и горит...
Есть бедный град (Париж), там видели народы
Все то, к чему ваш дух теперь летит...

Только относительно восстания в Польше, проявившегося в конце 1830-го года, лермонтовские тетради хранят молчание. Может быть, что и было что-нибудь — тетради дошли до нас неполные — может быть, Лермонтова удерживало от выражения симпатии этому движению известное стихийное чувство. Стихотворение его

Опять, народные витии,
За дело падшее Литвы,
На славу гордую России
Опять шумя восстали вы...

неверно относилось издателями к 1831-му году. Оно писано в 1835 году, и к разбираемой нами эпохе не относится.

Быстрота событий, революционное движение во Франции, на границах России, угрожающая эпидемия и бунты внутри — все заставляет юного поэта глядеть мрачными красками на будущее и выразить это в стихотворении «Предсказание».

Картины революции, восстания и кровавых порывов к достижению всеобщей свободы и личной независимости побуждают Лермонтова написать в этом же году повесть, оставшуюся, впрочем, неоюнченнои, в которой описывается начало кровавых неурядиц в России, где между прочим казак поет песню, еще раньше встречающуюся в тетрадях поэта под заглавием «Воля»:

Моя мать — злая кручина,
Отцом же была мне судьбина...
.....
Но мне Богом дана
Молодая жена —
Воля-волюшка,
Несравненная!
С ней нашлись другие у меня
Мать, отец и семья:
А моя мать — степь широкая,

А мой отец — небо далекое.
Они меня воспитали
Кормили, поили, ласкали.
.....
А вольность мне гнездо свила,
Как степь необъятное!

До 12 января 1831 года лекции в университете не читались; когда же после торжественного молебствия университет был открыт, чтение шло беспорядочно. В городе холера не вполне прекратилась; ни профессора, ни студенты еще не могли войти в обычную колею, да и не все были налицо, так что на этот раз весенних переводных экзаменов не было, и все студенты остались на прежних курсах. Год был потерян.

Относительно товарищей в аудиториях Лермонтов продолжал держать себя по-прежнему. Вистенгоф говорит: «Видимо было, что Лермонтов имел грубый, дерзкий, заносчивый характер, смотрел с пренебрежением на окружающих его, считал их всех ниже себя. Хотя все от него отшатнулись, а, между прочим, странное дело, какое-то непонятное, таинственное настроение влекло к нему и невольно заставляло вести себя сдержанно в отношении к нему, а в то же время завидовать стойкости его угрюмого нрава. Иногда в аудитории нашей в свободные от лекций часы студенты громко вели между собой оживленные беседы о современных животрепещущих вопросах. Некоторые увлекались, возвышая голос. Лермонтов, бывало, оторвется от своего чтения и только взглянет на ораторствующего — но как взглянет!.. Говорящий невольно, будто струсив, или умалит свой экстаз, или совсем замолчит. Доза яда во взгляде Лермонтова была поразительна. Сколько презрения, насмешки и вместе с тем сожаления изображалось тогда на его строгом лице.

Вне стен университета Лермонтов точно также чуждался нас. Он посещал великолепные балы тогдашнего московского благородного собрания, являлся на них изысканно одетым в сообществе прекрасных светских барышень, к которым относился так же фамильярно, как к почтенным влиятельным лицам, во фраках со звездами, или ключами сзади, прохаживавшимся с ним по залам. При встречах с нами он делал вид, будто не знает нас. Непохоже было, что мы с ним были в одном университете, факультете и на одном и том же курсе. Наконец мы совершенно отвернулись от Лермонтова и перестали им заниматься».

Все ли отвернулись от него, и не сошелся ли Лермонтов все-таки с некоторыми товарищами — это вопрос. Из дальнейших рассказов и признаний Вистенгофа можно заключить, что тогдашнее его развитие и знание стояли несоизмеримо ниже

лермонтовского и что, конечно, общего между ними не могло быть.

Что Лермонтов не чужд был студенческой жизни и товарищеского круга, мы можем судить по некоторым данным и по отдельным сценам автобиографической драмы его «Странный человек», писанной в 1831 году, на второй год пребывания поэта в университете. В драме этой сцена четвертая, помеченная 17 октября, представляет комнату студента Рябинова.

Бутылки шампанского на столе, и довольно много беспорядка. Снегин, Челяев, Рябинов, Заруцкий, Вишневский курят трубки. Ни одному нет более 20 лет.

Среди шумного разгула и безумных или циничных тостов между некоторыми присутствующими идет серьезный разговор. Говорят об отсутствующем товарище, Владимире Арбенине (имя, под которым Лермонтов не раз до некоторой степени рисовал самого себя). Этот Арбенин — странный человек.

То шутит и хохочет, но вдруг замолчит и сделается подобен истукану, или вдруг вскочит, убежит, как будто бы потолок провалился над ним...

Говорят о театре, в котором давали общипанных «Разбойников» Шиллера. Поднимаются и такие вопросы: «Господа, когда же русские будут русскими?» На что студент Челяев отвечает: «Когда они на сто лет подвинутся назад и будут просвещаться и образовываться снова-здорова». Видно, Лермонтову не чужды были мысли, которые затрагивались уже тогда в кружках Аксаковых и после вспыхнули ярким огнем, когда философские письма Чаадаева поделили московские кружки на два лагеря: «славянофилов» и «западников», из которых первые видели спасение России в том, чтобы повернуть назад, к Руси допетровской, и вступить на путь естественного, органически связанного с народом развития; а вторые требовали совершенного отчуждения от всего русского и народного и полнейшего слития с Западом.

Кстати относительно трагедии «Странный человек». В ней есть место, затрагивающее вопрос крепостного права. В молодежи тогда много судили и рядили о правах человека и о несправедливости угнетения целой массы людей сословием, подчас злоупотреблявшим своими правами и преимуществами. Идеи эти занимали кружок Белинского и побудили написать драму, первую его неудавшуюся попытку литературного творчества. Если сравнить относящиеся к этому мысли в драме Белинского и драме Лермонтова («Странный человек», сцена пятая), то нельзя не увидать полного тождества идей у обоих студентов и начинающих писателей.

У Белинского слуга рассказывает о положении крестьян после смерти барина, рассказывает, как барыня начала тиранствовать: «била как собак, и отдавала в солдаты, и пускала по миру, отнимала хлеб, скот, обирала деньги, холст... Да всего и сказать нельзя. На каторге колодникам житье лучше, чем нам грешным у барыни».

Герой драмы, Владимир, выражает по поводу этого гуманные мысли свои: «Неужели эти люди для того только и родятся на свет, чтобы служить прихотям таких же людей, как и они сами?.. Кто дал это гибельное право одним людям порабощать своей власти волю других подобных им существ? Кто позволил им ругаться над правами природы и человечества? Господин может для потехи или для рассеянья содрать шкуру с своего раба, продать его, как скота, выменять на собаку, лошадь, корову... Милосердный Боже! Отец человеков! Ответствуй мне: Твоя ли премудрая рука произвела на свет этих змеев, этих крокодилов, этих тигров?..» и т.д.

У Лермонтова крестьянин приходит к молодому человеку, другу героя драмы (по странной случайности названному Белинским), и также жалуется на жестокое обращение барыни.

Она бьет без милосердия, мучает и терзает так, что хоть в воду... Герой драмы, как и у Белинского, по имени Владимир, приходит от рассказа в бешенство и восклицает:

«Люди, люди! И до такой степени злодейства доходят женщины, творение иногда столь близкое к ангелу!.. О, проклинаю ваши улыбки, ваше счастье, ваше богатство — все куплено кровавыми слезами!.. Ломать руки, колоть, сечь, резать, выщипывать бороду волосок по волоску... О, Боже! При одной мысли об этом я чувствую боль во всех моих жилах... О, мое отечество, мое отечество!..»

Владимир уговаривает друга своего купить несчастных крестьян и отдает ему последние свои деньги.

Нелишним будет упомянуть, что как раз в это время Лермонтов в черновой тетради записывает сюжет трагедии:

«Молодой человек в России, который не дворянского происхождения, отвергаем обществом, любовью, унижаем начальниками. (Он был из поповичей или из мещан, учился в университете и вояжировал на казенный счет.) Он застрелился».

«Вояжировал на казенный счет», по тогдашнему способу выражения, легко может означать отправку в ссылку.

Чтобы Лермонтов в университете был знаком с Белинским — сомнительно; иначе последний, рассказывая впоследствии о знакомстве своем с Лермонтовым в Петербурге, упомянул бы об университетских отношениях. Нет, тут не может быть и речи о

взаимном влиянии. Интересен факт, что оба произведения: драма Белинского и драма Лермонтова, писанные в одно время, являют аналогию в интересах и обсуждении тех же вопросов. Это служит доказательством того, какие вопросы волновали молодежь в аудитории и кружках, и что Лермонтов не был равнодушен к ним.

Я уже говорил, что Михаил Юрьевич не был членом какого-либо из упомянутых выше кружков университетской молодежи. Круг студентов, с которыми он видался, был невелик. То были большей частью товарищи по университетскому пансиону или молодые люди из общества бабушки и большого числа тетушек и кузин. Время, проводимое в этом обществе, состояло из светских удовольствий, вечеров и балов, в которых принимал участие рано избалованный бабушкой поэт наш, не отдавая, впрочем, этой жизни души своей и сохраняя в чистоте святая святых ее. Лермонтов как бы искал в рассеянной жизни забвения от внутренней тоски. Он чувства свои и лучшую сторону своего я таил от всех или раскрывал его лишь двум-трем из особенно близких людей. Внешнюю сторону тогдашней жизни своей — свои светские удовольствия и ту сторону характера, которую он выказывал толпе знакомых, Лермонтов изображает в рассказе об университетских годах Печорина в «Княгине Литовской»:

«До девятнадцатилетнего возраста Печорин жил в Москве. С детских лет он таскался из одного пансиона в другой и наконец увенчал свои странствования вступлением в университет, согласно воле своей премудрой маменьки. Он получил такую охоту к перемене мест, что если бы жил в Германии, он сделался бы странствующим студентом. Но скажите ради Бога, какая есть возможность в России сделаться бродягой повелителю трех тысяч душ и племяннику двадцати тысяч московских тетушек?

Итак, все его путешествия ограничивались поездками с толпой таких же негодяев, как он, в Петровский парк, в Сокольники и в Марьину рощу. Можно вообразить, что они не брали с собой тетрадей и книг, чтобы не казаться педантами. Приятели Печорина, которых число было, впрочем, не очень велико, были все молодые люди, которые встречались с ним в обществе, ибо и в то время студенты были почти единственными кавалерами московских красавиц, вздыхавших невольно по эполетам и эксельбантам, не догадываясь, что в наш век эти блестящие вывески утратили свое прежнее значение. Печорин с товарищами являлся также на всех гуляньях. Держась под руки, они прохаживались между вереницами карет, к великому соблазну квартальных. Встретив одного из этих молодых людей, можно было, закрыв глаза, держать пари, что сейчас явятся и остальные. В Москве, где прозвания еще в моде, прозвали их „la

bande joyeuse (веселая банда (фр.))...“»

Это описание характеризует нам быт той светской молодежи, о которой упоминает и Герцен, и Константин Аксаков, говоря о «молодых людях так называемых аристократических домов, принесших с собою всю пошлость, всю наружную благовидность, все это бездушное приличие своей сферы, всю ее зловредную светскость» и т.д. Лермонтов отлично понимал этих «приличных» юношей и, становясь к ним одной стороной существа своего, по привычке своей все вверять бумаге, сделал ей, этой стороне своего характера, оценку в Печорине, точно так же как в «Странном человеке» он изобразил свой внутренний мир, а в «Сашке» — разгульную сторону студенческой жизни. Отзывчивая душа юного Лермонтова была доступна всем увлечениям, каждому чувству, каждому движению от легкомысленного порыва до понимания высокой и сознательной мысли. Общепринятое: «пошлый опыт — ум глупцов» — не останавливало его. В то время с ужасом смотрели благовоспитанные родители на Полежаева, и «матушка моя, — сообщал мне товарищ Лермонтова, Вистенгоф, — неделю не говорила со мною, узнав, что я познакомился с Полежаевым, от которого отцы и матери того времени отстраняли своих детей, как от человека опасного и заклейменного». Лермонтов чувствовал симпатию к этому мученику, как он и Белинский, тоже уроженцу Пензенской губернии.

Полежаевская история тогда была еще жива в памяти университетской молодежи. Она случилась в 1826 году. За ней начался ряд стеснительных мер для университета.

Об Александре Ивановиче, постигнутом судьбой, так сказать, на другой день по окончании курса, много еще толковалось, а университетская поэма его «Сашка», несмотря на строгое запрещение, все ходила по рукам в рукописях. Эта поэма, собственно, не имела ничего политического, хотя Герцен в рассказе своем о Полежаеве старается дать ей такое значение, и с легкой руки его мнение это распространилось у нас. «Сашка» имеет частью автобиографическое значение, и Полежаев описывает в нем грубые шутки и дикие, буйные выходки студентов, кутил, повес, времена которых миновали, когда был студентом Лермонтов, но некоторые рассказы о которых еще жили в памяти молодых людей, в известные годы любящих, что называется, «хватать через край». В подражание или в память Полежаеву Лермонтов написал своего «Сашку», тоже с автобиографическими чертами. Писанная одним размером с поле-жаевским произведением, с подобными же выходками эротического, подчас непристойного содержания, она вылилась у Лермонтова под влиянием другой, менее благотворной сферы,

уже позднее, во время и после пребывания в школе гвардейских юнкеров; но так как в ней частью рисуется университетское пребывание Лермонтова, то я и говорю о ней в этой главе. Мы видели выше, каким описывает Лермонтова в светском кругу Вистенгоф. Приблизительно такое же описание делал мне и другой его товарищ. И Лермонтов подтверждает эти показания, изображая героя поэмы «Сашка»:

Он ловок был, со вкусом был одет,
Изящно был причесан и так дале.
На пальцах перстни изливали свет,
И галстук надушен был, как на бале.
Ему едва ли было двадцать лет,
Но бледностью казалися покрыты
Его чело и нежные ланиты,
(Не знаю, мук иль бурь последних след,
Но мне давно знаком был этот цвет)
И на устах его, опасней жала
Змеи, насмешка вечная блуждала.
Заметно было в нем, что с ранних дней
В кругу хорошем, то есть в модном свете,
Он обжился, что часть своих ночей
Он убивал бесплодно на паркете
И что другую тратил не умней...
В глазах его открытых, но печальных,
Нашли бы вы без наблюдений дальних
Презренье, гордость; хоть он был не горд,
Как глупый турок иль богатый лорд,
Но все-таки себя в числе двуногих
Он почитал умнее очень многих.

Впрочем, надо сознаться, что Лермонтов, говоря о «Саше» или «Сашке» в поэме этого имени, столько же относится к самому себе, сколько к Полежаеву. В герое поэмы слиты оба типа. Они имели много общего, много неразгаданного, и много личной субъективной силы крылось в них. Жажда к личной свободе и избыток огромных сил в этих двух характерах, проявившихся как раз в то время, югда все подводилось под один уровень и не терпелось ничего самобытного, делает их страдания весьма схожими, делает судьбу их схожею, с той только разницей, что за одним стояла богатая и влиятельная родня да преданная бабушка, а другой был безродный бедняк, от которого отказался богатый дядя. Но оба они сошли непонятыми в раннюю могилу под военной шинелью, под которой держали их насильно и против воли. Оба избыток сил, которым выход был заказан, тратили непроизводительно, особенно в первой молодости, не

зная, куда девать кипучую страсть, и не находя ответа на призыв любящей души. Следующая характеристика «Сашки» одинаково может относиться и к Лермонтову, и к Полежаеву — личностям роковым:

Он был рожден под гибельной звездой,
С желаньями безбрежными, как вечность.
.....
... И в пустыне света
На дружный зов не встретили ответа.

Да, Лермонтов почуял это родство своей натуры с Полежаевской, и о нем-то говорит он:

И ты, чья жизнь, как беглая звезда,
Промчалася неслышно между нами,
Ты мук своих не выразил словами,
Ты не хотел насмешки выпить яд
С улыбкою притворной, как Сократ,
И не разгадан глупою толпою.
Ты умер — чуждый жизни... Мир с тобою!
И мир твоим костям! Они сгниют,
Покрытые одеждою военной...

Еще в других местах поэмы встречаются слова симпатии к Полежаеву, отличающиеся теплотой и искренностью тона.

Несмотря на то, что Лермонтов как будто чуждался товарищей по аудитории, он не отставал от них, когда дело касалось, так сказать, всей корпорации, когда предпринималось что-нибудь, сопряженное с общею опасностью и ответственностью. В этом случае Лермонтов являлся солидарным с другими — ни искренность, ни гордость его характера не дозволяли ему отделиться от других. Он ощущал вполне то, что так выхваляет Аксаков — «чувство общей связи товарищества».

Выказалось это в известной маловской истории, бывшей в начале 1831 года. Профессор Малов на этико-политическом отделении читал историю римского законодательства или теорию уголовного права. Его любимой темой было рассуждение о человеке. Он заставлял студентов писать на эту тему, чем надоедал им, как и вообще выводил их из терпенья назойливым и придирчивым своим характером. Грубый и необразованный, он довел-таки студентов до того, что они решились сделать ему «скандал».

Сговорившись с некоторыми из товарищей своих по другим отделениям, студенты собрались в аудиторию. Через край полная аудитория, — рассказывает очевидец, — волновалась и издавала глухой, сдавленный гул. Малов обыкновенно начинал свои лекции словами: «Человек, который...» Едва он на этот раз начал

лекцию своим обычным выражением, как началось шарканье. «Вы выражаете ваши мысли ногами, как лошади!» — раздраженно заметил профессор и попытался овладеть шумом, вновь приступая к лекции. «Человек, который...» — произнес он опять. — «Прекрасно! Fora!» — кричат студенты. — «Человек, который ...» — «Bis! Прекрасно!...» Бедный Малов замечает: «Господа, я должен буду уйти!...» Ему кричат: «Прекрасно, браво!...» Наконец поднялась целая буря. Студенты вскочили на лавки, раздались свистки, шиканье, крики: «Вон его, вон!...» Потерявшийся Малов сошел с кафедры, продираясь к дверям. С шиканьем и свистом провожали его слушатели. Все шли за ним по коридору, по лестнице. Торопливо одевшись, Малов вышел на университетский двор. Студенты бросили вслед ему забытые им калоши. Они проводили его до ворот и вышли на улицу. Таким образом, дело получило формально более серьезный характер. Малова вообще не любили, и часто студенты встречали его шиканьем или устраивали ему шумные скандалы в аудиториях. Это проходило безнаказанным или без серьезных последствий; но на этот раз история получила публичность, да и вообще к студентам, как уже замечено, стали относиться строже. Родители и молодежь, уже наученные опытом и зная, что такая история может повлечь за собой более или менее строгие наказания — отдачу в солдаты, а не то и отправление их в отдаленную ссылку — ожидали кары.

Особенно грозила опасность тем из участников, которые, принадлежа к другим факультетам, пришли в аудиторию в качестве вспомогательного войска.

К последним принадлежал Лермонтов. Он ждал наказания, что видно из стихотворения, написанного им в то время другу и товарищу по университету Н.И. Поливанову.

На этот раз, однако, опасность миновала.

Университетское начальство, боясь, чтобы не было назначено особой следственной комиссии и делу придано преувеличенное значение, отчего могли возникнуть неприятности и для него, поспешило само подвергнуть наказанию некоторых из студентов и по возможности уменьшить вину их. Сам Малов был сделан ответственным за беспорядок и в тот же год получил увольнение. Из студентов лишь некоторые приговорены к легкому наказанию — заключению в карцер.

Ректор Двигубский, благоразумно избегавший затрагивать студентов с влиятельною родней, кажется, вовсе не подвергнул Лермонтова взысканию. Герцен же, как предводитель курса, пришедшего с медицинского факультета, посидел под арестом. Обыкновенное мнение, что Лермонтов из-за этой истории должен был покинуть Московский университет, совершенно ошибочно; но

весьма возможно, что участие его в ней, равно как и некоторые столкновения с другими профессорами, заставили университетское начальство смотреть на него косо и желать отделаться от дерзкого питомца. По рассказам товарища, у Лермонтова в то же время были столкновения с профессорами: Победоносцевым и другими.

«Перед рождественскими праздниками, — говорит Вистенгоф, — профессора делали репетиции, то есть проверяли знания своих слушателей за пройденное полугодие и, согласно ответам, ставили баллы, которые брались в соображение на публичных переходных экзаменах. Профессор Победоносцев, читавший изящную словесность, задал какой-то вопрос Лермонтову. На этот вопрос Лермонтов начал отвечать бойко и с уверенностью. Профессор сначала слушал его, а потом остановил и сказал:

— Я вам этого не читал. Я бы желал, чтобы вы мне отвечали именно то, что и проходили. Откуда могли вы почерпнуть эти знания?

— Это правда, господин профессор, — отвечал Лермонтов, — вы нам этого, что я сейчас говорил, не читали и не могли читать, потому что это слишком ново и до вас еще не дошло. Я пользуюсь научными пособиями из своей собственной библиотеки, содержащей все вновь выходящее на иностранных языках.

Мы переглянулись. Ответ в этом роде был дан уже и прежде профессору Гастеву, читавшему геральдику и нумизматику».

Дерзкими выходками этими профессора обиделись и припоминали это Лермонтову на публичном экзамене. Вистенгоф замечает при этом, что эти столкновения с профессорами открыли товарищам глаза относительно Лермонтова. «Теперь человек этот нам вполне высказался. Мы поняли его», — то есть уразумели, как полагает Вистенгоф, заносчивый и презрительный нрав Лермонтова

Надо однако же сказать, что при тогдашнем печальном преподавании и презрительным отношении к нему даже лучших студентов, такие выходки Лермонтова не представляли ничего необыкновенного. К. Аксаков рассказывает, что «Коссович (известный наш санскритист) тоже уединился от всех, не занимался университетским ученьем, не ходил почти на лекции, а когда приходил, то приносил с собою книгу и не отнимал от нее головы все время, как был в аудитории. Коссович, который в это время вступил на свою дорогу филологического призвания и глотал один язык за другим, трудясь дельно и образовывая себя, был .оставлен на втором курсе и только впоследствии, занявшись университетскими предметами, вышел кандидатом».

Белинский тоже равнодушно не мог слушать некоторых лекций. Однажды Победоносцев в самом азарте объяснений вдруг остановился и, обратившись к Белинскому, сказал:

«Что ты, Белинский, сидишь так беспокойно, как будто на шиле, и ничего не слушаешь? ... Повтори-ка мне последние слова, на чем я остановился?» — «Вы остановились на словах, что я сижу на шиле», — отвечал спокойно и не задумавшись Белинский. При таком наивном ответе студенты разразились смехом. Преподаватель с гордым презрением отвернулся от неразумного, по его разумению, студента и продолжал свою лекцию о хриях, инверсах и автонианах, но горько потом пришлось Белинскому за его убийственно-едкий ответ.

Итак, выходка Лермонтова не представляла ничего необычайного, но легко могла рассердить профессора обидностью тона и явно презрительным отношением к его преподаванию, высказанным в присутствии всей аудитории.

Когда подошли публичные переходные экзамены, профессора дали почувствовать строптивому студенту, что безнаказанно нельзя презирать их лекций.

Произошло ли новое столкновение с Победоносцевым, вследствие которого Лермонтов не хотел далее экзаменоваться или же экзаменовался он неудачно, но только продолжать курс в Московском университете оказалось неудобным. Быть может, именно тут начальство, припоминая выходки Лермонтова, постаралось намекнуть на то, что удобнее было ему продолжать курс в другом университете. Во всяком случае, решено было родными и самим Михаилом Юрьевичем из Московского университета выйти и поступить в Петербургский. 1 июня 1832 года Лермонтов вошел с прошением в правление университета об увольнении его из оного и о выдаче надлежащего свидетельства для перехода в Императорский Санкт-Петербургский университет. Таковое свидетельство и было выдано просителю 18 числа того же месяца. Замечательно, что в свидетельстве ничего не говорится о том, на каком Лермонтов числился курсе, а только то, что, поступив в число студентов 1 сентября 1830 года, слушал лекции по словесному отделению.

Снабженный свидетельством о пребывании в университете, Лермонтов с бабушкой летом 1832 года отправились в Петербург, где поместились в квартире на берегу Мойки, у Синего моста, в доме, который позднее принадлежал журналисту Гречу.

Однако Петербургский университет отказался зачесть Лермонтову годы пребывания в Московском университете, и таким образом ему пришлось бы поступить вновь на первый курс. К тому же, как раз в это время заговорили об увеличении

университетского курса на столько, чтобы студенты оканчивали его не в три, а в четыре года. Это испугало Лермонтова; он видел несправедливость в том, что ему не хотели зачесть лет, проведенных в Москве. Поступив в Петербурге в число студентов, ему пришлось бы окончить курс в 1836 году. Этим он тяготился, ему хотелось на свободу, стать независимым человеком. Еще незадолго перед тем писал он в альбом Саши Верещагиной:

Отворите мне темницу,
Дайте мне сиянье дня,
Черноглазую девицу,
Черногривого коня:
Я пущусь по дикой степи,
И надменно сброшу я
Образованности цепи
И вериги бытия.

Свободолюбивая натура Лермонтова тяготилась всякими стеснениями. Он всюду чувствовал «вериги бытия».

Порядки университета и общества в юношеском преувеличении казались ему цепями.

Лермонтову хотелось во что бы то ни стало вырваться из положения зависимого. Вот почему он задумал поступить юнкером в полк и в училище, из которого он мог выйти уже в 1834 году и, следовательно, выигрывал два года.

К тому же, многие из его друзей и товарищей по университетскому пансиону и Московскому университету как раз в это время тоже переходят в «школу». Еще за год вступил в нее любимейший из товарищей Лермонтова по университетскому пансиону Михаил Шубин, а одновременно с ним — Поливанов из Московского университета, друзья и близкие родственники — Алексей (Монго) Столыпин и Николай Юрьев да Михаил Мартынов — сосед по пензенскому имению.

Неудивительно, что все это подстрекало Лермонтова, пылкий характер которого, конечно, не мог удовлетвориться деятельностью в службе гражданской, а в то время ведь всякий непременно должен был служить или в военной, или в гражданской службе. Его натура, жаждавшая бурь и сильных ощущений, насыщенная с детства рассказами Капэ о наполеоновских войнах и родных, о кавказских приключениях, конечно, влекла к жизни военной. Недаром в юношеских произведениях он прославлял бои и выказывал симпатию к военному быту и военным людям. Страсть к литературе одна, вероятно, заставляла его насиловать натуру свою и уступать желаниям бабушки, которая и слышать не хотела, чтобы внук подвергал себя опасностям боевой жизни. Позднее еще, когда

Лермонтов юнкером лейб-гвардии гусарского полка стоял в Петергофе и в лагерное время захворал, выказалось, по рассказам очевидцев, вся нелюбовь Арсеньевой к военной карьере внука. Бабушка приехала к начальнику Лермонтова полковнику Гельмерсену просить отпустить больного домой. Гельмерсен находил это лишним и старался уверить бабушку, что для внука ее нет никакой опасности. Во время разговора он сказал:

— Что же вы сделаете, если внук ваш захворает во время войны?

— А ты думаешь, — бабушка, как известно, всем говорила «ты», — а ты думаешь, что я его так и отпущу в военное время?! — раздраженно ответила она.

— Так зачем же он тогда в военной службе?

— Да это пока мир, батюшка!.. А ты что думал?

Желания бабушки и мечты о деятельности литературной, о славе, подобной Байрону, вероятно, сдерживали Лермонтова от стремления поступить в военную службу, и этим объясняются слова поэта в письме к подруге своей о том, что он до сих пор принес столько жертв своему идолу, то есть литературным интересам. Теперь сами обстоятельства наталкивают поэта на путь, в душе ему не совсем чуждый.

Решение Михаила Юрьевича так растревожило бабушку, что она даже захворала. Родные и знакомые в Москве всполошились и немало толков стало ходить по кружкам.

Двоюродная сестра Михаила Юрьевича Анна Григорьевна Столыпина писала в Москву по поводу его перехода, и там сочинили целую сплетню, будто Лермонтов имел неприятности и в Петербургском университете, из-за которых был исключен и вынужден поступить в «юнкерскую школу».

Верный друг Лермонтова Сашенька Верещагина пишет ему из Москвы встревоженное письмо: «Аннет Столыпина пишет П., что вы имели неприятность в университете и что тетка моя (то есть бабушка Арсеньева) от этого хворала; ради Бога напишите мне, что это значит? У нас все делают из мухи слона, — ради Бога успокойте меня. К несчастью, я вас знаю слишком хорошо, чтобы быть спокойной. Я знаю, что вы способны резаться с первым встречным из-за первого вздора. Фи, стыд какой!.. С таким дурным характером вы никогда не будете счастливы».

Должно быть, близким Лермонтова хорошо были известны столкновения его с профессорами и начальством в Московском университете, так как известие о таковых же стычках в Петербургском университете нашло полное доверие.

На письмо Верещагиной Лермонтов отвечал:

«Несправедливая и легковерная женщина!» (Заметьте, что я в

полном праве так назвать вас, дорогая кузина!) Вы поверили словам и письму молодой девушки, не подвергнув их критике. Annette говорит, что никогда не писала, что я имел неприятность, но что мне не зачли, как это было сделано для других, годы, проведенные мною в Московском университете. Дело в том, что вышла реформа для всех университетов, и я опасаюсь, чтоб от нее не пострадал также и Алексис (Лопухин), ибо к прежним трем невыносимым годам прибавили еще один.

Что Лермонтов не без борьбы решился переменить свою судьбу, видно по той боли, с какой он покидает прежние мечты о литературном поприще. Он рано свыкся с этой мыслью и ею жил. В изучение великих писателей отечественных и иностранных, в мысленной беседе с ними проводил он свою молодость; с самого почти детства он жаждал достигнуть их значения и славы, и со всем этим надо было теперь проститься. Около того же времени пишет он другу своему Марье Александровне Лопухиной:

Не могу представить себе, какое действие произведет на вас моя великая новость: до сих пор я жил для поприща литературного, принес столько жертв своему неблагодарному идолу, и вот теперь я — воин.

Быть может, тут есть особая воля Провидения: быть может, этот путь всех короче: и если он не ведет к моей первой цели, может быть, по нем дойду до последней цели всего существующего: ведь лучше умереть со свинцом в груди, чем от медленного старческого истощения.

Тогда же писал он и к Александре Верещагиной:

Теперь, конечно, вы уже знаете, что я поступаю в школу гвардейских юнкеров... Если бы вы могли представить себе все горе, которое я испытываю, вы бы пожалели меня. Не браните же более, а утешьте меня, если обладаете сердцем.

Лермонтов выдержал вступительный экзамен в юнкерскую школу в конце октября или начале ноября. Приказом по школе от 14 ноября 1832 г. он был зачислен в лейб-гвардии гусарский полк на правах вольноопределяющегося унтер-офицера. Знакомые и родные еще долго не могли свыкнуться с этим изменением в карьере молодого человека.

Еще от 7 января следующего 1833 года, когда Лермонтов лежал больной, с ногой, зашибленной на ученье лошадью, ему пишет из Москвы Алексей Лопухин: «У тебя нога болит, любезный Мишель... Что за судьба! Надо было слышать, как тебя бранили за переход в военную службу. Я уверил их, хотя и трудно, чтобы поняли справедливость безрассудные люди, что ты не желал огорчить свою бабушку, но что этот переход необходим. Нет, сударь, решил К., что ты всех обманул и что это было

единственно твое желание, и даже просил тетеньку, чтоб она тебе написала его мнение. А уж почтенные-то расходились! Твердят: „Вот чем кончил!.. И никого-то он не любит! Бедная Елизавета Алексеевна!..“ Знаю наперед, что ты рассмеешься, а не примешь к сердцу».

Часто приходится слышать недоумение или порицание тому, что Лермонтов из университета мог перейти в военную школу, которая представляла своим строем и программой воспитательное заведение, стоявшее несравненно ниже университета. Кажется непонятным, как развитой студент Московского университета мог решиться на такую перемену и не только вступить, но и окончить воспитание в «школе». В этом шаге Лермонтова многие видят доказательство поверхностности его натуры, отсутствие серьезности и даже испорченность. Но тут заметно полное незнание внутреннего строя тогдашних Московского университета и школы гвардейских подпрапорщиков.

Дело в том, что школа эта была основана именно с целью обучать военным наукам и строю молодых людей, поступавших в военную службу из университетов и вообще высших учебных заведений. Эти молодые люди все считались на действительной службе, приносили присягу и, живя в здании школы, пользовались привилегиями и относительно большой свободой. Многие содержали при себе собственную прислугу. Если сравнить жизнь и быт «школы» с Московским университетом конца 1820-х годов, каким мы с ним познакомились в этой главе, то окажется, что разница между этими учебными заведениями была невелика. Этим объясняются сравнительно частые переходы молодых людей из университета в «школу».

Репутация «школы» была такая, что помышлять о тяжести разницы условий Лермонтов не мог. И действительно, мы из писем его видим, что вся тяжесть вопросов относилась к перемене карьеры, то есть к переходу с гражданского на военное поприще, а о том, что студенту университета приходится вдруг закабалить себя в стенах военного закрытого заведения — что позднее и теперь заставило бы каждого призадуматься — у Лермонтова не входит даже в помышление.

Только с начала 30-х годов, то есть как раз когда в школу поступил Лермонтов, порядки там начинали изменяться. «Школу» подтягивают и ставят на иную ногу. Как все это подействовало на нашего поэта, мы увидим; увидим и то, что он нашел в действительности, и как относился к школе и товарищам своим.

Об университетских годах Лермонтова знали до сих пор очень мало; его обыкновенно считают исключительно

воспитанником «школы подпрапорщиков», как Пушкина — Александровского лицея. «Школа гвардейских подпрапорщиков», как лицей относительно памяти Пушкина, хлопочет о памяти Лермонтова и учредила у себя нечто вроде музея его имени, Московский университет едва знает, что в стенах его развивался славный поэт наш, что Лермонтов, главным образом, его питомец. Два года пробыл он в нем и два года в тесно связанном с ним университетском пансионе, итого — четыре года лучших юношеских лет. Здесь впервые развернулся талант Лермонтова и положено основание всем лучшим его произведениям, выполненным уже позднее. Перед этим временем тяжкой борьбы для Лермонтова, перед этим временем честного развития мысли поэта, ничего не значат два года пребывания его в «школе подпрапорщиков». Печально, как увидим далее, отразились на Лермонтове эти два года. Прервали они нить развития лучших сторон в нем, сказавшихся во время пребывания в Московском университете, и отвлекли его от прежних стремлений и идеалов. Сам Лермонтов это чувствовал и произнес приговор свой.

Пора Москве и университету Московскому признать своего питомца, так страстно любившего это сердце России, связанного с ним лучшей стороной юношеского своего развития.

И это станет еще яснее, когда рассмотрим мы не ход внешней жизни Михаила Юрьевича, а проследим развитие души и поэтическую его деятельность. Переехав в Петербург, Лермонтов восклицает:

Москва, Москва!.. Люблю тебя, как сын,
Как русский, — сильно, пламенно и нежно!
Люблю священный блеск твоих седин
И этот Кремль зубчатый, безмятежный...
Напрасно думал чуждый властелин
С тобой, столетним русским великаном,
Помериться главою — и обманом
Тебя низвергнуть. Тщетно поражал
Тебя пришелец: ты вздрогнул, он — упал.
Вселенная замолкла... Величавый,
Один ты жив, наследник нашей славы.
Ты жив! Ты жив, и каждый камень твой —
Заветное преданье поколений.

И еще не раз с горячей любовью вспоминает поэт о Москве своей.

ГЛАВА VIII Литературная деятельность М. Ю. Лермонтова в университетские годы

Лирические мотивы. — Тоска по надземному миру. — Любовь к Вареньке Лопухиной. — Ангел смерти. — Байронизм. — Измаил-Бей.

Как натура субъективная, Лермонтов хорошо помнил все, что случалось с ним в раннем детстве. Любя оставаться один на один с своей фантазией, он охотно уходил в мечтания о прошлых событиях своей молодой жизни и, в разладе с окружающим, останавливался на образах, скрывавшихся в полумраке дней детства, с их наивными, чистыми душевными движениями. Вот почему он вновь и вновь возвращался к образу матери, о которой хранил лишь смутное воспоминание. Неясно слышатся ему звуки песни, которую певала она ему, трехлетнему мальчику, является милый облик, слышится ласковая речь. Не эти ли звуки, не эту ли речь воспевает поэт еще в год своей смерти:

Есть речи, значенье
Темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно.

Чем сильнее удручал поэта разлад жизни, который рано стал им ощущаться вследствие враждебных отношений между отцом и бабушкой, тем более манили его светлые сумерки первого детства, время раннего развития его любящей и верующей души. Он уходил в иной мир, прислушиваясь к звукам,

Которых многие слышат,
Один понимает...

И вот поэт в пылкой своей фантазии представляет себе, какой вышла душа из горних сфер чистого небесного эфира. Ему всегда были милы и небо, и тучи, и звезды, — и кажется ему, что извлеченная из «райских садов», она заключена в бренное тело для жизни на земле, где и томится смутными воспоминаниями о родине. В одну из минут глубочайшей грусти Лермонтов еще в 1831 г. пишет стихотворение «Песнь Ангела». Для биографии оно особенно интересно в первоначальном виде:

... Он (ангел) душу младую в объятиях нес
Для мира печали и слез,
И звук его песни в душе молодой
Остался без слов, но живой.
Душа поселилась в твореньи земном,
Но чужд ей был мир. Об одном

Она все мечтала, о звуках святых,
Не помня значения их.
С тех пор непонятным желаньем полна,
Страдала, томилась она,
И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли.

Нам сдается, что это стихотворение хранит в себе основную характеристику музы поэта. Здесь он является самим собой и дает нам возможность заглянуть в святая святых души своей. Здесь нет и тени того насилования чувств, которое мы порой можем заметить в его произведениях и которым он замаскировывает настоящее свое «я». Тут нет ни вопля отчаяния, ни гордого сатанинского протеста, ни презрения, ни бешеного чувства ненависти или холодности к людям, которыми он прикрывает глубоко любящее сердце свое. В этом юношеском стихотворении Лермонтов более, нежели где-либо, является чистым романтиком. Неясное стремление романтиков в туманное «там» или «туда» у Лермонтова имеет более реальный характер, связуясь с памятью о матери и ясно определяя положение его в «земной юдоли», то есть между людьми, их интересами и стремлениями. Он чувствует себя чуждым среди их.

Его в высшей степени чуткая душа не встречает отзыва. Он поэтому скрывает от всех настоящие движения ее и старается выставить холодность и безучастность изгнанника рая. Сам же он слышит звуки его, и рвется к ним навстречу, и не может уловить их в ясном сознании, и в бессильном отчаянии считает себя отвергнутым небом и землей.

Я не для ангелов и рая
Всесильным Богом сотворен,
Но для чего живу, страдая?

Намеков на это состояние много раскинуто в произведениях поэта и по тетрадям того времени. Еще за год до написанной им «Песни ангела» он говорит:

Хранится пламень неземной
Со дней младенчества во мне;
Но велено ему судьбой,
Как жил, погибнуть в тишине.

Этот неземной пламень — «пламень любви горячей», любви к людям, к которым он простирал свои объятья:

Но люди
Не хотят к моей груди
Прижаться.

Он требовал любви, «со всею полнотою», сам, конечно, не будучи в состоянии разъяснить себе, чего хочет, и делая других

ответственными за личное неудовлетворение:

Люди хотят иметь души, и что же?

Души в них волн холодней.

Но все это раннее разочарование не мешало поэту, чувствовавшему себя одиноким, и, может быть, именно потому, искать родную душу:

И как преступник перед казнью

Ищу вокруг души родной.

Он был чуток к любви и безгранично предан тем, кого заключил в свое сердце. Но именно эта безграничная преданность и делала его требовательным. Одна фальшивая нота заставляла его съежиться в самом себе и нарушала все душевное равновесие. Восстановление прежних отношений делалось уже немыслимым. Нежнейшие струны, вновь связанные, не могли издавать прежнего, чистого звука. При всем желании возобновить порванные отношения, это не удавалось Лермонтову, и он переходил к сарказму, в котором не щадил ни себя, ни других. От этого он внутренне чувствовал себя еще более несчастным.

Мы знали человека, не разгадавшего себя и сбившегося с настоящего своего пути. Он был одарен замечательными музыкальными способностями. В нем была душа артиста-музыканта, но он попал в дипломаты. Однако он все-таки жил музыкой и сам играл на скрипке, по большей части оставаясь недовольным собой. Великие артисты высоко ставили его понимание музыки. Для этого человека одна фальшивая нота становилась источником невыразимого страдания. Случалось ли ему услышать ее в игре другого, собственный ли смычок изменял ему, но с ним тотчас делалось что-то необыкновенное. На выразительном лице его являлся отпечаток такого страдания, какого не случалось нам видеть на поле сражения или под ножом хирурга. Долго не мог он прийти в себя, хоть и не любил показывать своих страданий, всячески стараясь их маскировать. Продолжать играть или слушать пьесу ему становилось решительно невозможно. Нечто подобное происходило с Лермонтовым. Он невыразимо страдал от всякого неловкого прикосновения. Вот отчего он, чем старше становился, тем труднее допускал кого-либо в святая святых своего «я», а напротив, старался встать к человеку такой стороной, чтобы всякое случайное задевание его чутких струн становились затруднительным. Отсюда, конечно, неестественность и натянутость в отношениях поэта к другим. Он был сам собой лишь в беседах со своей музой да на лоне природы. Этим поясняется любовь его к небу, тучам, звездам. К ним он направлял крылатую свою фантазию, в них видел своих друзей,

братьев, с ними вел беседу.

Чисто вечернее небо,
Ясны далекие звезды,
Ясны, как счастье ребенка...
Люди друг к другу
Зависть питают;
Я же, напротив,
Только завидую звездам прекрасным,
Только их место занять бы хотел.

Недаром же в минуту отчаянья Лермонтов сам себе пишет эпитафию, которую кончает так:

... И в нем душа запас хранила
Блаженства, муки и страстей;
Он умер, здесь его могила,
Он не был создан для людей.

Мысль, которая потом была так чудесно высказана в «Демоне», когда ангел описывает любящую душу;

Творец из лучшего эфира
Соткал живые струны их;
Они не созданы для мира
И мир был создан не для них.

Чем моложе был Лермонтов, тем больше была в нем надежда встретить родную душу. Оттого-то 15 и 16-летним мальчиком он метался от одного предмета любви к другому, то тут, то там, думая найти понимание и сочувствие. Особенно сильно это проявлялось в промежуток времени от 1830 до 1832 года, когда из мальчика он становился юношей, а домашние сцены и окончательная распря между бабушкой и отцом поставили поэта в такое положение, что он оторвал душу свою от обоих, а скоро и совершенно лишился отца, смерть которого тяжело на нем отозвалась.

Вот тут-то и настала пора любви и страсти нежной. Лермонтов окружен был целой толпой девушек, двоюродных и троюродных сестер с их подругами. Между ними избирал он себе предмет для тайных вздохов и молитв, для воспевания и любви.

Об отношениях его к Екатерине Александровне Сушковой мы говорили в своем месте, а также о нежных чувствах, питаемых к двоюродной сестре Анне С. Немного позднее вся его страстная любовь сосредоточилась на Варваре Лопухиной. Это была привязанность глубокая, всю жизнь сопровождавшая поэта. Образ этой девушки, а потом замужней женщины, является во множестве произведений нашего поэта и раздваивается потом в «Герое нашего времени» в лицах княжны Мэри и особенно Веры.

Вареньке Л. посвящено большое число стихотворений; но

Лермонтов никогда не называет ее имени. Обыкновенно на стихотворениях этих стоят звездочки; только раз в тетрадях его встречаем мы стихотворение, где в заглавии поставлено «к Л.»; это подражание Байрону:

У ног других не забывал
Я взор твоих очей.

Г-жа Хвостова (рожденная Сушкова) рассказывает («Записки»), что стихи эти были посвящены ей. Мы нашли их записанными рукой поэта в альбом Верещагиной; но в его черновых тетрадях стоит «к Л». Нет сомнения, что сам поэт долго колебался между предметами своего обожания, не зная, которой из девушек отдать предпочтение. Победа осталась за Варенькой Л. Лермонтов относился к ней с такой деликатностью чувства, что нигде не выставлял ее имени в черновых тетрадях своих. Много лет позже, в 1836 году, описывая один случай из своей жизни, где героиня называлась Варварой, он даже в рукописи ставит только заглавную букву В, и затем спешит заменить имя другим:

Она звалась (Варварою), но я
Желал бы дать другое ей названье.
Скажу: при этом имени, друзья,
В груди моей шипит воспоминанье,
Как под ногой прижатая змея,
И ползает, как та среди развалин,
По жилам сердца...

В письмах к друзьям своим Марье Александровне Лопухиной и Саше Верещагиной, в которых он откровенно высказывается обо всем, мы никогда не находим имени этой любимой им девушки. В альбоме Верещагиной нашелся ее портрет, рисованный самим поэтом. Эта любовь, прошедшая много фазисов, всегда оставалась чистой, и мы еще вернемся к истории ее позднее.

Сверстники, знавшие о ней, покровительствовали пламенному чувству молодых людей, имевшему самый идеальный характер. Впрочем, оба они не выказывали своей любви и не говорили о ней, но признавали ее молча. Старшие, если знали о том, то не придавали серьезного значения. Поэт был одних лет с ней и, следовательно, его считали мальчишкой, когда она, достигнув 16 лет, была уже «невестой», и приходилось думать о выдаче ее замуж.

«Она была прекрасна, как мечтанье»: продолговатый овал лица, тонкие черты, большие задумчивые глаза и высокое, ясное чело навсегда оставались для Лермонтова прототипом женской красоты. Над бровью была небольшая родинка.

Характер ее, мягкий и любящий, покорный и открытый для

добра, увлекал его. Он, сопоставляя себя с ней, находил себя гадким, некрасивым, сутуловатым горбачем: так преувеличивал он свои физические недостатки. В неоконченной юношеской повести он в Вадиме выставлял себя, в Ольге — ее, и так описывал внешний вид любимой девушки:

Это был ангел, изгнанный из рая, за то, что слишком сожалел о человечестве... Свеча, горящая на столе, озаряла ее невинный открытый лоб и одну щеку, на которой, пристально вглядываясь, можно было бы различить золотой пушок; остальная часть лица ее была покрыта густою тенью, и только, когда она поднимала большие глаза свои, то иногда две искры света отделялись в темноте. Это лицо было одно из тех, какие мы видим во сне редко, а наяву почти никогда... Иногда выходила на свет белая ручка с продолговатыми пальцами; одна такая рука могла быть целой картиной.

Вареньку Лопухину окружали вниманием, за ней ухаживали; это приводило поэта в трепет, волновало, возбуждало ревность. Когда разнесся слух, что она, «снизошла» к одному из ухаживающих, выходит замуж, поэт пришел в негодование, потом загрустил и долго не виделся с ней. Они случайно встретились опять в доме у общих друзей. Там объяснилось, что все вздор, что никогда не думала она любить другого и что брак, о котором было заговорили, был исключительно проектирован родными. Тогда Лермонтов, возвратясь домой, написал стихотворение, в котором выразил перенесенную им муку и затем радость сознания, что все же она любит его. В стихотворении она выставлена как бы уже вышедшей замуж. Заглавие этого произведения: «28 сентября»:

Опять, опять я видел взор твой милый!
Я говорил с тобой!
И мне былое, взятое могилой,
Напомнил голос твой...
.....
... Нет!., ты его не любишь!.. Тайной властью
Прикована ты вновь
К душе печальной, незнакомой счастью,
Но нежной, как любовь.

Но недолго длилось душевное спокойствие. Опять в сердце закрадывались сомнение и ревность. В Варварин день праздновались именины дорогой девушки. Гости наперерыв старались угодить ей и выказывали свою приязнь. Веселая и беззаботная, сияла она между молодежью. Лермонтов мрачный сидел в углу поодаль. Придя к себе домой, он писал.

4 декабря, день Св. Варвары, вечером, возвратясь. Вчера еще я

дивился продолжительности моего счастья! Кто бы подумал, взглянув на нее, что она может быть причиной страданья.

Тут же он набросал стихотворение «К другу», в котором жалуется на обманутые надежды:

Забудь опять
Свои надежды.
Об них вздыхать —
Судьба невежды.
Она дитя!
Не верь на слово,
Она шутя
Полюбит снова.

На обложке черновой тетради того же времени находилось наскоро набросанное стихотворение, кончавшееся так:

... Но разве я любить
Тебя переставал, когда толпою
Безумцев молодых окружена,
Тогда одной своей лишь красотою
Ты привлекала взоры их одна? —
Я издали смотрел, почти желая,
Чтоб для других твой блеск исчез,
Ты для меня была, как счастье рая
Для демона, изгнанника небес.

Параллельно с переживаемыми Лермонтовым внутренними бурями шло его творчество, весьма разнообразное в годы пребывания в университетском пансионе и университете. Любопытна поэма «Ангел смерти». Она посвящена верному другу А.М. Верещагиной, знавшей все движения души поэта. В посвящении уже мы находим мотив, который звучит и в «Песне ангела», и в целом ряде произведений, — это стремление к иной, лучшей родине:

Явись мне в грозный час страданья
И поцелуй пусть будет твой
Залогом близкого свиданья
В стране любви, в стране другой.

И это произведение имеет автобиграфическое значение. Герой Зораим есть выражение того, как Лермонтов судил о самом себе:

Юный Зораим —
Он на земле был только странник,
Людьми и небом был гоним;
Он мог быть счастлив, но блаженств
Искал в забавах он пустых,
Искал он в людях совершенства,

А сам — сам не был лучше их.
Любил он ночь, свободу, горы
И все в природе — и людей — ...

И вот этот-то Зораим «одно сокровище-святыню имел под небесами». Это сокровище — девушка, «милая, как цвет душистый рая»; зовут ее Адой. Ею был встречен Зораим,

Изгнанник бледный, величавый,
С холодной дерзостью очей;
И ей пришло тогда желанье
Огонь в очах его родить
И в мертвом сердце возбудить
Любви безумное страданье,
И удалось ей.

Мотив этот встречается и в неоконченной повести. Героиня Ольга должна вернуть Вадима к добру. То же видим мы и в Демоне, которого к добру и небесам Тамара могла бы возвратить единым словом: «Люблю».

Итак Зораим любил Аду больше всех и всего на свете. Она
Одна была лишь им любима;
Его любовь была сильней
Всех дум и всех других страстей...

Если Зораим — Лермонтов, то в Аде мы видим опять Вареньку Лопухину, какой он себе ее представлял, какой ее любил. Писал он эту поэму, когда удалился от предмета своих мечтаний, и, заподозрив, что она полюбила другого, считал ее для себя умершей. «Ангел смерти» закончен и передан был Верещагиной 4 сентября, а 28 числа того же месяца, как мы видели, Лермонтов опять встречается с дорогой ему Варенькой, и все объясняется, может быть, не без участия верного друга Верещагиной.

В поэме Ада умирает и сжалившийся над Зораимом ангел смерти входит в ее тело, оживляя его для неутешного героя. Так ангел смерти, житель неба, познает все, чем только мила жизнь земная, за то сам уже не обладает прежними свойствами:

... Ум границам подчинился.
И власть — не та уж, как была,
И только в памяти туманной
Хранит он думы прежних лет.
Их появленье Аде странно...

Так и в «Песне ангела» в принесенной на землю душе вечно, но смутно звучат напевы райские, и живет «чудное желанье».

Этот ангел смерти когда-то был дорогим для людей посланником. Встречи с ним казались людям сладостным уделом:

Он знал таинственные речи,

Он взором утешать умел,
И бурные смирил он страсти,
И было у него во власти
Больную душу как-нибудь
На миг надеждой обмануть.

Вселившись в тело Ады, ангел стал «мучим страстию земною». Он узнал людей и простился с прежней добротой. Зораим, ища славы, охладел к любви. Он погибает. В последний раз, поцеловав дорогого умирающего, ангел покинул тело девушки:

Его отчизна в небесах;
Там все, что он любил земного,
Он встретит и полюбит снова!
Но в сущности вышло иначе. Печаль прошла.
И только хладное презренье
К земле оставила она:
За гибель друга в нем осталось
Желанье миру мстить всему,
И ненависть к другим, казалось,
Была любовию к нему...
То есть к погибшему другу.
И стал ангел смерти страшен для людей:
...С тех пор
Хладнее льда его объятья
И поцелуй его — проклятья.

В 1831 и 1832 году, еще не достигнув 18-летнего возраста, Лермонтов в некоторых произведениях является почти созревшим художником. Не говоря о лирических стихотворениях, как например, «Белеет парус одинокий» или «По небу полуночи ангел летел», которые каждый образованный русский знает наизусть, но и большие его поэмы доходят до известного совершенства, как например, «Измаил-Бей». Боденштедт, написавший лучшую характеристику поэтической деятельности Лермонтова, ставит «Измаил-Бея» даже выше «Мцыри», с чем, впрочем, мы не можем согласиться. Лермонтов в эти годы много занимался Байроном; в его произведениях сильно отражаются манера и мысли английского поэта; оттого обыкновенно о Лермонтове говорят, как о подражателе Байрона, несмотря на последующие произведения его, свидетельствующие о совершенной его оригинальности. Михайлов справедливо говорит, что в наших критических статьях о Лермонтове гораздо больше говорилось о Байроне и байронизме, чем о нем. Влияли на Лермонтова и Гете, и Шиллер, и Гейне, влияли Батюшков, Жуковский, Пушкин, повлиял и Байрон. Из этого, однако, еще не следует, чтобы

Лермонтов был только подражателем. Ведь и в юношеских стихотворениях Байрона, изданных 18-летним поэтом под названием «Часов досуга» (Hours of Idleness), немало встречается подражаний разным поэтам и особенно Оссиану. В них много водянистого, обыденного, ничем не отличающегося от стихов любого школьника-стихотворца и, строго говоря, немного оригинальных строк и идей. В одном с ним возрасте Лермонтов является даже более оригинальным и зрелым в своих произведениях. Рассмотренная нами поэма «Ангел смерти», связанная, как мы видели, с тем, что переживал сам поэт в то же время, особенно при первом наброске плана, напоминает «Корсара» Байрона. В тетради Лермонтовым записано:

Написать поэму: «Ангел смерти». Ангел смерти при смерти девы влетает в ее тело из сожаления к любезному и раскаивается, ибо это был человек мрачный и кровожадный, начальник греков и т. д.

Правда, в исполнении герой поэмы не является начальником греков, но, очевидно, Байрон, его герои, Греция — все это жило в воображении Лермонтова. Уже Аполлон Григорьев замечает, что пояснить настроение души поэта одним влиянием музы Байрона, одним веяньем байронизма нельзя, хотя, вместе с тем, нельзя и отвергнуть того, что Лара коснулся его обаянием своей поэзии, подкрепил, оправдал и толкнул вперед тревожные требования души поэта.

И таково мнение всех, внимательно изучивших лермонтовскую музу. Даже Галахов, тщательно проводивший параллель сходственных мест у обоих поэтов и склонный видеть в Лермонтове подражательность, все же приходит к выводу, что «необходимо принять такое объяснение, что на основании духовного родства и, может быть, сходства общественных положений, Лермонтов особенно сочувствовал Байрону и, не уклоняясь от обычно-подражательного хода нашей поэзии, заимствовал многое из богатого источника его творений, приложив к заимствованному и свое собственное, благоприобретенное».

Галахов писал свою статью, когда биографический материал для уразумения личности Лермонтова был еще мало известен. Ознакомясь с ним, почтенный исследователь, вероятно, не сказал бы, что Лермонтов «к заимствованному приложил свое собственное», а напротив, что в свое собственное, оригинальное он воспринял родственный элемент Байроновской музы, а вовсе не был главным образом подражателем ее.

Дело в том, что одинаковые условия и частной, и общественной жизни, даже в двух совершенно различных

народностях и странах, легко могут произвести одно и то же следствие и образовать в людях весьма сходные черты характера и образа мыслей, особенно, если встречается тождественность и в самых прирожденных свойствах души. Условия жизни русского общества в течение десятков лет после наполеоновских войн имели немало аналогий с жизнью английского общества, хотя самая эта жизнь являлась у нас в более узкой сфере весьма немногочисленного кружка людей, составлявших русскую интеллигенцию. Несмотря на сходство, в началах русской жизни крылись, однако, совершенно иные черты, и потому недолго можно было пробавляться у нас чужеземными взглядами и проведением параллелей между англичанином чудачеством и нашей взбалмошностью. Лермонтов чуял особенности родных условий и, как выразитель их, недаром говорит:

Нет, я не Байрон, я другой,
Еще неведомый избранник,
Как он, гонимый миром странник,
Но только с русскою душой.

В личной судьбе обоих было особенно много сходства. У того и другого отцы, по-видимому, были натуры родственные. Во всяком случае, много сходства в положении их относительно сыновей. Оба жили вдали от них, а когда приезжали, то дети бывали свидетелями страшных сцен между отцами и воспитывавшими их матерью и бабушкой. Мать Байрона любила сына, но была взбалмошной женщиной, то баловавшей его не в меру, то делавшей ему сцены. То же можно сказать и о воспитывавшей Лермонтова бабушке, заменившей ему рано умершую мать.

Обе женщины были богаты; отцы поэтов нуждались. Оба ребенка воспитывались среди женского элемента, баловавшего их не в меру. Сходство есть во внешней обстановке, в нравственных свойствах, в физических недостатках и в том, как недостатки эти действовали на образование характеров.

Рассказывают, что Байрон в детстве уже страдал тем, что одна его нога, поврежденная при рождении, была искалечена, и его называли «уродом». Он мучился, что не мог, как ему казалось, из-за этого недостатка нравиться женщинам. Он всю жизнь не мог позабыть, как 15-ти лет, полюбивши 17-летнюю Мэри Ховарт, должен был присутствовать при том, как она кружилась в вихре бала в объятиях других, а он со своей ногой не мог принимать участие в танцах. Ужасен был для него удар, когда ему случайно пришлось услышать, как эта обожаемая им девушка сказала о нем своей горничной: «Не полагаешь ли ты, что я могу интересоваться хромым мальчишкой?» Тринадцать лет спустя Байрон на вилле

Диодати, на Женевском озере, вспоминает это происшествие в своем стихотворении «Сон» и пишет его, обливаясь горькими слезами. В молодости намеки на его физический недостаток порой доводили его до бешенства, порой он сам отзывался о нем с юмором и сарказмом.

То же бывало с Лермонтовым. «Он был дурен собой, — говорит про нашего молодого поэта Ростопчина. — Эта некрасивость... порешила образ мыслей молодого человека с пылким умом и неограниченным честолюбием». Он был сутуловат и кривоног вследствие болезни в детстве, а потом, разбитый лошадью, всю жизнь слегка прихрамывал. Он сердился, когда указывали ему на его физические недостатки, но подчас и сам над ними смеялся и рисовал на себя карикатуры, или выставлял самого себя в произведениях с именем, данным ему товарищами в насмешку. В юношеской повести он воспроизводит себя в Вадиме-горбаче и описывает его жестокие страдания из-за того, что его, урода, не любит любимая им девушка. Лермонтов мальчиком, да и позднее, приписывал отсутствием в себе красоты неуспех у женщин, и это его тревожило. Он старался вознаградить этот недостаток ловкостью и совершенствовал себя во всевозможных телесных упражнениях так же, как и Байрон, искавший славы хорошего ездока, бойца, пловца и проч.

Байрон сызмала не выносил несправедливого обращения со слабыми или подначальными; он заступался за них, брал их под свое покровительство. Лермонтов в детстве еще напускался на бабушку, когда она бранила крепостных, он выходил из себя, когда кого-нибудь вели наказывать, и бросался на отдавших приказание с палкой, с ножом — что под руку попадало. Оба они не в меру рано созрели. Рано сказались в них субъективная сила и индивидуальное развитие, сделавшие их одинокими среди окружающих. Чем более чувствовал каждый из них себя одиноким, тем более прибыл он к бумаге, поверяя ей все движения зыбкой души. И неужели же можно сделать вывод, что Лермонтов, желая подражать Байрону, во всем следовать ему, спешил, как и он, выливать в стихотворной форме все, что его волновало и трогало?

Странное желание объяснять сходство, происходящее от тождественности натуры и обстоятельств, подражанием. А, между тем, это мнение, сильно распространенное критиками, утвердилось в обществе.

С самой юности рассудок Лермонтова уклонялся от обычного пути людей. Он смотрел на землю иными, не их глазами. Их честолюбие было не его честолюбием; их интересы и цели были чужды ему; иные были радости и печали; иные, не всем

свойственные ощущения волновали его. Но разъяснить себе состояние духа, выбраться из хаоса, выработать ясное понимание и миросозерцание юноша не мог: да они и не вырабатываются; требуется еще и выстрадать их, а для этого надо много видеть, много переиспытать — надо жизнь перейти. Молодой поэт чувствовал только над собой что-то роковое. Он испытывал власть судьбы. Он вперед, так сказать, теоретически, изведывал жизнь и страдание с самого детства. Он страдал более, чем жил. Ему мучительно хотелось выбраться из хаоса мыслей, ощущений, фантазий. Ранняя любовь, непонятая и оскорбляемая в чуткой душе, заставила ее болезненно воспринимать и корчиться оттого, что почти незаметно пережито было бы другим; он бросился в крайность, зарылся в неестественную, напускную ненависть, которая питала в нем сатанинскую гордость. И эта сатанинская гордость, опять-таки, искусственно прикрывала самую нежную, любящую душу. Боясь проявления этой нежной любви, всегда приносившей ему непомерные страдания, поэт набрасывает на себя мантию гордого духа зла. Так иногда выносящий злейшую боль шуткой и сарказмом подавляет крик отчаяния, готовый вырваться из глубины растерзанного сердца.

Привыкший музе и бумаге вверять свои чувства и проверять свои думы и ощущения своими поэтическими произведениями, Лермонтов стремился в своих творениях разъяснять самого себя, вылить в звуках то, что наполняло его душу. Такие натуры, не находя отклика в людях, глубоко сочувствуют природе, всему миру физическому. И посмотрите, какое большое место занимают явления природы во всех творениях Лермонтова и как все герои его любят ее.

Самым совершенным произведением этого периода, то есть четырех лет, проведенных в университетском пансионе и университете, является, конечно, поэма «Измаил-Бей».

Он тоже еще ребенком любил:

Природы дикой пышные картины,

Разлив зори и льдистые вершины,

Блестящие на небе голубом.

Но к этому произведению Лермонтов подошел не тотчас. Мы можем проследить целый ряд поэм, в которых заметим множество общих черт, ситуаций, характерных строф, так целиком и переходивших из одного произведения в другое.

Лермонтов имел с Байроном еще и то общее, что он долго занимался своим характером и в произведениях своих, изображая разные его стороны. «Байрон, — говорит Пушкин, — во всю жизнь свою понял только один характер — свой собственный». Я бы сказал не «понял», а «выставлял или изучал». Лермонтов, как

увидим позднее, стал вырываться из заколдованного круга субъективных чувствований и впечатлений. Но в рассматриваемые годы он весь еще был поглощен хаосом субъективных ощущений, и борьба с собой и окружающим выбивалась на свет, к ясности сознания, посредством поэтического творчества, которое в эти годы было чрезвычайно богато. Лермонтов творил, вероятно, с неимоверной быстротой, если судить по количеству всего, что было им писано в бытность в университете. Над каждым произведением отдельно он, по-видимому, тогда работал недолго. Закончив произведение, он к нему возвращался редко, не исправлял его, а недовольный, принимался за новое, перенося в него главные моменты, черты характеров и описание природы. Вот почему мы вновь и вновь, в произведениях его, наталкиваемся на те же строфы и мысли, только в новой группировке. Так, в трех поэмах «Литвинка», «Аул Бастунджи» и «Каллы» встречаются места, затем перешедшие целиком или в видоизменениях в «Демона», «Измаил-Бея», «Хаджи Абрека», «Боярина Оршу», «Беглеца», «Мцыри» и проч. Самая большая из этих поэм «Аул Бастунджи» писана немного раньше «Измаил-Бея». «Измаил-Бей» окончен, как гласит пометка самого поэта на рукописи, 10 мая 1832 года. Следовательно, «Аул Бастунджи» писан в 1831 году и разве что закончен в первой четверти следующего года. Многие картины, мысли и целые строфы из «Аула Бастунджи» перенесены поэтом в «Измаил-Бея». Так, рождение Измаил-Бея описывается совершенно так же, как рождение Селина в «Ауле Бастунджи». Картина выползающей одинокой змеи, так часто затем употребляемая поэтом позднее и в «Демоне», и в «Мцыри», является впервые в «Ауле Бастунджи». Здесь же в первый раз встречаем мы мысль, выраженную в знаменитой черкесской песне из поэмы «Измаил-Бей»:

Не женися, молодец.
Слушайся меня.
На те деньги, молодец,
Ты купи коня!

В обоих поэмах героиня называется Зарою. «Аул-Бастунджи» представляет много любопытного не только для изучающего Лермонтова, но и обыкновенный читатель найдет здесь строфы, которые прочтет не без удовольствия.

Рукопись «Измаил-Бея» снабжена эпиграфом из «Гяура» Байрона; а посвящение едва ли тоже не относится к Вареньке Лопухиной. Любопытен конец его, подтверждающий наши слова, что Лермонтов в своих произведениях искал возможности разъяснить себе самого себя:

И ты звезда любви моей,

Товарищ бурь моих суровых,
Послушай песни прежних дней:
Давно уж нет у сердца новых...
Ни мрачных дум, ни дум святых
Не изменила власть разлуки:
Тобою полны счастья звуки,
Меня узнаешь ты в других.

Все слова подчеркнуты самим поэтом. В «Измаил-Бее», следовательно, любимая девушка должна найти и уяснить себе характер поэта.

В «Измаил-Бее» есть что-то роковое, признаваемое в себе и Лермонтовым. Сильно влияние, производимое Измаилом на других, но оно фатальное. Встреча с ним страшна, гибнет все, что его любит, и сам он должен погибнуть:

И детям рока места в мире нет.

Измаил-Бей по рождению — горец. Он попал на север, стал человеком цивилизованным, но его тянуло в родные горы, в то время, когда там идет упорная борьба за свободу, против пришельцев с севера, против русских. Теснимые ими черкесы оставляют Пяти-горье.

Хотя
Мила черкесу тишина,
Мила родная сторона,
Но вольность, вольность для героя
Милей отчизны и покоя.
«В насмешку русским и в укор
Оставим мы утесы гор;
Пусть на тебя, Бешту суровый,
Попробуют надеть оковы!» —
Так думал каждый, и Бешту
Теперь их мысли понимает,
На русских злобно он взирает
И облаками одевает
Вершин кудрявых красоту.

Лермонтов — певец свободы, говоривший:

Дайте волю, волю, волю, и не надо счастья мне.

Сочувствовал геройской войне, которую долго и упорно вели горцы, защищая свои ущелья. Это сочувствие им он выражает не раз. Но тогдашние условия цензуры были таковы, что казалось непозволительным допускать в печати выражение этого сочувствия. Да и самого слова «вольность» цензура крепко избегала. Долгое время всякие такие места заменялись точками или, по усмотрению цензора, другими выражениями. Когда поэт писал:

Отец и два родные брата
За честь и вольность там легли,
Цензура вторую строку изменила так:
От смерти груди не спасли.

Не приличествовало черкесам биться за честь и вольность, а, между тем, именно в эту страну, «где кровь черкесская текла», возвратился странник Измаил,

Но горе, горе, если он,
Храня людей суровых мненья,
Развратом, ядом просвещенья
В Европе душной заражен.
Нет!
Он сколько мог привычек, правил
Своей отчизны не оставил.

О нем так характерно рассказывает русский:

Ты знаешь, верно, что служил
В российском войске Измаил,
Но, недовольный, между нами
Родными бредил он полями,
И все черкес в нем виден был.
В пирах и битвах отличался
Он перед всеми; томный взгляд
Восточной негой отзывался.
Для наших женщин в нем был яд!..
... Любовью женщин, их тоской
Он веселился, как игрой;
Но избежать его искусства
Не удалося ни одной.

Таков был этот вернувшийся в свою родину Измаил-Бей. Но только он был

Старик для чувств и наслаждений.
Без седины между волос,
И вот в страну, где все так живо.
Он сердце мертвое принес

Почему у Измаила мертвое сердце, так и не объясняется. Да в сущности оно и не мертвое. Он его только запрятал в себе, окружил искусственной ледяной корой. Слишком он много понес разочарований. Уста, чтобы не произносить слова любви, привыкли к проклятиям; обманутый в своих мечтах, он одинок между людьми и не верит больше потому,

Что верил некогда всему.

Его страдания тем ужасней, чем более он стремился их не выказывать, оставаясь холодным, без следа душевного движения на непреступном челе. Напрасно за ним следили

И мысли по лицу узнать желали.
Но кто проникнет в глубину морей
И в сердце, где тоска, но нет страстей?

Кажется, все застыло в его груди, кроме жажды пролить кровь утеснителей свободы. Измаил всюду, где война требует своих жертв. Все остальное чуждо ему. Любовь Зары он презрел, и все-таки, когда преданная, одетая воином под именем Селима, всюду за ним следуя, она спасает его раненого, Измаил вошел в противоречие с собой и

Смущают Зару ласки Измаила.

Да, сердце его полно противоречий. Таковы и поступки его. Он ласкал Зару, а затем она сгинула не без его вины. Погибла ли она от руки его или его ненавистников? Оттолкнул ли он ее безжалостно от себя? На лице его никто не прочтет ничего, а уста хранят молчание. Противоречие видно и в том, что Измаил великодушно спасает врага в то время, как сокровенная и постоянная мечта его — кровавая месть. Но какое при этом презрение звучит в последних словах Измаила, когда он прощается с врагом своим — русским, пришедшим убить его:

Нет! не достать вражде твоей
Главы, постигнутой уж роком!
Он палачам судей земных
Не уступает жертв своих!
Твоя б рука не устрашила
Того, кто борется с судьбой:
Ты худо знаешь Измаила;
Смотри: он здесь перед тобой...

И рок настиг Измаила. Но и самая смерть открыла, в какой бездне противоречий витала непреклонная душа его. Страшный русским, верный товарищ горцев-магометан, бесстрашный предводитель их, не склонивший главы пред любовью женщины, носил на груди

Какой-то локон золотой
И белый крест на ленте полосатой,
И с негодованием отвернулись от него мусульмане:
Отступнику не выроют могилу!..
Того, кто презирал людей и рок,
Кто смертию играл так своенравно,
Лишь ты низвергнуть смел, святой пророк!
Пусть не оплакан он сгниет бесследно!..
Пусть кончит жизнь, как начал, одинок!..

Так вот тот другой, в котором Лермонтов приглашает любимую женщину познать его, поэта. В этой поэме он так характеризует Измаила, то есть самого себя:

И детям рока места в мире нет;
Они его пугают жизнью новой,
Они блеснут — и сгладится их след,
Как в темной туче след стрелы громовой.
Толпа дивится часто их уму,
Что в море бед, как вихри их ни носят,
Они пособий от рабов не просят;
Хотят их превзойти в добре и зле,
И власти знак на гордом их челе.

Итак, мир боится новой жизни этих людей, то есть особенного склада их ума и чувства, того, о чем мы говорили выше: характеры эти уклоняются от обычного пути людей, иные их радости и печали, своеобразно понятие о добре и зле. Что страшно другим, им не страшно; они иначе любят и иначе ненавидят... Жестока была судьба девушки, которая любила Лермонтова. Он требовал беззаветной преданности Зары. Но какова была судьба этой последней?! Кто страдал больше: Зара или Измаил? Конечно, тот, кого больше отметил рок. Но что значит роковая личность?.. Мы еще не кончили характеристики поэта. Еще он юноша, который в хаосе чувств и мыслей тщательно добивается ясности сознания.

И теперь, проследив сколько было возможно и душу поэта, и связанную с жизнью ее поэтическую деятельность, последуем за ним в новую обстановку, на новый избранный им путь к существованию в иной сфере, вызвавшей иное творчество.

ГЛАВА IX Пребывание в школе гвардейских юнкеров

Школа гвардейских юнкеров. — Что встретил в ней Лермонтов. — Удальство и отношение к товарищам. — Литературные интересы в школе. — Чувство одиночества.

Поселившись в Петербурге, Лермонтов приказом по «школе гвардейских кавалерийских юнкеров» от 14 ноября 1832 года был зачислен вольноопределяющимся унтер-офицером в лейб-гвардии гусарский полк. Школа помещалась в то время у Синего моста, в здании, принадлежавшем когда-то графам Чернышевым, а потом перестроенном во дворец великой княгини Марии Николаевны. Мысль учреждения школы гвардейских подпрапорщиков принадлежала Императору Николаю Павловичу в бытность его великим князем. Возникла она, когда гвардия занимала литовские губернии, двинутая туда «для успокоения умов, взволнованных известной семеновской историей». Здесь во время

зимовки великий князь Николай Павлович обратил внимание на то, что молодые люди, поступающие в полки подпрапорщиками, при хорошем домашнем воспитании или окончивши курс в высших учебных заведениях, были мало сведущи в военных науках, плохо понимали и подчинялись дисциплинарным требованиям и медленно успевали в строевом образовании. Великий князь собрал во время зимовки юнкеров некоторых полков в квартиру 2-й бригады 1-й гвардейской дивизии, которой он командовал, и «производил им военное образование» под личным своим наблюдением. Это было начало «школы», которая и учредилась в Петербурге в мае 1823 года, вскоре по возвращении гвардии в столицу. Школа эта подчинялась особому командиру «из лучших штаб-офицеров гвардии». Подпрапорщики, собранные из разных родов оружия, продолжали числиться в своих полках и носили форму своих частей. Внутренний порядок был заведен тот же, который существовал в полках, но, вместе с тем, сюда вошли и распоряжения, общие всем военно-учебным заведениям. Так, подпрапорщики поднимались барабанным боем в 6 часов утра и, позавтракав, отправлялись в классы от 8 до 12 часов. Вечерние занятия длились от 3-х до 5-ти, а строевым посвящалось сравнительно немного времени: от 12-ти до часу, и только некоторым, по усмотрению командира, вменялось в обязанность обучаться строю еще один час в сутки. Во главе школы стоял командир ее, полковник Измайловского полка Павел Петрович Годеин, человек чрезвычайно добрый, снискавший общую признательность сослуживцев и подчиненных. Так как великий князь Николай Павлович часто посещал школу, то непосредственное отношение к нему Годеина устраняло вмешательство высшего начальства и влияние Павла Петровича на внутренний строй, и дух заведения был непосредственнее. Немалым подспорьем для преуспевания школы были: полковник генерального штаба Деллингсгаузен, пользовавшийся репутацией «высокоученого офицера», и, впоследствии воспитатель наследника престола великого князя Александра Николаевича, Карл Карлович Мердер. Эти лица сумели выбрать достойных офицеров-помощников и сблизить с ними подпрапорщиков. Взаимные дружеские отношения не мешали дисциплине, а молодежь только выигрывала от нравственного влияния на нее руководителей. «Отчуждение офицеров от общения с подпрапорщиками в видах укоренения дисциплины подорвало бы нравственную сторону дела, как указывала на то воспитательная практика некоторых кадетских корпусов», — замечает составитель официальной истории «школы».

Подпрапорщики пользовались некоторой независимостью.

Хотя они жили в стенах заведения, но им не возбранялось иметь личную прислугу из собственных крепостных или наемных людей. Часто отлучались они из школы и в будни. Считаясь состоящими на службе, молодые люди, вступая в число воспитанников, принимали присягу.

С восшествием на престол Императора Николая I, школа была отдана в ведение великого князя Михаила Павловича. Заведение это скоро было преобразовано, и вместо одной роты, которую составляли подпрапорщики, был учрежден и кавалерийский эскадрон. Великий князь обратил свое особенное внимание на фронтовые занятия, и обучение строю стало практиковаться чаще. Так, манежная езда производилась теперь от 10 часов утра до часу по полудни, а лекции были перенесены на вечерние часы. Было запрещено читать книги литературного содержания, что, впрочем, не всегда выполнялось, и вообще полагалось стеснить умственное развитие молодых питомцев школы. Так как вся вина политических смут была взведена правительством на воспитание, то прежняя либеральная система была признана пагубной. Занятый другими делами, великий князь, однако, нечасто посещал заведение, поэтому дух ее под руководством прежнего начальства мало изменился. Дело получило иной оборот после турецкой компании, когда великий князь Михаил Павлович был назначен начальником всех военно-учебных заведений. Тогда с 1830 года он принял живое участие в преуспевании школы и стал посещать ее почти еженедельно. «Историческая правда, — замечает автор истории „школы“, — обязывает сказать, что эти посещения всегда сопровождаются грозою». Неудовольствие великого князя на школу начались с неудачного представления ординарцев, явившихся в один из воскресных дней. Сделав по этому поводу строжайший выговор командиру роты, великий князь приказал арестовать офицеров, которые, по его мнению, мало внушали юнкерам правильное понятие о дисциплине и обязанностях нижних чинов в этом отношении к офицерам. Последнее замечание вызвано было тем, что великий князь встретил на Невском проспекте подпрапорщика Тулубьева, который шел рядом с родным своим братом, офицером Преображенского полка. Другие юнкера также неоднократно замечались Его Высочеством в разговоре с офицерами на улице. Все они немедленно отправлялись в школу, под строгий арест, и, наконец, великий князь приказал объявить свою волю, что за подобные проступки, как нарушающие военное чинопочитания, виновные будут выписываться им в армию. Заметив также, что воспитанники школы часто отлучаются со двора в будни, и, приписывая это слабости ближайшего

начальства, он приказал на будущее время такие отпуски прекратить.

Желая подтянуть дисциплину и искоренить беспорядки, великий князь наезжал в школу невзначай. Так, приехав однажды, он прямо вошел в роту и приказал раздеться первому встречному юнкеру. О, ужас! На нем оказался жилет — в то время совершенно противозаконный атрибут туалета, изобличавший по понятиям строгих блюстителей формы, чуть ли не революционный дух. На других воспитанниках великим князем были замечены «шелковые или неисправные галстуки». Это было поводом к сильнейшему гневу его высочества. Он приказал отправить под арест командира роты и всех отделенных офицеров, а подпрапорщиков не увольнять со двора впредь до приказания. На другой день великий князь опять приехал в школу и, к крайнему удивлению своему, вновь застал те же беспорядки в одежде. На этот раз гроза разразилась уже над командиром школы, генерал-майором, которому объявлен был строгий выговор.

Затем начальство школы изменилось. Еще раньше удалился из нее Деллингсгаузен, а потом в ноябре 1831 года и Годеин, который был замещен бароном Шлиппенбахом. С этим назначением и уходом Годеина совпадает и выход любимого и уважаемого полковника Гудима-Левковича, командира эскадрона. На место его был назначен Стукеев, воспетый Лермонтовым, а командиром роты — Гельмерсен, избранный самим великим князем Михаилом Павловичем.

Все эти перемены произошли как раз в 1832 году, то есть к тому времени, когда Лермонтов поступил в «школу». О школе знали и судили по старой репутации. Прежнее устройство ее, более свободное, мало чем отличалось от устройства тогдашних университетов. Школа имела вид скорее военного университета с воспитанниками, жившими в стенах его, наподобие того, как жили казеннокоштные студенты в Московском университете. Нравы и обычаи в обоих учреждениях немногим отличаются друг от друга, если только взять в соображение разницу, которая происходила от общественного положения молодых людей. Казеннокоштные студенты университета были люди из бедных семей, в «школе» же это были сыновья богатых и знаменитых родителей.

Лермонтов почуял тотчас, что ошибся в расчете и что жизнь в школе еще более сдавит его могучую, рвавшуюся на простор индивидуальность. Недаром же вспоминал он университет:

Святое место!.. Помню я как сон,
Твои кафедры, залы, коридоры,
Твоих сынов заносчивые споры

О Боге, о вселенной...

Теперь он еще больше уходит в себя, еще больше скрывает от товарищей свой внутренний мир, выказывая только одну сторону — отзыв на их затеи, или же в сердечной скорби глумится над собой и окружающими; полусерьезно, полусаркастически говорит он в своей «юнкерской молитве»:

Царю небесный!
Спаси меня
От куртки тесной,
Как от огня.
От маршировки
Меня избавь,
В парадировки
Меня не ставь.
Пускай в манеже
Алехин глас,
Как можно реже
Тревожит пасть.
Еще моленье
Прошу принять —
В то воскресенье,
Дай разрешенье
Мне опоздать.
Я, Царь Всевышний,
Хорош уж тем,
Что просьбой лишней
Не надоем!

Весь строй жизни для Лермонтова переменился. В Москве он жил в кругу многочисленной родни, чуждаясь тесного сближения с товарищами по университету, имея общение с ними лишь изредка, или довольствуясь небольшим кружком их, вхожим в тот же слой московского общества, к которому причислял себя Лермонтов. Но и тут он жил, не открывая души своей. Большинство чувствовало существование какой-то преграды между собой и Лермонтовым — преграды, не дозволявшей близко с ним сходиться. В нем видели или гордеца, с язвительной насмешкой относившегося к другим, или недоступного, занятого собой фата. Только немногие, близко знавшие его пылкую, благородную натуру, глубоко ценили его дружбу и верили высокой душе поэта. Эти немногие не утратили веры и любви к нему даже и тогда, когда ранняя могила унесла его. К таким лицам принадлежал Алексей Лопухин и сестры его, в особенности Мария Александровна, и известна уже нам Сашенька Верещагина. Во время недостойного поэта образа жизни, который вел он в

салонах Петербурга, платя дань «ухарским замашкам молодого офицерства», Лермонтов в письмах к этим женщинам откровенно признается в своих поступках, без всякого лицемерия:

Перед обеими вами я не могу скрывать истины, перед вами, которые были соперницами юношеских моих мечтаний...

Известно, какое влияние имели женщины на многих лучших поэтов. Пушкин обязан своим душевным развитием влиянию хороших и умных женщин. Н.А. Верещагина и М. Лопухина, очевидно, имели большое влияние на нравственное развитие характера Лермонтова, о чем свидетельствуют и письма поэта к ним, дошедшие до нас, к сожалению, в весьма ограниченном числе. Из этих же писем мы видим, что поэт оставался с этими друзьями ранней юности в самых искренних отношениях до своей кончины.

Теперь молодой человек в «школе» очутился в совершенно новых условиях. Из жизни у бабушки, где полнейшая свобода и независимость стесняемы были разве излишней любовью и боязливостью старушки, из круга родных и знакомых, среди которых он вращался равноправным членом общества, «ибо в то время студенты были почти единственными кавалерами московских красавиц», Лермонтов попал в обстановку, сдавливавшую в тесные рамки всякую индивидуальную свободу. Дисциплина приводила всех под один уровень, и дисциплина эта была тем чувствительнее, что, как раз ко времени вступления Лермонтова в школу, она стала применяться с особенною строгостью, придирчивая ко всяким мелочам, что контрастировало с прежним бытом «школы». Чувствительная для всех, она должна была быть вдвойне тяжела для Михаила Юрьевича. Увидав себя в железных оковах правильного строя военного порядка, ощутив личную свободу свою порабощенной гораздо сильнее прежнего, Лермонтов не мог не понять, как ошибся он в расчете и как для него тяжело будет выносить эту регулярную, стеснительную жизнь, когда относительно свободный быт московских студентов казался ему невыносимым. Михаилу-Юрьевичу, очевидно, приходило на ум покинуть «школу», но останавливаться на такой мысли было нельзя. Куда идти? Возвратиться в московский университет было немыслимо; в петербургском пришлось бы начинать сначала. Оставаясь в школе, можно было окончить курс в два года. К этим соображениям прибавлялось еще сознание ложного положения, в которое пришлось бы стать по отношению к сонму родных и знакомых, уже и так много шумевших по поводу выхода Михаила Юрьевича из московского университета и переезда в Петербург на новую карьеру. Самолюбие не позволяло Лермонтову отступить.

Надо было идти по принятому пути То же самолюбие вынуждало его как можно скорее освоиться с новым бытом и, затаив в себе личные интересы, пойти об руку с товарищами и ни в чем не отставать от них. Полная боязливой любви к своему внуку, бабушка Арсеньева опасалась за здоровье нервного «Мишеля», которое могло пострадать от внезапной и крутой перемены образа жизни, и поэтому старалась смягчить суровость ее. Так, Елизавета Алексеевна, тотчас по поступлении Михаила Юрьевича в школу, приказала служившему ему человеку потихоньку приносить барину из дома всякие яства, на утро же рано будить его «до барабанного боя», из опасения, что пробуждение от внезапного треска расстроит нервы внука. Узнав об этом, Лермонтов страшно рассердился, и слуге его досталось. Стало ли это известным в кругу товарищей, не знаем; Михаил Юрьевич боялся в чем-либо выказать изнеженность и старался не только не отставать, но и опережать товарищей во всех «лихих» предприятиях и выходках бывшего в правах молодечества.

Товарищ Лермонтова по «школе», поступивший в нее лишь годом раньше, князь Александр Иванович Барятинский, рассказывая нам многие из эпизодов своей жизни, вспомнил о том, как тяжело тогда доставалось в «школе» молодым людям, поступившим в нее из семей, в которых они получали тщательное воспитание. Обычаи школы требовали известного ухарства. Понятия о геройстве и правдивости были своеобразные и ложные, отчего немало страдали пришедшие извне новички, пока не привыкали ко взглядам товарищей; что в таком-то случае обмануть начальство похвально, а в таком-то необходимо сказать правду. Так, например, считалось доблестным не выдавать товарища, который, наперед надломив тарелку, ставил на нее массу других, отчего вся груда с треском падала и разбивалась, как только служитель приподнимал ее со стола. Юнкера хохотали, а служителя наказывали. Новичка, вступавшегося за несчастного служителя, если не прямо клеймили доносчиком, то немилосердно преследовали за мягкосердие и, именуя его «маменькиным сынком», прозывали более или менее презрительными прозвищами. Хвалили же и восхищались теми, кто быстро выказывал «закал», то есть неустрашимость при товарищеских предприятиях, обмане начальства, выкидывании разных «смелых штук». Вероятно, крайне самолюбивый Лермонтов боялся попасть в число «маменькиных сынков» и потому старался бравировать и сразу получить репутацию «лихого юнкера». В школе славился своей силой юнкер Евграф Карачевский. Он гнул шомпола или вязал из них узлы, как из веревок. За испорченные шомпола гусарских карабинов много

пришлось ему переплатить денег унтер-офицерам, заведывавшим казенной амуницией. С этим Карачевским тягался Лермонтов, который обладал большой силой в руках. Однажды, когда оба они забавлялись пробой силы, в зал вошел директор «школы» Шлиппенбах. Вспылив, он стал выговаривать обоим юнкерам: «Ну, не стыдно ли вам так ребячиться! Дети что ли вы, чтобы шалить? — Ступайте под арест!» Оба высидели сутки. Рассказывая затем товарищам про выговор, полученный от начальника, Лермонтов с хохотом заметили: «Хороши дети, которые могут из железных шомполов вязать узлы!»

Это самолюбивое желание первенствовать или, по крайней мере, не отставать от товарищей было причиной случая, едва не имевшего весьма печальных последствий. Вот как рассказывает о нем товарищ поэта по школе: «Вступление Лермонтова в юнкера не совсем было счастливо. Сильный душой, он был силен и физически и часто любил выказывать свою силу. Раз после езды в манеже, будучи еще, по школьному выражению, новичком, подстрекаемый старыми юнкерами, он, чтобы показать свое знание в езде, силу и смелость, сел на молодую лошадь, еще не выезженную, которая начала беситься и вертеться около других лошадей, находившихся в манеже. Одна из них ударила Лермонтова в ногу и расшибла ему ее до кости. Его без чувств вынесли из манежа. Долго лежал он потом больным в квартире бабушки. В письме от 25 февраля 1833 года Лопухин просил его: „Напиши мне, что ты в школе остаешься, или нет, и позволит ли тебе нога продолжать службу военную“. Лермонтов проболел несколько месяцев, но поправился, хотя потом всю жизнь едва заметно прихрамывал. Таким образом, он в первый год своего поступления в школу между товарищами пробыл лишь два месяца. 18 июня 1833 года он пишет Лопухиной:

Надеюсь, Вам приятно будет знать, что побывав в школе всего два месяца, я выдержал экзамен в первый класс и теперь один из первых. Это все же питает надежду близкой свободы.

Петербург и петербургское общество сразу не понравились Лермонтову. Он отстранился от него и ушел в самого себя. Вскоре по приезде (в конце августа 1832 года) он пишет в Москву своей приятельнице:

Вы просите назвать Вам всех, у кого бываю? Из всех лиц, с которыми имею общение, приятнейшее для меня — это я. Правда, по приезде я навещал довольно часто родных своих, с которыми должен познакомиться, но под юнец нашел, что лучший из родственников моих я сам. Видел я образчики здешнего общества — дам весьма любезных, молодых людей весьма вежливых; все они вместе производили на меня впечатление французского сада,

узкого и незамысловатого, но в котором с первого раза легко можно потеряться, до того хозяйские ножницы уничтожили в нем все самобытное.

После величаво раскинувшейся Москвы с ее пестротой и своеобразием — города, давно живущего исторической жизнью, — административный Петербург с прямыми улицами и казенными домами, окрашенными в желтую форменную краску, гранитный и холодный, с зелено-бледным небом и однообразием скучной официальной жизни, не мог понравиться поэту.

С негодованием пишет он о Петербурге Софье Александровне Бахметевой:

Увы, как скучен этот город
С своим туманом и водой!
Куда ни взглянешь — красный ворот,
Как шиш, торчит перед тобой.
Нет милых сплетен — все сурово,
Закон сидит на лбу людей...
Доволен каждый сам собою,
Не беспокоясь о других.
И что у нас зовут душою,
То без названия у них!..

Неудивительно, что не только природа, которой Петербург не может щегольнуть, не произвела на поэта впечатления, но и самое море, о котором он так мечтал, при общем настроении его духа, не вызвало в нем вдохновения:

И наконец я видел море!
Но кто поэта обманул?
Я в роковом его просторе
Великих дум не почерпнул.

В таком состоянии Лермонтов не мог писать, и задуманные и начатые им в Москве произведения оставались недоконченными. В письме к Марье Александровне Лопухиной он говорит:

Пишу мало, читаю не более, роман мой становится произведением отчаяния; я рылся в душе своей, дабы выбрать из нее все, что способно обратиться в ненависть, и в беспорядке излить это на бумаге.

Роман, о котором говорил поэт, — это его неоконченная юношеская повесть, впервые напечатанная в 1873 году в „Вестнике Европы“. Она была основана на истинном происшествии, рассказанном бабушкой поэта, и касалась времени Екатерины II, вероятно, из эпохи пугачевского бунта.

Через несколько дней после упомянутого письма Лермонтов пишет той же приятельнице и посылает ей сделавшиеся затем знаменитыми стихи, писанные им на берегу моря, вероятно, в

Петергофе.

Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом...

Стихи оканчиваются возгласом, в котором вылилось все тревожное состояние души поэта:

А он, мятежный, просит бури.
Как будто в бурях есть покой!

И так, в новой обстановке, в сфере петербургской жизни с самого начала поэт нехорошо себя чувствовал. Он приходит в восхищение, когда видит кого-либо из москвичей, даже только потому, что это приезжий из дорогого ему города.

Ведь. Москва моя родина, — восклицает он. — и таковою будет для меня всегда: там я родился, там много страдал и там же был слишком счастлив.

Однако и жизнь в школе имела свою хорошую сторону.

Таковой был дух товарищества, особенно сильно развивающийся и действующий в закрытом заведении. Тесное сожительство с молодежью в одних и тех же условиях, при полном равенстве перед властью, в твердых, определенных рамках дисциплинирует человека. Для избалованной необузданной натуры Лермонтова эта дисциплина была не лишней, хотя, к сожалению, темных сторон за тогдашней жизнью в „школе“ надо признать больше, нежели сторон светлых.

В то время в военном и особенно в аристократическом кругу, каким более или менее был круг школьных товарищей Лермонтова, был чрезвычайно развит дух касты, чувство мнимого превосходства, нелепая исключительность. То, что стало отражаться на Лермонтове, была прямая противоположность тому, в чем были лучшие идеальные интересы общественного развития — какое-то напоминание о грубой силе, малообразованной и нахальной... Люди, близко с детства знавшие Лермонтова, очень к нему привязанные, полагали, что с поступлением в юнкерскую школу начался для него „период брожения“, переходное настроение, которое, быть может, поддерживалась укоренившимися обычаями.

В первый год поступления своего в школу Михаил Юрьевич, по случаю своей болезни после повреждения ноги, большую часть времени проживал дома и в кругу товарищей бывал немного. Это облегчало ему его положение. Когда он затем появился в школе и зажил в кругу товарищей, его уже не считали новичком, а равноправным старым юнкером. Особенно сблизила Лермонтова с молодежью лагерная жизнь. Однако его ближайшими товарищами оставались старые московские знакомые: Поливанов, Шубин да родственники: Столыпин и Юрьев. Особенно хорошо

сошелся он на школьной скамье с Воплярлярским — позднее известным беллетристом (автором Большой Барыни). По свидетельству школьных товарищей, Лермонтов был хорош со всеми однокашниками, хотя некоторые из них не очень любили его за то, что он преследовал их своими остротами за все ложное, натянутое и неестественное, чего никак не мог переносить. Впрочем, остротами своими преследовал Михаил Юрьевич и тех, с которыми был особенно дружен. При этом им руководило не злое побуждение. „Он имел душу добрую, — я в том убежден“, — говорит его товарищ Меринский.

Умственные интересы в школе не были особенно сильны, и не они, конечно, сближали Лермонтова с его товарищами. Напротив, он любил удаляться от них и предаваться своим мечтаниям и творчеству в уединении, редко кому читая отрывки из своих задушевных произведений, чувствуя, что они будут не так поняты, и боясь каждой неосторожной, глубоко оскорблявшей выходки. В отношениях его к товарищам была, следовательно, некоторая неестественность, которую он прикрывал веселыми остротами, и такие выходки при остром и злом языке, конечно, должны были подчас коробить тех, против кого были направлены. Надо, однако, взять во внимание и то, что Лермонтов ничуть не обижался, когда на его остроты ему отвечали тем же, и от души смеялся ловкому слову, направленному против него самого. Его, очевидно, не столько занимало желание досадить, сколько сказать остроту или вызвать комичное положение. Но не все имели крупный характер поэта. Мелкие, самолюбивые натуры глубоко оскорблялись там, где Лермонтов видел одну забавную выходку. Люди сохраняли против него неудовольствие. Капля за каплей набирались злоба к нему, а поэт и не подозревал этого. Так бывало с ним и в последующие годы.

Лермонтов острил не только над другими; он трунил подчас и над своими недостатками. Так, он изобразил самого Себя в карикатуре, в шинели в рукава поверх мундира и гусарского ментика. В таком виде ходили юнкера в большие морозы. Костюм этот придавал сутуловатой, широкоплечей и малорослой фигуре Лермонтова чрезвычайно неказистый вид. Сам же он потешался и над данным его товарищами прозвищем. В „школе“ редкий из юнкеров не имел такого. Поливанова называли „Лафою“, князя Иосифа Шаховского" за большой нос — „Курком“, Алексея Столыпина звали „Монго“, Лермонтова „Маешкой“ — называнием, взятым из одного французского романа, где фигурирует горбун „Mayeux“.

Лермонтов так мало обижался этим прозвищем, что в одной поэм все время описывает под этим именем самого себя, не щадя

юмористических красок.

„В то время, — рассказывает Меринский, нам не позволялось читать книги чисто литературного содержания, хотя мы не всегда исполняли это...“ Но на разные шалости и буйные развлечения, в какие вдавалась более или менее богатая молодежь и которые умерялись только фронтовой дисциплиной, смотрели сквозь пальцы. Молодежь послушно усваивала дух касты, грубо льстивший неразвитому пониманию собственного достоинства и вперед отдалявшей ее от более мирных и возвышенных интересов общества. Здесь не было места для идеальных стремлений. Военная программа очень мало о них заботилась, скорее истребляла их.

Понятно, что Михаил Юрьевич должен был тяготиться всем этим и подчас доходил до совершейного отчаяния. По вечерам, после учебных занятий, поэт часто уходил в отдаленные классные комнаты, в то время пустынные, стараясь пробраться туда незамеченным товарищами, и там один просиживал долго и писал до поздней ночи. В кругу товарищей он выказывал себя веселым и, хотя не принадлежал к числу отъявленных шалунов, но любил иногда пошкодничать. В свободное время от занятий время юнкера порой собирались около рояля, который сами брали напрокат. Один из товарищей аккомпанировал на нем певшим разные песни. Появлявшийся Лермонтов присоединялся к поющим, но запевал громко совершенно иную песню и сбивал всех с такта; разумеется, при этом поднимался шум, хохот и нападки на Лермонтова. Певались романсы и нескромного содержания; эти-то, кажется, особенно нравились. Лермонтов для забавы юнкеров переделывал разные песни, применяя их ко вкусам товарищей. Так была им переделана для них известная, ходившая тогда по рукам в рукописи, песня Рылеева:

Ах, где те острова,

Где растет трын-трава.

Братцы?

Но переделка была до того нескромного свойства, что Меринский не решился передать содержание ее в печати.

Группировались в свободное время и около Воплярлярского, который привлекал к себе многих неистощимыми забавными рассказами. С ним соперничал Лермонтов, никому не уступавший в остротах и веселых шутках. В 1834 году кому-то пришло в голову издавать рукописный журнал, получивший название „Школьной Зари“ и просуществовавший недолго; его вышло, кажется, не более 7 номеров. Предполагалось издавать журнал еженедельно. Кто хотел участвовать, тот клал свои статьи в определенный для того ящик одного из столиков, стоявших возле

кроватей. Статьи эти вынимались из ящика по средам, сшивались и затем прочитывались в собрании товарищей при общем смехе и шутках. К сожалению, эти литературные занятия ограничивались статьями самого нескромного содержания. Тут-то Лермонтов поместил ряд своих поэм, заслуживших ему известность „нового Баркова“. Произведения эти отличаются жаркой фантазией и подчас прекрасным стихом, но отталкивают цинизмом и грязью, в них заключающимися. Юнкера, покидая школу и поступая в гвардейские полки, разносили в списках эту литературу в холостые кружки „золотой молодежи“ нашей столицы, и, таким образом, первая поэтическая слава Лермонтова была самая двусмысленная и сильно ему повредила.

Когда затем стали появляться в печати его истинно прекрасные произведения, то знавшие Лермонтова по печальной репутации эротического поэта негодовали, что этот гусарский корнет „смел выходить на свет со своими творениями“. Бывали случаи, что сестрам и женам запрещали говорить о том, что они читали произведения Лермонтова; это считалось компрометирующим. Даже знаменитое стихотворение „На смерть Пушкина“ не могло изгладить этой репутации, и только в последний приезд Лермонтова в Петербург за несколько месяцев перед его смертью, после выхода собрания его стихотворений и романа „Герой нашего времени“, пробилась его добрая слава. Но первая репутация долго еще стояла помехой для оценки личности поэта в обществе.

Между тем, кто из поэтов не писал нескромных стихотворений? Сколько было их написано Пушкиным в том же возрасте, в котором писан их Лермонтов? Пушкин начал их писать даже еще раньше. В пансионских и университетских тетрадях Лермонтова мы их не встречаем вовсе.

Лермонтов писал свои поэмы и рассказы в „Школьной Заре“ обыкновенно под псевдонимом „граф Диарбекир“. Но встречаем и псевдоним „Степанов“. В N 4 „Школьной Зари“ помещены принадлежащие перу Лермонтова „Уланша“, „Госпиталь“, два небольших стихотворения и прозаический рассказ (описание одного путешествия), — все пьесы такого рода, какие известны каждому из воспитывавшихся в закрытых заведениях. В одном стихотворении (оде) Лермонтов в общем духе таких пьес перебрал часть начальствующего персонала.

В „Уланше“, самой скромной из этих поэм, изображается переход конного эскадрона юнкерской школы в Петергоф и ночной привал в деревне Ижоры. Главный герой похождения — уланский юнкер „Лафа“, посланный вперед квартирьером. Героиня — крестьянская девушка.

В „Госпитале“ описываются похождения товарищей-юнкеров: того же Поливанова, Шубина и князя Александра Ивановича Барятинского.

Еще раньше этого в одном из номеров „Школьной Зари“ был помещен Лермонтовым „Петергофский праздник“. В этой грязноватой поэме главным действующим лицом изображен юнкер лейб-кирасирского полка Бибиков.

Все эти произведения Лермонтова, конечно, предназначавшиеся лишь для тесного круга товарищей, проникали, как мы уже говорили, за стены „школы“, ходили по городу, и те из героев, упоминавшихся в них, которым приходилось играть непохвальную, смешную или обидную роль, негодовали на Лермонтова. Негодование это росло вместе со славой поэта, и, таким образом, многие из его школьных товарищей обратились в злейших его врагов. Один из таковых — лицо, достигнувшее потом важного государственного положения — приходит в негодование каждый раз, когда мы заговаривали с ним о Лермонтове. Он называл его самым „безнравственным человеком“ и „посредственным подражателем Байрона“ и удивлялся, как можно им интересоваться до собирания материалов для его биографии. Гораздо позднее, когда нам попадались в руки школьные произведения нашего поэта, мы поняли причину такой злобы. Люди эти даже мешали ему в его служебной карьере, которую сами проходили успешно.

Одно только произведение выходит из ряда эротических сочинений школьного периода — это „Хаджи-Абрек“. Лермонтов написал его под влиянием воспоминаний о Кавказе и внес в поэму мотивы и строфы из „Каллы“, „Аула Бастунджи“ и даже „Измаил-Бея“, так что она скорее принадлежит прежним годам литературного творчества поэта. Николаю Юрьеву удалось как-то тайком от Михаила Юрьевича отвести поэму — вероятно, в сделанной им копии — в „Библиотеку для чтения“. Юрьев, хорошо читавший стихи, прочел ее Сенковскому, который остался доволен поэмой, и поместил ее в следующем году в своем журнале, за подписью автора. Это было первое явившееся в печати произведение Лермонтова, который, впрочем, был очень недоволен ее помещением в журнале.

Михаил Юрьевич сам желал увериться, насколько серьезен его талант. Он, очевидно, еще не доверял себе и желал узнать мнение компетентных людей. Около этого времени другой товарищ его, Цейдлер, приносит с дозволения поэта, тетрадку его стихотворений в к А.Н. Муравьеву (автору „Путешествия по святым местам“), желая узнать его мнение о них; но только тогда, когда услышал одобрительный отзыв, решился назвать

Лермонтова. Это было основанием знакомства двух писателей.

Несмотря на запрещение высшего начальства, многие офицеры были в дружеских отношениях с юнкерами. Таков был, например, штаб-ротмистр Клерон, французский уроженец Страсбурга. Его любили более всех. Он был очень приветлив, обходился с юнкерами по-товарищески, острил, говорил каламбуры. Над ним добродушно посмеивались, и Лермонтов в четверостишии задел одновременно и его, и товарища, князя Шаховского. Но вообще Лермонтов редко посещал начальствующих лиц и не любил ухаживать за ними. Так, он неохотно ходил и к командиру эскадрона, полковнику Алексею Степановичу Стукееву, женатому на сестре знаменитого композитора М.Н. Глинки, несмотря на то, что в это время сам Глинка часто бывал у Стукеевых, где жила его невеста, а Лермонтов интересовался музыкой и сам был не без музыкального таланта. Но он вообще как-то дичился, хотя этого и не высказывал. Того, что ему было дорого, он не открывал, а дурачиться не всегда было удобно.

Вся атмосфера была такого рода, что предаваться прежним литературным занятиям было крайне стеснительно и приходилось это делать украдкой, урывками. Простора для серьезного вдохновения не было. Если мы сравним литературную деятельность поэта за два года пребывания в московском университете с тем, что написал он в „школе“ юнкеров, то невольно охватывает нас глубокое сожаление. Сколько было набросков, опытов, более или менее удачных лирических стихотворений, драм и поэм! В два года, проведенных в школе, все это почти заброшено. Скабрезные произведения вроде „Уланши“, „Петергофского праздника“ и проч., которые должны были оскорблять душу поэта, — вот почти все, что вышло из-под его пера. Понятно, что свою шутливую юнкерскую молитву он окончил словами, выражающими отчаяние, несмотря на весь шуточный тон всего стихотворения. Прося Бога о том, чтобы как можно позднее возвращаться из отпуска в стены школы, Лермонтов заканчивает:

Я, Царь Всевышний,
Хорош уж тем,
Что просьбой лишней
Не надоем.

Замечательно, что сообщивший эту молитву товарищ его, Меринский, последних строк не знал или забыл, или же Лермонтов их и не сообщил товарищам, считая излишним пояснять настоящий смысл их. Впрочем, это стихотоврение написано было в первое время нахождения в школе. Потом поэт

изменился и к концу пребывания относятся те печальные для славы его пьесы, которыми он наполнял страницы „Школьной Зари“. Он, быть может, совершенно погряз бы в этом направлении, если бы внутренний инстинкт не оберегал поэта и не дал ему вполне подчиниться влияниям, которые способны были совершенно загубить его талант. А.Н. Цыпин делает такое заключение о влиянии на Михаила Юрьевича лет, проведенных в „школе“:

Лермонтов, с детства мало сообщительный, не был сообщителен и в „школе“. Он представлял товарищам своим шуточные стихотворения, но не делился с ними тем, что высказывало его задушевные мысли и мечты; только немногим ближайшим друзьям он доверял свои серьезные работы. У него было два рода серьезных интересов, две среды, в которых он жил, очень не похожие одна на другую, — и если он старательно скрывал лучшую сторону своих интересов, в нем, конечно, говорило сознание этой противоположности. Его внутренняя жизнь было разделена и неспокойна. Его товарищи, рассказывающие о нем, ничего не могли рассказать кроме анекдотов и внешних случайностей его жизни; ни у кого не было в мысли затронуть более привлекательную сторону его личности, которой они как будто и не знали. Но что этот разлад был, что Лермонтова по временам тяготила обстановка, где не находили себе места его мечты, что в нем происходила борьба, от которой он хотел иногда избавиться шумными удовольствиями, — об этом свидетельствуют любопытные письма, писанные им из „школы“.

19 июня 1833 года Лермонтов пишет Марье Александровне Лопухиной.

... С тех пор, как и не писал вам, со мной случилось так много странных обстоятельств, что и, право, не знаю, каким путем идти мне — путем ли порока или пошлости. Правда, оба пути ведут часто к той же цели. Знаю, что вы станете увещевать, постараетесь утешать меня — это было бы лишнее. Я счастливее, чем когда-нибудь, веселее любого пьяницы, распевающего на улице! Вам не нравятся эти выражения, но увы: скажи с кем ты водишься, и я скажу, кто ты таков.

4 августа того же года Лермонтов пишет той же особе:

Я не писал вам с той поры, как мы выехали в лагерь. Да оно и не могло бы мне удасться при всем моем желании. Представьте себе палатку в три аршина длины и ширины и в 2,5 вышины, занятую тремя человеками и всем их багажом, всем их вооружением, как-то; саблями, карабинами, киверами и проч. Погода была ужасная; дождь, ливший не переставая, производил то, что мы по двое суток не были в состоянии осушить платье. И,

все-таки, нельзя сказать, чтобы жизнь эта мне пришлась не по нраву. Вы знаете, милый друг, что я всегда имел решительное пристрастие к дождю и грязи, и теперь, по милости Божьей, я насладился ими вдоволь. Мы возвратились в город, и скоро опять начнутся наши занятия. Единственное, что меня поддерживает, это мысль, что через год я офицер! И тогда... Боже мой! Если бы вы знали, какую жизнь намерен я повести! О, это будет восхитительно! Во-первых, чудачества, шалости всякого рода и поэзия, залитая шампанским. Я знаю, что вы возопиете, но увы! Пора моих мечтаний миновала, время верований прошло, — нет его. мне нужны материальные ощущения, счастие осязательное, такое счастие, которое покупается золотом, чтобы я мог носить его в кармане, как табакерку, которое бы только обманывало мои чувства, оставляя мою душ)' в покое и бездействии... Вот что мне теперь необходимо, и вы видите, милый друг, что с тех пор, как мы расстались, я-таки несколько изменился. Как скоро я заметил, что прекрасные мечтания мои разлетаются, я сказал самому себе, что заниматься изготовлением новых не стоит труда; гораздо лучше, подумал я, обходиться без них. Я стал пробовать; я походил в то время на пьяницу, старающегося понемногу отвыкать от вина; труды мои не были тщетными и скоро прошлое стало представляться мне не более, как программой незначительных и весьма обыденных похождений. Но поговорим о другом...

Затем в конце письма Лермонтов продолжает:

Через год, может быть, и навещу вас, и что найду я? Узнаете ли вы меня, захотите ли узнать? А я, какую роль буду я играть? Приятно ли будет свидание это для вас или смутит оно нас обоих? Ибо я вас предупреждаю, что я не тот, каким был прежде: и чувствую, и говорю иначе, и, Бог знает, чем еще стану в течение года! Жизнь моя здесь была вереницей разочарований, что заставляет меня теперь смеяться, смеяться над собой и над другими...

Это замечательное письмо заключает в себе исповедь о целом годе душевных бурь и страданий, которые прорываются порой сквозь игривую форму выражений. Видно, что юноша сильно томится и старается выбиться из-под гнета страданий. Он начинает с повести своих мучительных переживаний, хочет затем говорить о другом, постороннем, и опять возвращается к тому же.

Я уповаю на вашу преданность мне, —

заключает он письмо, как бы невзначай. Велика была в нем потребность искренней дружбы и сердечного понимания, иначе он не писал бы так откровенно, с такой болью и теплотой.

Чего стоили Михаилу Юрьевичу два проведенных в „школе“

года, видно и из письма его от 23 декабря 1834 года, когда он, только что произведенный в офицеры в Царском Селе, был приятно поражен нечаянным приездом своего друга Алексея Александровича Лопухина.

... Я был в Царском Селе, когда приехал Алексис. Когда известие пришло ко мне, я едва не сошел с ума от радости; я накрыл себя разговаривающим с самим собою, я смеялся, пожимал руки самому себе. Мгновенно возвратился и к моим прошедшим... двух страшных лет как не бывало...

Итак, тягостны были для Лермонтова два года, проведенные им в школе юнкеров, и охотно, может быть, вычеркнул бы он их из своей памяти, но пришел и им конец, конец годам воспитания. Пришла пора ступить за порог и выйти в жизнь, как казалось, вольным человеком, равноправным членом общества. Приказом Государя, данным в Риге 25 ноября 1834 года, Лермонтов был произведен в корнеты лейб-гвардии гусарского полка.

ГЛАВА X М. Ю. Лермонтов по выходе из школы гвардейских подпрапорщиков

Кутежи и шалости. — Монго-Столыпин. Дружеская связь его с поэтом. — Лермонтов в салонах петербургского общества. — Е.А. Хвостова. — Женщины — друзья Лермонтова.

Лейб-гвардии гусарский полк, в офицерский круг которого вступил Лермонтов, был расположен в Царском Селе. Бабушка не поскупилась хорошо экипировать своего внука и дать молодому корнету всю обстановку, почитавшуюся необходимой для блестящего гвардейского офицера. Повар, два кучера, слуга — все четверо крепостные из дворовых села Тарханы, были отправлены в Царское. Несколько лошадей и экипажи стояли на конюшне. Бабушка, как видно из письма ее, писанного из Тархан осенью 1835 года, кроме денег, выдаваемых в разное время, ассигновала ему десять тысяч рублей в год. Арсеньева изредка, обыкновенно на летние месяцы, ездила в Тарханы, проживая большую часть года в Петербурге, где часто и подолгу гостил у нее Лермонтов, охотно покидавший Царское Село для светских удовольствий столицы.

Я теперь езжу в свет... чтобы познакомиться с собою, чтобы доказать, что я способен находить удовольствие в высшем обществе.

Пишет он в Москву через месяц после производства в офицеры.

Его несказанно радовало, что он вырвался из стен училища на свободу. Но что начать с собой, куда кинуться, куда направить избыток молодых сил? Он чувствовал себя узником, которому растворили тесную темницу. Ему хотелось на свободу, порасправить могучие крылья, полной грудью дохнуть свежим воздухом; словом, хотелось жить, действовать, ощущать; он хотел изведать все, „со всею полнотою“. Его манил блеск светского общества и удалые товарищеские пирушки да выходки и тревожили прежние стремления и идеалы, не заглохшие в течение „двух ужасных лет“, только что пережитых им. Любопытно, как, при самом вступлении в новую жизнь, Лермонтов ясно ощущал двойственность своих стремлений, разлад души, с одной стороны, дорожившей воспоминаниями о времени своих чистейших увлечений и порывов, о годах, когда он думал посвятить всего себя служению искусству и поэзии, а с другой — увлекала его та светская порча, которая уже успела

коснуться его. Об этой порче Лермонтов писал, как мы видели, и прежде к другу своему М.А. Лопухиной. Теперь он пишет ей же:

Милый друг! Чтобы ни случилось, я иначе никогда называть вас не буду, а то это значило бы порвать последние нити, связывающие меня с прошедшим; этого бы не хотел я ни за что на свете, потому что будущность моя, блистательная на вид, — пошлая и пустая. Надо вам признаться, что с каждым днем я все более и более убеждаюсь, что из меня ничего не выйдет со всеми моими прекрасными мечтаниями и не прекрасными опытами на пути жизни... потому что мне не достает либо случая, либо решимости... Мне говорят: случай когда-нибудь выйдет; время и опыт дадут и решимость... а кто поручится, что, когда все это сбудется, я сберегу в себе хоть частицу этой пламенной молодой души, которою Бог чрезвычайно некстати одарил меня?..

Ощущаемый поэтом разлад и двойственность выразились и в жизни его. С одной стороны, он сжигал свои силы в шумном кругу гвардейской молодежи или рассаривал душевные свои качества по паркетам гостиных, с другой — завязывал литературные знакомства, приглядывался к людям, читал и мыслил. Сосредоточенный и замкнутый в себе, Лермонтов нелегко высказывал лучшие свои думы и оставался молчаливым в обществе писателей, только в исключительных случаях и больше в беседе с глазу на глаз изредка позволял заглянуть в святую святых своей души. Но тогда он поражал и мощью и глубиной мысли, которую никак не могли подозревать в молодом гусарском офицерике-кутиле. Мы можем убедиться в этом из рассказов о Лермонтове Белинского, Краевского, Панаева и др.

Общество того времени жило бедными интересами. Мы видели, как в воспитательных заведениях запрещалось всякое чтение книг литературного содержания, и молодежь направляла свои силы на различные шалости, иногда стоившие ей довольно дорого, доводя до временного заключения, солдатской шинели и ссылки. Жизнь сковывалась разными стеснительными правилами и регламентацией, и противодействие им считалось среди юношей подвигом. На этот протест тратились силы, в нем выступало лихое молодечество, плод праздности умственной жизни.

Подвиги эти встречали в обществе отзыв, о них говорили, герои прославлялись. Наказание их вызывало к ним симпатию даже тех лиц, которым приходилось карать их. Кара выходила какая-то отеческая, семейно-патриархального оттенка. Типы эти описаны много раз. Одним из таких людей был забияка и дуэлист Каверин, воспетый Пушкиным. Такой тип выставлен и Л. Толстым в лице Долохова („Война и мир“), В конце 30-х и начале 40-х

годов много рассказывали о проделках Константина Булгакова, офицера Преображенского, а затем Московского полка, товарища Лермонтова по „школе“. Смелые, подчас не лишенные остроумия, проказы Булгакова доставили ему особую милость великого князя Михаила Павловича, отечески его журившего и сажавшего под арест и на гауптвахту.

С этим „Костькой Булгаковым“ (как его называли товарищи) Лермонтов „хороводился“ особенно охотно, когда у него являлась фантазия учинить шалость, выпить или покутить на славу. Двоюродный брат и товарищ Лермонтова, Николай Дмитриевич Юрьев (лейб-драгун), рассказывал, как однажды, когда Лермонтов дольше обыкновенного зажился в Царском, соскучившаяся по нем бабушка послала за ним в Царское Юрьева с тем, чтобы он непременно притащил внука в Петербург. Лихая тройка стояла у крыльца, и Юрьев собирался спуститься к ней из квартиры, когда со смехом и звоном оружия ввалились предводительствуемые Булгаковым лейб-егерь Павел Александрович Гвоздев и лейб-улан Меринский. Бабушка угостила новоприбывших завтраком и развеселившаяся молодежь порешила всем вместе ехать за „Мишелем“ в Царское. Явилась еще наемная тройка с пошевнями (дело было на масляной), и молодежь понеслась к заставе, где дежурным на гауптвахтах стоял знакомый Преображенский офицер Н. Недавний однокашник пропустил товарищей, потребовав при этом, чтобы на возвратном пути Костька Булгаков был в настоящем своем виде, то есть сильно хмельной, что называлось „быть на шестом взводе“. Друзья обещали, что все с прибавкой двух-трех гусар прибудут в самом развеселом, настоящем масляничном состоянии духа. В Царском, в квартире Лермонтова, застали они пир горой, и, разумеется, пирующей компанией были приняты с распростертыми объятиями. Пирушка кончилась непременной жженкой, причем обнаженные гусарские сабли своими невинными клинками служили подставками для сахарных голов, облитых ромом и пылавших великолепным синим огнем, поэтически освещавшим столовую, из которой, эффекта ради, были вынесены все свечи. Булгаков сыпал французскими стихами собственной фабрикации, в которых воспевались красные гусары, голубые уланы, белые кавалергарды, гренадеры и егеря со всяким невообразимым вздором в связи с Марсом, Аполлоном, Парисом, Людовиком XV, божественной Наталией, сладостной Лизой, Георгеттой и т. п. Лермонтов изводил карандаши, которые Юрьев едва успевал чинить ему, и сооружал застольные песни самого нескромного содержания. Песни пелись при громчайшем хохоте и звоне стаканов. Гусарщина шла в полном разгаре. Шум встревожил даже

коменданта города.

Помня приказ бабушки, пришлось, однако, ехать в Петербург. Собрались гурьбой, захватив с собой на дорогу корзину с половиной окорока, четвертью телятины, десятком жареных рябчиков, дюжиной шампанского и запасом различных ликеров и напитков. Лермонтову пришло на ум дать на заставе записку, в которой каждый должен был расписаться под вымышленной фамилией иностранного характера. Булгаков подхватил эту мысль и назвал себя французом Marquis de Gloupignon; вслед за ним подписались: испанец Don Skotillo, румынский боярин Болванешти, грек Мавроглупато, лорд Дураксон, барон Думшвейн, итальянец сеньор Глупини, пан Глупчинский, малоросс Дураленко и, наконец, российский дворянин Скот-Чурбанов (имя, которым назвал себя Лермонтов). Много было хохота по случаю этой, по словам Лермонтова, „всенародной экспедиции“.

Приблизительно на полдороге к Петербургу упал коренник одной из четырех троек (из Царского к прежним двум присоединилось еще две тройки с гусарами), и кучер объявил, что надо распрячь сердечного, „ибо у него от бешеной скачки, должно быть, сделался родимчик“, и его надо оттереть снегом. Все решились остановиться, а чтобы времени даром не терять, воспользоваться торчавшим близ дороги балаганом, летом служившим для торговли, а на зиму заколоченным, и в нем соорудить пирушку. При содействии свободных ямщиков и кучеров, компания занялась устройством помещения: разместили найденные доски, наколотив их на поленья и соорудив, таким образом, нечто вроде стола, зажгли экипажные фонари и распаковали корзину. Ее содержанием занялись все присутствующие, не исключая и возниц. Среди выпивки порешили увековечить память проведенного в балагане времени, написав углем на гладко оштукатуренной и выбеленной стене принятые присутствующими имена, но только в стихотворной форме. Общими силами была составлена следующая надпись, которой содержание рассказчик помнил лишь приблизительно:

Гостьми был полон балаган:
Болванешти из молдаван
Стоял с осанкою воинской
Болванопопуло был грек,
Чурбанов — русский человек,
Вблизи его — поляк Глупчинский и т.д.

Было два часа ночи, когда компания прибыла к городским воротам. Караульный унтер-офицер, прочтязаписку и глядя на красные офицерские фуражки гусар, полон был почтительного

недоумения.

Караульные офицеры не раз попадались впросак при неосторожном пропуске мистифицирующих проезжих. Компания, ехавшая из Царского, не желала, конечно, ввести в неприятное положение своего однокашника Н., и потому на обороте листа, где были записаны псевдонимы шалунов, они прописали настоящие свои имена. „Но, все-таки, — кричал Булгаков, — непременно покажи записку караульному офицеру и скажи ему, что французский маркиз был на шестом взводе!“ — „Слушаю, ваше сиятельство!“ — отвечал унтер-офицер и крикнул: „Бомвысь!“ Тройка въехала в спавший город.

Подобное препровождение времени и выходки очень занимали гвардейскую молодежь того времени.

За разные „невинные“ шалости молодых офицеров сажали на гауптвахту. Жили на гауптвахтах арестованные за менее важные проступки весело. К ним приходили товарищи, устраивались пирушки, а при появлении начальства бутылки и снадобья куда-то исчезали при помощи услужливых сторожей.

Лермонтов особенно часто не вовремя возвращался из Петербурга и за разные шалости и мелкие проступки против дисциплины и формы сиживал в Царском селе на гауптвахте. Однажды он явился на развод с маленькой, чуть-чуть не детской, игрушечной саблей, несмотря на присутствие великого князя Михаил Павловича, который тут же дал поиграть ею маленьким великим князьям Николаю и Михаилу Николаевичам, которых привели посмотреть на развод, а Лермонтова приказал выдержать на гауптвахте. После этого Лермонтов завел себе саблю больших размеров, которая при его малом росте казалась еще громаднее и, стуча о панель или мостовую, производила ужасный шум, что было не в обычае у благовоспитанных гвардейских кавалеристов, носивших оружие свое с большой осторожностью, не позволяя ему греметь. За эту несоразмерную большую саблю Лермонтов опять-таки попал на гауптвахту. Точно также великий князь Михаил Павлович с бала, даваемого царскосельскими дамами офицерам лейб-гусарского и кирасирского полков, послал Лермонтова под арест за неформенное шитье на воротнике и обшлагах вицмундира. Не раз доставалось нашему поэту за то, что он свою форменную треугольную шляпу носил „с поля“, что было противно правилам и преследовалось.

В шалостях и выходках разного рода принимали участие и славились ими молодые люди, считавшиеся образцом благородства и светского рыцарского духа. Таковым был Алексей Аркадьевич Столыпин, товарищ по школе и близкий друг Лермонтова. Он приходился ему родственником, собственно

двоюродным дядей, но вследствие равенства лет их называли двоюродными братьями. Столыпин был красавец. Красота его вошла в поговорку. Все дамы высшего света были в него влюблены. Его называли „le beau (красавец (фр.)) Столыпин“ и „la coqueluche de femme (дамский угодник (фр.))“. Вот как характеризует его один из современников: „Красота его мужественная и, вместе с тем, отличавшаяся какой-то нежностью, была бы названа у французов „proverbiale (вошедшей в пословицу (фр.))“. Он был одинаково хорош и в лихом гусарском ментике, и под барашковым кивером нижегородского драгуна, и, наконец, в одеянии современного льва, которым был вполне, но в самом лучшем значении этого слова. Изумительная по красоте внешняя оболочка была достойна его души и сердца. Назвать „Монго-Столыпина“ значит для нас, людей того времени, то же, что выразить понятие о воплощенной чести, образце благородства, безграничной доброте, великодушии и беззаветной готовности на услугу словом и делом. Его не избаловали блистательнейшие из светских успехов, и он умер уже немолодым, но тем же добрым, всеми любимым „Монго“, и никто из львов не возненавидел его, несмотря на опасность его соперничества. Вымолвить о нем худое слово не могло бы никому прийти в голову и принято было бы за нечто чудовищное“.

Отменная храбрость этого человека была вне всякого подозрения. И так было велико уважение к этой храбрости и безукоризненному благородству Столыпина, что, когда он однажды отказался от дуэли, на которую был вызван, никто в офицерском кругу не посмел сказать укорительного слова, и этот отказ, без всяких пояснительных замечаний, был принят и уважен, что, конечно, не могло бы иметь места по отношению к другому лицу: такова была репутация этого человека. Он несколько раз вступал в военную службу и вновь выходил в отставку. По смерти Лермонтова, моторому он закрыл глаза, Столыпин вскоре вышел в отставку (1842) и поступил вновь на службу в крымскую компанию в белорусский гусарский полк, храбро дрался под Севастополем, а по окончании войны вышел в отставку и скончался затем в 1856 году во Флоренции.

С детства Столыпина соединяла с Лермонтовым тесная дружба, сохранившаяся ненарушенной по смерти поэта. Не знаем, понимал ли Монго вполне значение своего родственника, как поэта, но он питал интерес к его литературным занятиям, что ясно видно из того, что он перевел на французский язык „Героя нашего времени“. Лермонтов в своих произведениях нигде не касается этой стороны отношений к Монго. Говорит он о нем только по поводу „гусарской выходки“, героями которой были оба

они, но Столыпин, близко знавший душу своего знаменитого родственника, по словам брата Дмитрия Аркадьевича, всегда защищал Михаила Юрьевича от всяких нападок многочисленных врагов и мало расположенных к нему людей. В двух, роковых дуэлях Столыпин был секундантом Лермонтова, что при безукоризненной репутации Столыпина немало способствовало ограждению поэта от недоброжелательных на него наветов. Два раза сопровождал он его на Кавказ, как бы охраняя горячую, увлекающуюся натуру Михаила Юрьевича от опасных в его положении выходок.

Почему Столыпина называли „Монго“, неизвестно. Кажется, что название это, навсегда оставшееся за ним, было дано ему Лермонтовым, описавшим одну из гусарских шалостей. В этом произведении поэт назвал себя „Маешкой“ — именем, которое носил в школе. Под каким именем назвать Столыпина, он затруднялся. Но тут ему подвернулось лежавшее давно на столе Столыпина сочинение на французском языке: „Путешествие Монго Парка“. Лермонтов воспользовался первыми двумя слогами. Таким образом, происхождение имени чисто случайное. Самая поэма получила название „Монго“. Она пришлась по вкусу молодежи и во множестве рукописей и вариантов ходила по рукам. Весь Петербург знал ее, а за Столыпиным осталось прозвище. Сам он назвал им свою любимую и прекрасную собаку, сопровождавшую хозяина по парку Царского Села и не раз прибегавшую его искать во время полкового учения, чем вводила в досаду командира полка Михаила Григорьевича Хомутова. Похождение, описанное Лермонтовым в поэме его „Монго“, и успех ее среди блестящей молодежи тоже представляют иллюстрацию тогдашнего общего ее времяпрепровождения. Событие, подавшее повод к поэме-шутке, заключалось в следующем: героиня — Е.Е. Пименова, „краса и честь балетной сцены“, приглянулась Столыпину, которого „внимательный лорнет“ легко можно было заметить во время представлений в одном из первых рядов кресел Большого театра. Поразившая его молодая танцовщица любви его сначала

Дней девять сряду отвечала,
В десятый день он был забыт —
С толпою смешан волокит.

Пименова была дочь кузнеца и воспитывалась в театральной школе. Красота ее увлекла богатого казанского помещика и откупщика Моисеева, и девушка не устояла перед золотым Молохом. Счастливый победитель поселил свою нимфу на лето в одной из весьма модных тогда дач по Петергофской дороге, недалеко от славившегося в то время Красного Кабачка, где

окружил ее всевозможной роскошью. Ей-то за холодность думал отомстить Монго. Вместе с Маешкой задумал он совершить ночной набег на жилище балерины. Верхами выехали они из Красного села с закатом солнца с тем, чтобы обратно к 7 часам утра вернуться на полковое ученье.

По свидетельству Е. Ростопчиной, проказы, шалости и шутки всякого рода после пребывания Лермонтова в школе гвардейских подпрапорщиков сделались его любимым занятием. „Насмешливый, едкий, ловкий, вместе с тем, полный ума, самого блестящего, богатый, независимый, он сделался душой общества молодых людей высшего круга; он был запевалой в беседах, в удовольствиях, в кутежах, словом, всего того, что составляло жизнь в эти годы“. До самой высылки на Кавказ в 1837 году Лермонтов жил в Царском вместе со Столыпиным на углу Большой и Манежной улиц, проводя, однако, большую часть времени в Петербурге у бабушки. Столыпин невольно подчинялся уму Лермонтова, который, как увидим, и среди рассеянного и веселого образа жизни в кругу товарищей и петербургского света, продолжая жить двойственной жизнью, не оставлял серьезных занятий и интересов литературных. Оба друга имели на офицеров своего полка большое влияние. Товарищество (esprit de corps) было сильно развито в этом полку и, между прочим, давало одно время сильный отпор притязаниям полковника С, временно командовавшего полком. К Лермонтову, по свидетельству Логинова, дальнего родственника его и часто с ним видавшегося, начальство тогда уже не благоволило и считало его дурным фронтовым офицером. Что касается желания Лермонтова проникнуть в аристократическое общество Петербурга, то оно сначала оставалось для него недосягаемым, по крайней мере, стать интимным посетителем гостиных ему не удалось. Фамилия Лермонтовых не была известна в тогдашнем высшем свете и сама по себе ничего не представляла. Род Лермонтовых, как уже было сказано, захудал и обеднел. Молодой, некрасивый, не чрезмерно богатый гусарский корнет ничем не мог привлечь к себе внимания в гостиных и на балах. Положение, которое другие легко приобретали, часто без всяких нравственных преимуществ, Лермонтов должен был завоевывать себе, борясь с большими трудностями. Пока его поддерживали только связи бабушки, имена Арсеньевых и Столыпиных. Сознание, что он некрасив, тревожило самолюбивого юношу. О душевном состоянии при вступлении в салоны петербургского света Лермонтов в 1835 г. писал другу своему Сашеньке Верещагиной в Москву:

Вступая в свет, я увидал, что у каждого был какой-нибудь пьедестал: хорошее состояние, имя, титул, покровительство... я

увидал, что если мне удастся занять собой одно лицо, другие незаметно тоже займутся мною, сначала из любопытства, потом из соперничества.

Желание обратить на себя внимание в гостиных во что бы то ни стало было слабостью, недостойной ума и талантов поэта. Он это, впрочем, сознавал, но много времени протекло раньше, нежели сознание это победило самолюбие 20-летнего юноши, желавшего ни в чем не отставать от своих товарищей.

При самом вступлении в свет поэт встретился с девушкой, которая, когда ему было 15 лет, занимала его фантазию и даже вдохновляла его, но, будучи старше его годами, подсмеивалась над восторженным мальчиком. То была Екатерина Александровна Сушкова.

Записки Екатерины Александровны Хвостовой, рожденной Сушковой, содержащие, главным образом, рассказ об отношениях к ней Лермонтова, в свое время возбудили живой интерес. Многие в печати высказались за правдивость их, за искренность тона и меткость характеристики. Появились, однако, и сильные нападки даже со стороны ближайших людей, хорошо знавших ее. Между прочим, против верности сообщаемого автором записок выступили родная сестра г-жи Хвостовой и известная наша писательница графиня Ростопчина, тоже рожденная Сушкова и двоюродная сестра Екатерины Александровны. Графиня Ростопчина не без иронии указывала на то, что кузина ее увлекалась желанием прослыть „Лаурой“ русского поэта. Это желание так увлекало Екатерину Александровну, что она совершенно сбилась в хронологии. Считая себя вдохновительницей лучших произведений Лермонтова, она рассказывала, между прочим, что стихотворение „Сон“ („В полдневный жар в долине Дагестана“) было написано им, когда поэт делал вид, что вызовет на дуэль жениха ее, друга своего Лопухина, то есть в 1835 году, тогда как стихотворение это черновым находится в альбоме, подаренном Лермонтову князем Одоевским в последний выезд поэта из Петербурга на Кавказ в 1841 году. О многих стихотворениях, писанных Лермонтовым другим лицам, Екатерина Александровна говорит, как о посвященных ей. Она, очевидно, запямятовала и сочла то, что было вписано поэтом в альбом ее, за посвященное ей.

Насмехавшаяся над 15-летним ухаживавшим за ней мальчиком, Екатерина Александровна встретилась с ним вновь через пять лет в салонах Петербурга, когда ей было уже двадцать три года и родные вывозили ее на балы с очевидным намерением выдать замуж. Сама Екатерина Александровна рассказывает о целом ряде своих обожателей в Москве, но злой рок не позволил

ей тогда с кем-либо из них соединить свою судьбу. От любви к некоему Г-ну она даже захворала. Осенью 1834 года она приехала из деревни в Петербург; немного погодя, приехал туда же из Москвы близкий друг Лермонтова, Алексей Александрович Лопухин, за которого родные очень желали выдать Екатерину Александровну, и к которому легю воспламеняющееся сердце девушки, по собственному ее рассказу, было полно нежной страсти еще прежде. 4 декабря на балу судьба опять свела Екатерину Александровну с Лермонтовым, только за несколько дней до того произведенным в офицеры.

„Я не видала Лермонтова с 1830 года, — пишет Екатерина Александровна. — Он почти не переменился... возмужал немного, но не вырос и не похорошел, и почти все такой же был неловкий и неуклюжий, но глаза его смотрели с большой уверенностью; нельзя было не смутиться, когда он устремлял их с какой-то неподвижностью“. Несмотря на то, что Екатерина Александровна любила другого и обрадовалась Лермонтову только потому, что он мог сказать, „когда приедет Лопухин“, эта девушка не преминула отнестись с вызывающей кокетливостью к молодому офицеру. Она обещала ему и кадриль, и мазурку, и в ответ на его замечания, что он помнит, как жестоко она обращалась с ним, когда он носил еще студенческую курточку, и поэтому в юнкерском мундире избегал встречать ее, сказала: „Ваша злопамятность и теперь доказывает, что вы сущий ребенок; но вы ошиблись: теперь и без ваших эполет я бы пошла танцевать с вами“. И дальнейший разговор, и ловкость, с какой Екатерина Александровна вводит Лермонтова в дом свой, на бал, который дается там через два дня, 6 декабря, и обращение с ним на этом втором вечере, и то, как она ни за что не хочет отдать поэту писанное им еще 15-летним мальчиком стихотворение — все изобличает в ней опытную кокетку. Екатерина Александровна была старше поэта и давно выезжала в свет. Может быть, не без основания, Лермонтов в письме к Сашеньке Верещагиной характеризует ее кокеткой. К Марфе Александровне Лопухиной он по поводу отношений Екатерины Александровны к брату ее, пишет 23 декабря 1834 года, следовательно, вскоре после встречи с ней следующее:

Скажите, я заметил, что брат Ваш как будто чувствует слабость к M-elle Catherine Soushkoff... Известно ли это вам?..

Дядя барышни, кажется, желал бы очень поженить их; да сохрани Господь!.. Эта женщина — летучая мышь, крылья коей цепляются за все встречное! Было время, когда она мне нравилась. Теперь она почти принуждает ухаживать за ней. Но не знаю, в ее манерах, в ее голосе, есть что-то жесткое, отрывистое,

отталкивающее. Стараясь ей понравиться, в то же время, ощущаешь удовольствие скомпрометировать ее, запутавшуюся в собственных сетях!»

Эти жесткие, дышащие презрением строки отчасти поясняются желаньем Лермонтова мстить Екатерине Александровне за прежнее жестокое, насмешливое отношение к нему, мальчику, жаждавшему любви и ласки. «Вы видите, — пишет он в другом письме, — что я мщу за слезы, которые пять лет тому назад заставляло проливать меня кокетство M-lle Сушковой. О, наши счеты еще не кончены! Она заставила страдать сердце ребенка, а я только мучаю самолюбие старой кокетки!» Должно быть, Екатерина Александровна прежде действительно жестоко поступала с Лермонтовым. К сожалению, о прежних отношениях мы знаем только из рассказов самой бывшей M-lle Сушковой («Записки»), В лермонтовских черновых тетрадях того времени сохранились лишь слабые указания на перенесенные им мучения.

Еще одно сердечное обстоятельство возбуждало Лермонтова против Екатерины Александровны. Это были отношения ее к Алексею Александровичу Лопухину. Михаил Юрьевич видел, что друга его детства, человека, с которым он до конца жизни оставался в отношениях самых искренних и откровенных, стараются завлечь, что девушка, которую он считает одаренной характером малоправдивым, начинает увлекать этого друга, что махинации подстроены и становятся опасными. Лермонтов решается не только мстить за себя, но и разорвать нити, которыми, полагал он, она опутывает его друга. Из записок Екатерины Александровны опять-таки ясно видно, что она колеблется между Лопухиным и Лермонтовым, но в рассказе своем она старается выставить и себя, и Лопухина жертвой лермонтовских козней. Если, как сейчас увидим, поступки Лермонтова по отношению к Екатерине Александровне недостойны серьезного человека и не могут быть извиняемы даже и желанием мстить ей за прошлое, то обвинение поэта в коварстве относительно своего друга и в обмане его совершенно не верно и, очевидно, не согласно с истиной. Лермонтов, без всякого сомнения, действовал с ведома А.А. Лопухина. Это видно из письма, которое он пишет в Москву своей двоюродной сестре уже после возвращения туда Лопухина из поездки его в Петербург. Откровенно описывая всю историю своих отношений к Екатерине Александровне, Михаил Юрьевич ссылается на то, что начало ее, конечно, было ей рассказано Алексисом (то есть Лопухиным). Затем в том же письме говорит о девушке (M-lle Ладыженской), которой интересовался Лопухин. Из всего этого

мы, полагаем, вправе сделать вывод, что оба друга, заметив слабую струнку Екатерины Александровны, подшутили над ней, с той разницей, что Лермонтов пошел дальше своего друга и не только отомстил M-lle Сушковой, но и воспользовался ее опрометчивостью для того, чтобы скомпрометировать ее, заставить в обществе заговорить о себе и приобрести репутацию опасного Дон Жуана. В то время того добивалась вся золотая молодежь — это было в моде.

Не будем передавать рассказы о всех разговорах и встречах, на которых подробно останавливается Екатерина Александровна Хвостова. Сестра ее, г-жа Ладыженская, близкая свидетельница того, что происходило, говорит обо всем иначе. Люди, не знавшие ничего, кроме рассказа самой Екатерины Александровны, сумели в нем проглядеть суть дела и вывести заключение, что героиня имела сильное поползновение завлечь молодого офицера в сети брачного союза и что поэт уклонился от чести быть мужем такой милой, предусмотрительной особы.

Сам Лермонтов, никогда не лгавший о себе, рассказывает об этой второй своей встрече с Екатериной Александровной в письме к Сашеньке Верещагиной, весной 1835 года:

Если и начал за ней ухаживать, то это не было отблеском прошлого. Вначале это было просто поводом проводить время, а затем, когда мы поняли друг друга, стало расчетом. Вот каким образом. Вступая в свет, я увидел, что у каждого был какой-нибудь пьедестал: хорошее состояние, имя, титул, покровительство... Я увидал, что если мне удастся занять собой одно лицо, другие незаметно тоже займутся мной, сначала из любопытства, потом из соперничества. Отсюда отношения к Сушковой. Я понял, что, желая словить меня, она легко себя скомпрометирует. Вот я ее и скомпрометировал насколько было возможно, не скомпрометировав самого себя. Я публично обращался с ней, как с личностью, весьма мне близкой, давал ей чувствовать, что только таким образом она может надо мной властвовать. Когда я заметил, что мне это удалось и что еще один дальнейший шаг погубит меня, я выкинул маневр. Прежде всего, в глазах света, я стал более холодным к ней, чтобы показать, что я ее более не люблю, а что она меня обожает (что, в сущности, не имело места). Когда она стала замечать это и пыталась сбросить ярмо, я первый публично ее покинул. Я в глазах света стал с ней жесток и дерзок, насмешлив и холоден. Я стал ухаживать за другими и под секретом рассказывать им те стороны истории, которые представлялись в мою пользу. Она так была поражена этим неожиданным моим обращением, что сначала не знала, что делать, и смирилась, что заставило говорить других и придало

мне вид человека, одержавшего полную победу; затем она очнулась и стала везде бранить меня, но я ее предупредил, и ненависть ее казалась и друзьям, и недругам уязвленной любовью. Далее она попыталась вновь завлечь меня напускной печалью, рассказывая всем близким моим знакомым, что любит меня; я не вернулся к ней, а искусно всем этим пользовался... Не могу сказать вам. как все это послужило мне: это было бы очень скучно и касается людей, которых вы не знаете. Но вот веселая сторона истории. Когда я сознал, что в глазах света надо порвать с ней, а с глазу на глаз, все-таки, еще казаться преданным, я быстро нашел любезное средство — я написал анонимное письмо: Mademoiselle, я человек, знающий вас, но вам неизвестный... и т.д.; я вас предваряю, берегитесь этого молодого человека; М. Л.-ов вас погубит и т.д. Вот доказательство (разный вздор) и т.д. Письмо на четырех страницах... Я искусно направил это письмо так, что он попало в руки тетки. В доме — гром и молния... На другой день еду туда, рано утром, чтобы во всяком случае не быть принятым. Вечером на балу я выражаю свое удивление Екатерине Александровне. Она сообщает мне страшную и непонятную новость, и мы делаем разные предположения; и я все отношу к тайным врагам, которых нет; наконец, она говорит мне, что родные запрещают ей говорить и танцевать со мной; я в отчаянии и, конечно, не беру сторону дядюшек-тетушек. Так было ведено это трогательное приключение, что, конечно, даст нам обо мне весьма нелестное мнение. Впрочем, женщина всегда прощает зло, которое мы делаем другой женщине (правило Ларошфуко). Теперь я не пишу романов. Я их переживаю...

То же рассказывает и Екатерина Александровна, но только на многих десятках страниц. И какая разница между этими рассказами! Лермонтов говорит просто и правдиво, нисколько не стараясь выгородить себя или вызвать к себе симпатию; даже и мысль о том, что он мстит за страдания, доставленные ему в детстве, кинута; очевидно, он не думает оправдывать себя. Г-жа Хвостова рассказывает совершенно иначе, с очевидным намерением возбудить сочувствие к себе, бедной, любящей девушке, обманутой волокитой-гусаром, умным и талантливым человеком, гениальным Лермонтовым, так злоупотребившим своим превосходством. Она сначала достигла своей цели: о Лермонтове по отношению к ней говорили с негодованием. К характеру поэта, и так уже подверженному нареканиям, прибавилась еще крупная антипатичная черта. Мало кому приходило в голову, что дело обстояло иначе и что бой происходил не между невинной молодой девушкой и искусившимся сердцеедом, а совершенно наоборот.

Двадцатилетний мальчик, едва кончивший свое воспитание и вошедший в общество только за несколько дней перед тем, попадает в руки искуснейшей кокетки, старше его несколькими годами, лет семь выезжавшей и кружившей головы целому ряду поклонников из столичной и нестоличной молодежи. Эта кокетка уже раз измяла сердце 15-летнего мальчика-поэта и теперь принимается за него и за его близкого друга, чтобы того или другого опутать и связать узами Гименея.

Мы не оправдываем поступков Лермонтова, но и не можем обвинять его не в меру.

Расчеты Лермонтова оправдались. Друга своего Лопухина он вырвал из мягких кошачьих лапок красавицы. За себя он ей мстил, да еще заставил «послужить себе». До того ничтожно было общество петербургских гостиных, лишенное всяких серьезных интересов, что эпизод с M-lle Сушковой действительно обратил внимание на молодого гусарского офицера. Сама виновница успеха рассказывает, как теперь им заинтересовался целый ряд лиц, и Саша Ж., и Лиза Б. Особенно последняя сильно влюбилась в поэта, и, бедная, тоже погибла от этой любви («Записки»)! Заинтересовались и другие. Вообще об этом случае заговорили в обществе и, следовательно, обратили внимание на Лермонтова. Графиня Е. Ростопчина, очевидно, имеет в виду это время жизни поэта, когда в воспоминаниях своих замечает:

«Мне случалось слышать признания нескольких из жертв Лермонтова, и я не могла удержаться от смеха, даже прямо в лицо при виде слез моих подруг, не могла не смеяться над оригинальными и комическими развязками, которые он давал своим злодейским, донжуанским подвигам. Помню, один раз, он, забавы ради, решился заместить богатого жениха, и, когда все считали уже Лермонтова готовым занять его место, родные невесты вдруг получили анонимное письмо, в котором их уговаривали изгнать Лермонтова из своего дома и в котором описывались всякие о нем ужасы. Это письмо написал он сам, и затем он более в этот дом не являлся».

К такого рода проделкам общество относилось тогда очень снисходительно. Принимая во внимание нравы времени, приходится быть более снисходительным к молодому корнету, платившему ему дань.

Надо удивляться, как еще в вихре светских похождений и товарищеской жизни Лермонтов сохранил столько серьезных интересов и внутренней чистоты, что не только не погиб в этих своих увлечениях, но ставил им верную оценку и не давал брать верх над собой. Идя с жизнью и с бытом своего времени, он относился к ним, как наблюдатель и критик, и собирал

материалы для будущих своих сочинений там, где ему приходилось сталкиваться с разными людьми: на балах ли генерал-губернатора Петербурга, графа Эссена, адмирала А.С. Шишкова и других, или на маскарадах и столичных вечерах, в кругу пирующей и мечущей банк молодежи, позднее в лагере боевой жизни, на кавказских водах, в сакле чеченца и т.д. «Я на деле заготовляю материалы для многих сочинений», — говорил Лермонтов M-lle Сушковой, когда она спрашивала его, зачем он так ведет себя.

Если в Петербурге судьба не поставила на пути поэта ни одной женщины, любовь к которой очистительно подействовала бы на душу, то до некоторой степени пробел этот был выполнен дружбой к двум девушкам в Москве, о влиянии которых мы уже имели случай говорить. Александра Верещагина и Марья Александровна Лопухина связывали воспоминания поэта с лучшими годами его юности, с идеальными его стремлениями его университетских лет. Друг и товарищ Лермонтова А.П. Шан-Гирей в воспоминаниях своих замечает: «Miss Alexandrine, то есть Александра Михайловна Верещагина, кузина поэта, принимала в нем большое участие, она отлично умела пользоваться немного саркастическим направлением ума своего и иронией, чтобы овладеть этой беспокойной натурой и направлять ее, шутя и смеясь, к прекрасному и благородному». Приводя два письма сестер Верещагиных к поэту, Шан-Гирей говорит: «Письма эти доказывают, какое нежное чувство дружбы могли иметь к нему женщины, замечательные по умственным и душевным качествам своим». Память этих девушек была чрезвычайно дорога ему, и он высоко чтил их мнение о себе. Утопая в вихре рассеянной жизни после выхода в офицеры, Лермонтов как бы совестился писать им. После письма, писанного к М.А. Лопухиной, 23 декабря 1834 года, ближайшее дошедшее до нас письмо помечено 31 мая 1837 года. Нет сомнения, что целый ряд этих любопытных писем утрачен. Все наши поиски остались безуспешными, и нам пришлось убедиться, что Марья Александровна действительно сожгла их, — слух, которому сначала мы отказывались верить. Причиной сожжения были некоторые семейные тайны, а, может быть, и просто вспышка неудовольствия на то, что часть писем, ныне находящихся в издании сочинений Лермонтова, попала в печать против воли Марьи Александровны.

Если ныне существующий в этих письмах пробел и был не так велик, тем не менее не подлежит сомнению, что Лермонтов долго не писал своему другу, боясь навлечь на себя его неудовольствие за свое недоброе поведение. Самое письмо от 23 декабря, говорящее об образе жизни, который стал он вести, есть исповедь,

как называет его сам поэт. Затем в письме к Верещагиной, писанном весной 1835 года, он прямо говорит:

О, милая кузина, надо признаться вам, почему я не писал более ни вам, ни M-lle Marie. То был страх, чтобы из писем моих вы не заключили, что я почти недостоин более дружбы вашей... Перед обеими вами я не могу скрывать истины, перед вами, которые были наперсницами юношеских моих мечтаний, столь прелестных, особенно в воспоминании.

При пылкости характера поэтов и их врожденной впечатлительности являются как бы естественными те бурные увлечения, которым предаются они при вступлении в жизнь. Известно, что кутежи привели юношу Гете на край могилы. Только железная натура спасла его. Пушкина буйная жизнь, которой он предался по выходе из лицея, довела до тяжкой болезни. Кутежи и потрата таланта на произведения весьма скабрезного свойства не мешали, однако, ему в тиши кабинета предаваться серьезному служению музам. И Лермонтов, несмотря на рассеянный образ жизни, в которой прожигал он силы и молодость, трудится над своим образованием и над развитием своего таланта. Кроме посещения светских гостиных и кутежа в товарищеских кружках и салонах полусвета, поэт искал общества людей с серьезными интересами или примыкавших к литературному кругу. Последуем за ним туда, в тишину рабочего кабинета, где он вверял бумаге свои вдохновенные мысли.

ГЛАВА XI Литературная деятельность до первой высылки на Кавказ (1834-1837)

Дружба с А.П. Шан-Гиреем и С.А. Раевским. — Знакомство с А. Краевским и другими литераторами. — Народничество Лермонтова. — Интерес к родной истории и народному творчеству. — Боярин Орта. — Песня про Грозного царя, Кирибеевича и Калашникова. — Тамбовская казначейша. — Сашка. — Маскарад. — Арбенин. — Два брата.

Если в конце прошлой главы мы обещали ввести читателя в тишину рабочего кабинета поэта, то исполнение обещания встречает затруднение уже потому, что Михаил Юрьевич не особенно легко допускал людей в свою мастерскую. Он работал, работал упорно в тиши кабинета, но, выходя из него, показывал на лице полную противоположность того, что занимало душу и мысль его. Он высоко ставил значение поэта и редко дозволял людям касаться священных для него струн творчества. Никто с

ногами неомовен-ными не мог проникнуть в святую святых его храма. И тут он не делал различия между простыми смертными и записными литераторами; последних он опасался еще более первых. Достаточно, пожалуй, прочесть его «Журналиста, читателя и писателя», чтобы получить некоторое понятие об отношении Михаила Юрьевича к творчеству своему. К этому творчеству соприкасался, и то с внешней стороны, его родственник и товарищ детства Аким Павлович Шан-Гирей, которому он диктовал порой свои произведения или перечитывал их с ним. Но Шан-Гирей был моложе его и по тогдашнему своему развитию не мог быть даже отдаленно полезным сотрудником и ценителем. Иным являлось другое лицо, игравшее немалую роль в судьбе поэта.

Во все время пребывания в Петербурге Лермонтов находился в дружеских отношениях к университетскому товарищу своему Святославу Афанасьевичу Раевскому. Мать Раевского, рожденная Киреева, воспитывалась в доме Столыпиных и свела дружбу с Елизаветой Алексеевной, бабушкой Лермонтова, которая и крестила Святослава Афанасьевича, а во время учения его в Московском университете бабушка приютила крестника у себя. Раевский был старше друга своего года на три, и еще в Москве живо сочувствовал литературным его интересам, принимая деятельное участие в разных планах поэтического творчества. Окончив университетский курс, Раевский, переехав в Петербург, поступил на службу в Военное Министерство, но одни чиновничьи и служебные интересы его не удовлетворяли; он свел знакомство с людьми, имевшими литературные вкусы и стал между прочим вхож к А.А. Краевскому, который был тогда редактором «Литературных прибавлений» к «Русскому Инвалиду», и к которому по пятницам собирались литераторы. Раевский, временами живший в Петербурге вместе с Лермонтовым, ввел в кружки знакомых своих и Михаила Юрьевича, который, однако, еще раньше того бывал у Сенковского и у А.Н. Муравьева, автора известной книги путешествия по святым местам. Бывая у людей этих, Лермонтов охотно беседовал с ними один на один; в присутствии же других он молчал, иногда по целым вечерам. Юный поэт, очевидно, наблюдал за обществом и изучал его в разных сферах, в которых вращался. Скоро пришло ему на мысль написать комедию вроде «Горя от ума» Грибоедова, — рассказывает Муравьев. Эта мысль, очевидно, долго занимала поэта, и он работал над этой комедией, дополняя и переделывая ее несколько раз. Вообще интересы поэта сосредоточивались в это время на русской жизни и русском обществе. В нем, очевидно, еще не определился личный взгляд на вещи, что было немыслимо

в его годы. В нем давно жили патриотизм и горячая любовь к родине и ее прошлому. В первых произведениях Лермонтова мы уже встречаемся с этим началом. Он еще на 15-м году задумывает драму «Мстислав Черный» и затем набрасывает первый очерк своего известного стихотворения «Бородино». Теперь он его вновь вырабатывает. Еще было живо воспоминание о подвигах русских в наполеоновские войны, еще всюду слышались рассказы из того времени. Гению Наполеона противопоставлялся гений Александра, и вот Лермонтов пишет стихотворение «Два великана».

В шапке золота литого,
Старый русский великан
Поджидал себе другого
Из далеких южных стран.

Слава и политическое значение России были в то время огромны. Величию и премудрости ее монарха удивлялись иностранцы и приравнивали императора Николая к Петру. Неудивительно, что впечатлительный юный поэт увлекается общим настроением, и когда за границей, среди фимиама, куримого русскому царю, кто-то из французских журналистов, поднимая польский вопрос, высказался против него, Лермонтов вспомнил известное стихотворение Пушкина: «О чем шумите вы, народные витии», писанное при подобных же обстоятельствах. В 1835 году, как бы опираясь на знаменитую оду, он начинает свое стихотворение почти с тех же слов:

Опять, народные витии,
За дело падшее Литвы
На славу гордую России
Опять, шумя, восстали вы.
Уж нас казнил могучим словом
Поэт, восставший в блеске новом...

Кончается оно намеком на упомянутого дерзкого журналиста, посмевшего кинуть грязью клеветы в русского царя. Говорили тогда, что редактор этой газеты был подкуплен нашими ненавистниками. К этому случаю и относятся последние строки стихотворения:

Так в дни воинственного Рима,
Во дни торжественных побед,
Когда триумфом шел Фабриций,
И раздавался по столице
Восторга благодатный крик,
Бежал за светлой колесницей
Один наемный клеветник.

Любопытно, что в этом стихотворении высказываются мысли

о единстве царя с русским народом, что иностранцами ставилось в особую заслугу императору Николаю, умевшему будто сблизить народ с правительством, тогда как на западе в это время между ними была полная рознь. В умении этом видели также исправление петровской ошибки, сделавшей русского царя и правительство чуждыми народу. Иностранцы говорили, что Николай Павлович пополнил искусственную пропасть, отделявшую народ от натурального властителя его. Вообще тогдашний образ мыслей Лермонтова чрезвычайно интересен. В нем заметны взгляды, сказавшиеся и в кружке московских славянофилов. Муравьев даже видел сходство между ним и Хомяковым. «Лермонтов, — рассказывает он, — просиживал у меня по целым вечерам; живая и остроумная его беседа была увлекательна, анекдоты сыпались, но громкий и пронзительный его смех был неприятен для слуха, как бывало и у Хомякова, с которым во многом имел он сходство; не один раз просил я и того и другого: „смеяться проще“. Не станем входить в разбирательство сходства внешних приемов обоих поэтов. Люди, близкие к Хомякову, все находили его искренним и таковым же и смех его. Впрочем, и близкие к Лермонтову тоже говорили, что был он в высшей степени искренний человек, и что смех его был по-детски весел и заразителен. Это весьма вероятно, судя по выражению его губ, „детски нежных“, как говорит о них Тургенев. При людях малознакомых или несимпатичных ему Лермонтов бывал чрезвычайно не откровенен, и тогда его смех имел что-то неестественное и потому неприятное. Но неоткровенность и неискренность не синонимы; а это часто смешивают. Можно быть чрезвычайно искренним, но не откровенным человеком! Нам не случалось слышать мнение о том, каков был Хомяков с людьми, с которыми он не желал быть откровенным, да и не в этом дело; оно и не в том, чтобы добиваться уяснения сходства приемов Лермонтова и Хомякова, тоже начавшего свою карьеру в звании офицера русских войск. Всякая параллель между ними трудна потому, что Хомяков перед нами является зрелым человеком с глубокой и серьезной душой, человеком, положившим основание целому учению, написавшему несколько томов книг, исторического и философского содержания. Его деятельность как поэта почти пропала в целом созданном им мире трактатов и наблюдений. Лермонтов — юноша, перед самой смертью своей на 27-м году жизни только еще начинавший выказывать задатки будущего зрелого миросозерцания. Мысль его едва еще принимала сознательное участие в ходе дел и мировых вопросов. Но ведь и Хомяков был молод, и он долго имел известность лишь как поэт, и если мы сравним высказываемые им мысли, особенно

в одни с Лермонтовым годы, то не можем не видеть некоторого их сходства. Разве в стихотворении Лермонтова „Родина“ не видно намека на то же, что говорится Хомяковым в стихотворении „К России“, начинающемся словами: „Гордись, тебе льстецы сказали“. Лермонтов в год смерти еще выражает мысль, что любит родину особою любовью, не за то, за что ее прославляют, не за политическое могущество и военную славу. „Ни слава, купленная кровью, ни полный гордого доверия покой, не шевелят в нем отрадного мечтанья“. Хомяков в упомянутом стихотворении, говоря о прославлении России за военные подвиги, за ее громаду и силу, восклицает: „Не верь, не слушай, не гордись всем этим прахом“! — Оба поэта одинаково поражены фактом перенесения останков Наполеона с острова Св. Елены в Париж, и мысли ими но этому поводу высказываемые не лишены некоторой аналогии. При сравнении Михаила Юрьевича с Хомяковым любопытно и многозначительно отношение первого к западным народам.

Вопросы о правах человечества, о правах народности и самостоятельного ее развития всегда занимали юного поэта. Изучая наше прошлое и, вместе с тем, следя за литературным движением запада, Лермонтов не мог не натолкнуться на одно весьма любопытное обстоятельство, которое сказалось и в славянофильском направлении нашего общества. В Западной Европе стремились познать свое народное направление, затертое псевдогрекоримской образованностью. Латинский язык и католическая ученость веками изводили народное слово, творчество и мировоззрение. Когда опять проснулось чувство народности, когда народы, жаждая обновления, бросились отыскивать прирожденные им характерные особенности, пришлось воскрешать их из-под векового праха. Романтизму выпало на долю искусственно воссоздавать народные верования, поверья и образы. Известно, что некоторые из первых наших славянофилов, основателей учения, дополняли свое образование в германских университетах. Это было именно то время, когда пробужденная после долгого сна народная германская муза царила над умами, и романтизм проповедовался с кафедр профессорами литературы, истории и философии. Все лучшие силы бросились на изучение своего родного, народного. Под впечатлением этого направления вернулись из-за границы славные наши молодые люди. (Иван Киреевский под обаянием слышанного начал издавать журнал „Европеец“). Но только стали они применять западный метод у себя дома, как тотчас наткнулись на замечательное явление. Оно, быть может, и не сейчас же было сознано ими вполне, но должно было круто

изменить их направление. Начав изучать свое прошлое, они увидали совершенно другие начала, а главное столкнулись с народом, который жил еще своим миром, у которого были свои герои, свои песни, свои нравственные образы. Тут нечего было воскрешать, нечего создавать, тут все приходилось только изучать, приходилось учиться понимать существующие явления. Тут не было места западному романтизму, тут все существовало, все было реально; эпос, песни, поверья. Никакая чуждая образованность под опекою „непогрешимого“ папизма не успела искоренить их огнем и мечом. Для нас романтизм остался чужим, непривившимся растением.

Это узнал и Лермонтов. Он тоже не мог себе дать ясного отчета в том, куда приведут новые открытия. Он чуял только, что русско-славянский мир начинает дорабатываться до иного сознания и вступает на новую стезю человеческого развития. Он видел у нас здоровье, на Западе болезнь. Это, казалось, сходилось с мнением о нас западных пришельцев, убегавших от тамошней неурядицы и встречавших, как казалось им, у нас стройность, спокойное сознание силы и гармонию между обществом и правительством. Лермонтову Запад стал представляться изжившимся стариком, болезненно мечтающим о задатках юности, им попранных. Он видел, что Европейский мир, как мир Римский в свое время, должен уступить новому свеже'му элементу. Этот элемент во всемирную историю человеческого развития внесет славянство с Россией во главе. Напрасно Запад простирает руки к образам, им давно покинутым и беспечно забытым.

20 февраля 1836 года Лермонтов перелагает на русский язык известное стихотворение Байрона „Умирающий гладиатор“, и к нему присовокупляет своих 15 строк, неизвестно почему тогда не вышедших в печати:

Не так ли ты, о Европейский мир,
Когда-то пламенных мечтателей кумир,
К могиле клонишься бесславной головою,
Измученный в борьбе сомнений и страстей.
Без веры, без надежд, игралище детей —
Осмеянный ликующей толпою!
И пред кончиною ты взоры обратил
С глубоким вздохом сожаленья
На юность светлую, исполненную сил,
Которую давно для язвы просвещения
Для гордой роскоши беспечно ты забыл;
Стараясь заглушить последние страданья,
Ты жадно слушаешь и песни старины,

И рыцарских времен волшебные преданья —
Насмешливых льстецов несбыточные сны.

Думы и занятия Михаила Юрьевича делают ему тем более чести, что он попал в кружки, где не сталкивался с лицами, которые бы могли ему распутать нити противоположных мыслей. Таких людей он в Петербурге не мог встретить. Может быть, в московских тогдашних кружках он чувствовал бы себя лучше. На берегах Невы томившим его вопросам он не только не мог найти разъяснения, но и сочувствия. Не надо забывать, что приблизительно в то время, когда Лермонтов изучает сборник „Кирши Данилова“, Белинский глумится над всей народной русской поэзией, не признает ее... И что же это были за петербургские кружки?..

Панаев в своих литературных воспоминаниях от 1830-1839 года делает им печальное описание. Исключением был кружок Пушкина и частью князя Одоевского, но туда для начинающего совсем неизвестного поэта доступ был нелегок. Самолюбивый Лермонтов боялся быть назойливым: он не считал себя вправе явиться туда иначе, как талантом, заявившим себя мало-мальски крупным произведением. У Плетнева, бывшего центром всего лучшего литературного общества, Лермонтов побывал в первый раз уже гораздо позднее, в 1838 году, когда стихотворение на смерть Пушкина и напечатанная в начале года „Песня про Калашникова“ доставили ему почетную известность. Неудивительно, что поэт чувствовал себя одиноким. В 1836 году написаны им только несколько лирических пьесок, но между ними одна вполне выражает его душевное настроение:

Гляжу на будущность с боязнью,
Гляжу на прошлое с тоской,
И, как преступник перед казнью,
Ищу кругом души родной!
Придет ли вестник избавленья
Открыть мне жизни назначенье,
Цель упований и страстей?
Поведать, что мне Бог готовил,
Зачем так рано прекословил
Надеждам юности моей?
Земле я отдал дань земную
Любви, надежд, добра и зла.
Начать готов я жизнь другую...
Молчу и жду... Пора пришла...
И тьмой и холодом объята
Душа усталая моя...

Между тем занятия Лермонтова историей и стариной России

внушили ему написать поэму из русской жизни, в которой действующим лицом является боярин времен Иоанна Грозного, личность которого всегда занимала поэта. Поэма эта — „Боярин Орша“ — написана около 1835 года. Набело для печати она переписана позднее, и на этой рукописи выставлен 1836 год. Она тоже испытала несколько видоизменений. Конец ее Лермонтов переделывал несколько раз. В поэме, печатающейся в общем собрании сочинений, старый Орша, найдя послушника Арсения в комнате дочери, отдает его на суд монастырской братии, а дочь, заперев в комнате, предает голодной смерти. Такая расправа бывала и на Западе, и у нас на Руси. Помнится, в „Библиотеке для чтения“, кажется, в пятидесятых годах печатались воспоминания старого крепостного служителя о жизни богатого барина помещика, замуровавшего непослушную ему сноху, слишком страстно привязанную к мужу. По прошествии многих лет разнесли стену и нашли труп несчастной женщины, давно считавшейся без вести пропавшей.

В то время, как уже было сказано, Лермонтов изучал русскую старину и народные поверья да песни. Уже пятнадцатилетним мальчиком он интересовался ими. Теперь он серьезнее изучает их и особенно прилежно читает известный сборник: „Древние Российские стихотворения, собранные Киршей Даниловым“. Его увлекает характер и лад русской былины, и в нем зарождается мысль составить песню, в которой выразилась бы русская жизнь в знаменательный период московской истории — царствование Иоанна Грозного.

Хотя знаменитая „Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова“ и была окончательно отделана позднее и в первом своем виде появилась в начале 1838 года, но уже в 1836 году Лермонтов ее задумал и готовился написать, а может быть, частью и написал уже, дав затем произведению этому вылежаться, что было в его привычках творчества.

Во время пребывания Михаила Юрьевича в университете произошел случай увоза красавицы жены купца, жившего в Замоскворечье по-старинному. Купец торговал в Гостином дворе, а хозяйством его заведовала старуха. Проживавший в Москве после польской компании, оправившийся от полученной раны, лихой гусар, тщетно ухаживающий за приглянувшейся ему женой купца, похитил ее с улицы, когда она возвращалась из церкви. Муж отомстил за поругание семьи и затем, арестованный, наложил на себя руки. Случай этот, глубоко затронувший поэта, остался не без влияния на „Песню о Калашникове“.

Весьма возможно тоже, что сам сюжет взят поэтом из какого-

либо рассказа о грозном царе, но некоторые картины и образы навеяны былинными песнями, которыми Михаил Юрьевич зачитывался в сборнике Кирши Данилова. Так, сцена пирования Ивана Грозного нарисована по образцу народных песен. В былине „Ставр боярин“ поется, что

Во стольном было городе, во Киеве
У ласкова Государя, Князя Владимира,
Было пированье, почестный пир,
Было столованье, почестный стол
На многи князи и бояра
И гости богатые...
Князи, бояре пьют, едят, потешаются,
И только из них один боярин
Ставр Годинович не пьет, не ест...
Кирша Данилов

Такой же пир описан в былине „Мастрюк Темрюкович“. Пьет царь, и пьют бояре, и князья, и могучие богатыри. И доносят царю:

А и гой еси, Царь Иван Васильевич!
Все князи, бояре, могучие богатыри
Пьют, едят, потешаются...
Один не пьет, да не ест царский гость дорогой
Мастрюк Темрюкович, молодой Черкешенин.

Этот Темрюкович мог явиться для Лермонтова прототипом удалого бойца Кирибеевича. Он тоже любимый боец и шурин царский, как Кирибеевич, принадлежащий к роду Скуратовых, который был в свойстве с Грозным. Темрюкович побивает всех бойцов, что делал и Кирибеевич. Оба они хвастают и глумятся над боязливыми супротивниками. Темрюкович в сборнике Кирши Данилова:

Кричит во всю голову, чтобы слышал Царь Государь:
„А свет ты вольный царь, царь Иван Васильевич,
Что у тебя в Москве за похвальные молодцы, поученые,
славные?
На ладонь их посажу, другой рукой раздавлю“.

У Лермонтова Кирибеевич на просторе похаживает,
Над плохими бойцами подсмеивает:
„Присмирели, небось, позадумались!
Так и быть обещаю для праздника,
Отпущу живого с покаянием,
Лишь потешу царя, нашего батюшку“.

Темрюковича побивает наконец Мишка Борисович, человек роду незнатного, как Кирибеевича Степан Парамонович — сын купеческий.

Перечитывая разные былины в сборнике Кирши Данилова, удивляешься, как Лермонтов усвоил себе склад и выражения народной речи. Видно, он и долго и много изучал их. Тут встречаешь и седельце бранное черкасское, и очи слезные, что выклюет коршун, и описание утренней зари:

А по утру рано ранешенько,
На светлой заре, рано-утренней.
На восходе красного солнышка...

У Лермонтова:

Над Москвой великой, златоглавою,
Над стеной Кремлевской белокаменной,
По тесовым кровелькам играючи,
Тучки серые разгоняючи,
Заря алая подымается...

В былине Кирши Данилова мы встречаемся с именем Настасья Дмитриевна, напоминающим собой Алену Дмитриевну у Лермонтова. Кирибеевич влюблен в нее, но скрывает от царя, что она

В церкви Божией перевенчана.

У Лермонтова Иван Годинович тоже опаздывает со своей любовью. Песня говорит:

Глупый Иван, неразумный Иван!
Где ты Иванушка, перво был?
Ныне Настасья просватана,
Душа Дмитриевна запоручена...

Восприняв в себя дух и лад народной речи, молодой поэт создал чудную повесть из прежнего русского быта. „Гомеровская верность, сила и простота видны в ней“, — так выражается о „Песне про царя Ивана Васильевича, Кирибеевича и Калашникова“ германский поэт и знаток Лермонтова Боденштедт. „Чтобы точнее определить значение Лермонтова в русской и во всемирной литературе, — говорит он, — следует прежде всего заметить, что он выше всего там, где становится наиболее народным, и что высшее проявление этой народности (как песня о царе Иване Васильевиче) не требует ни малейшего комментария, чтобы быть понятной для всех“.

Боденштедт рассказывает также, какое сильное впечатление производило в Германии чтение перевода этой песни. В свое время к русской критике уже Шевырев указывал на то, с каким мастерством Лермонтов умел усвоить себе черты народного творчества и как исторически верно схвачен характер лиц, выставленных им в этом знаменитом произведении; Хомяков приходил в восторг от этой песни. Полагаем, что не скажем лишнего, если заметим, что сохранись из творений Лермонтова

одна эта песня — слава и значение его были бы упрочены как в нашей родной, так и во всемирной литературе. Интересной иллюстрацией к настроению поэта в годы, когда он писал свою песню про Иоанна Грозного, может служить рассказ о том, как, побывав зимой 1836 года в Тарханах, Лермонтов устраивает между крестьянами кулачный бой. Бои эти существовали в некоторых великорусских губерниях и на Волге вплоть до середины XIX века. Довольный виденным боем Лермонтов подарил крестьянам несколько участков леса и особенно одарил победителя — молодого парня из Тархан. Видно, поэта занимала картина кулачного боя, как сильно распространенная в прошлом русская национальная потеха. Впрочем, забава эта была известна поэту еще с детских дней. В то время кулачные бои происходили зимой на замерзшем пруду помещичьего сада в Тарханах.

В эту поездку, следуя по совету бабушки через Тамбов, Лермонтов был свидетелем или узнал о происшествии, которое воспел под именем „Тамбовский казначейши“; так и следует именовать это произведение. В печати оно появилось под именем просто „Казначейши“, а не тамбовский, по соображениям цензурным. Слово Тамбов вообще было выброшено и заменено точками.

Тогда же, или за год, Лермонтов в Тарханах стал писать поэму „Сашка“, пользуясь набросками, сделанными им в разное время и, между прочим, еще в Юнкерской школе в тетрадке „лекций по географии европейских государств в военном отношении“. Произведение это, интересное своим автобиографическим значением, любопытно теплотой воспоминаний о Москве и Московском университете. Оно осталось неоконченным, вероятно, потому, что в нем еще слишком сказывался дух произведений скабрезного свойства, вышедших из-под пера поэта во время пребывания его в „юнкерской школе“. Некоторые стихи, писанные им в то время, вошли в поэму. Лучшие строфы из нее Михаил Юрьевич перенес позднее в другие свои произведения.

Лермонтов делил время свое между кутежами да пустыми удовольствиями, и серьезной думой, и литературными занятиями. Привыкший наблюдать за собой и окружающим, поэт не мог не относиться к переживаемому критически. Неудовлетворение собой за мелкую недостойную жизнь, которую вел он, и презрение к пустому обществу, среди которого вертелся, — все вместе вызвало в поэте желание написать драму или комедию, долженствовавшую быть резкой критикой на современные нравы. Кажется, на него подействовало чтение грибоедовской комедии „Горе от ума“, ходившей по рукам в

рукописи, так как цензура не дозволяла ее печатания, не говоря уже о запрещении постановки на сцене. Тогда-то была задумана Лермонтовым драма „Маскарад“, за которую он и взялся, а затем несколько раз ее переделывал, когда цензура постановку ее не разрешала, несмотря на протекцию. Препятствовало тому и третье отделение, и смягчить его не могло заступничество А.Н. Муравьева, просившего двоюродного брата своего Мордвинова, начальника этого учреждения, о снисхождении. „Мордвинов оставался неумолим; цензура получила даже неблагоприятное мнение о заносчивом писателе, что ему вскоре отозвалось неприятным образом“. На строй и манеру писать повлиял, однако, не Грибоедов, а Шекспир, по крайней мере, что касается группировки фактов и пружин действия. Приглядываясь к драме „Маскарад“, в этом нетрудно убедиться, тут несомненно влияние „Отелло“. Как там ревность вызвана пропажей платка, так здесь играет роль украденный браслет. В князе Звездиче мы находим черты Яго; в Нине — Дездемоны; в Арбенине — Отелло. Но если влияние Шекспира несомненно, то несомненно и то, что Лермонтов старался изобразить нравы нашего общества и описать то, что сам он видел, что сам в нем пережил. Ему хотелось выставить ничтожество светского общества. С этой стороны он находится под влиянием произведения Грибоедова.

Рисуя знакомую ему светскую молодежь и ее интересы и времяпровождение, Лермонтов выводит на сцену картежника в образе Шприха, мелкого самолюбивого князя Звездича с условным, чисто внешним понятием о чести. Ему под стать баронесса Штраль. Интереснее их Арбенин, этот мрачный и умный человек с сильными стремлениями, очевидно, желающий стать выше среды, в которой живет, и не могущий этого сделать. Он стоит в самой жизни и среди ее требования и предрассудков и не может из них высвободиться, хотя сильный дух его и требует иных рамок. Оттого-то он запутался и не понимает себя так же, как не понимают его другие:

Сначала все хотел, потом все презирал я,
То сам себя не понимал я,
То мир меня не понимал.

Арбенину хотелось жить не только широкой, но и глубокой мыслью, и жить деятельно; он, как Фауст, хотел обнять весь мир и все знание. Но он родился в тесной сфере. В условиях, среди которых приходилось ему жить, не было тех широких взмахов, того пульса, который бился в богатой жизни европейского общества, пережившего много фазисов развития. Арбенин, существуя в тесном кружке светского общества или примыкающего к нему полусвета, говорит то же, что Фауст:

...я все видел,
Все перечувствовал, все понял, все узнал,
Любил я часто, чаще ненавидел,
И более всего страдал...

Но что же он мог перечувствовать, понять и узнать? Какие глубины могла ему открыть жизнь в тесном кругу тогдашних официальных и общественных условий? Арбенин чуял разлад:

И жизни я своей узнал печать проклятья,
И холодно закрыл объятья
Для чувств и счастья земли.

Можно упрекнуть Лермонтова за то, что он не дал своему герою более широких основ, что он ограничил их тесными рамками светского общества. Он бы мог уйти в глубь исторической жизни, жизни народной, и на них изобразить характер героя. Это совершенно верно. Мы того мнения, что „Маскарад“ — произведение совершенно неудачное: Лермонтов был еще слишком молод, чтобы браться за серьезную драму. Сам-то он ведь только сошел со школьной скамьи и жизнь знал лишь в известных сферах ее проявления. Поэт еще не мог разобраться, он путался в материале личных дум, молодой житейской опытности и много им прочитанного в произведениях великих поэтов. Оттого у него является желание бичевать современное общество, как это сделал Грибоедов, и изобразить страсть, глубокую, как у Шекспира. Оттого в его Арбенине проскальзывают черты, с которыми он ознакомился в „Фаусте“ Гете, в „Манфреде“ Байрона, в „Рене“ Шатобриана, в „Коварстве и любви“ Шиллера и других драмах. В „Маскараде“ является „неизвестный“, l'inconnu французских драм, совершенно не вяжущийся со всем построением и задачами русской жизни и, следовательно, русской драмы.

Михаилу Юрьевичу страшно хотелось выступить на литературное поприще одновременно и в печати, и на сцене театра.

Хлопоты относительно постановки на сцену „Маскарада“ были менее удачны. Цензура его не одобрила. „Драма „Маскарад“, — рассказывал Лермонтов, — отданная мной на театр, не могла быть представлена по причине (как мне сказали) слишком резких страстей и характеров и также потому, что в ней добродетель недостаточно награждена“. Поэту так хотелось видеть свое произведение на сцене, что он в угоду цензуре принялся за переделку драмы, и таким образом явилась вторая редакция ее, не говоря уже о некоторых переделках более мелких, дошедших до нас в различных списках. Эта переделка самим поэтом была названа уже не „Маскарад“, а именем главного

действующего лица „Арбенин“.

Лермонтов, видимо, желал смягчить „резкость страстей“, за которые упрекала его цензура. Оттого Арбенин уж не отравляет жены своей, как это имеет место в первой обработке, а только пугает ее тем, что отравил ее, чтобы узнать истину:

... Перепугал немного!
Хотел знать правду и узнал...
Опомнитесь и встаньте; я солгал,
Я не ношу с собою яда...
В вас сердце низкого разряда,
И ваша казнь не смерть, а стыд...

Цензура требовала, чтобы была вознаграждена добродетель, и вот Лермонтов делает и ей уступку. Он выбрасывает из драмы: баронессу Штраль, неизвестного, чиновника и вводит новое лицо Оленьку, бедную, добрую, чрезвычайно скромную девушку, которую он сначала несправедливо заподазривает, а затем, сознав свою ошибку, разбитый уходя из дому, навсегда порывая счастье свое, дает ей аттестацию благородной души и обещает обеспечить будущность:

Я еду. Оленька! Прощай!
Будь счастлива — прекрасное созданье,
Душе твоей удел — небесный рай —
Душе благородных воздаянье.
Как утешенье, образ твой
Я унесу в изгнание с собой.
Пускай прошедшее тебя не возмущает.
Я будущность твою устрою: ни нужда,
Ни бедность вновь тебе не угрожает.

Вся эта переделка неудачна и менее сценична. Она только доказывает, что Лермонтов не дорос еще до драмы. По нашему мнению, первая редакция гораздо лучше, и она, а не вторая, может быть даваема на сцене. Это станет ясно для каждого, кто сравнит их, имея в виду театр. П.А. Ефремов, впервые напечатавший текст этот, ставит вопрос, не считать ли первую редакцию „ранним первоначальным наброском пера?“ Обе редакции вышли в течение одного года. Появление второй можно объяснить только страстным желанием начинающего писателя во что бы то ни стало увидать свою пьесу на подмостках и потому готового сделать всевозможные уступки и торопливо изменяющего, на что ему указано, и исправляющего, что считается неудобным теми, от которых зависит дать позволение постановки. Мы полагаем, что поэт был благодарен цензуре за недопущение и этой второй редакции. Но это могло быть лишь позднее, когда суждения поэта стали зрелее, потому что в это

время он пишет еще драму, тоже вполне неудачную, до такой степени неудачную, что прежние издатели не задумались причислить ее в один разряд с юношескими драмами „Испанцы“, „Странный человек“ и проч. и в отдельном изданном томике отнести к 1831 году. Так оно прежде казалось и нам, но теперь мы можем положительно сказать, что она писана в начале 1836 года в Москве и Тарханах и тоже имеет автобиографическое значение. О ней-то Лермонтов пишет в письме к Раевскому: „Пишу четвертый акт новой драмы, взятой из происшествия, случившегося со мной в Москве“, что именно случилось с Михаилом Юрьевичем в Москве, трудно сказать с достоверностью, но догадаться возможно, и данные есть.

Бабушка поэта, Арсеньева, выехав из Петербурга еще весной 1835 года в Тарханы, ждала своего любимого внука к себе на побывку. Долго не удавалось Михаилу Юрьевичу получить отпуск, и давно приготовленный бабушкой экипаж с разными затеями ожидал его напрасно. Наконец 20 декабря Михаил Юрьевич получил отпуск и уехал через Москву, Рязань, Козлов и Тамбов. Шаловливое настроение духа его не оставляло. В первый раз после университетских лет он вновь посещает любимый им город с воспоминаниями детства и юности. После неприглядных лет петербургского существования Москва должна была повеять чем-то родным и близким. Образы и думы лучших дней, попранные и забытые в вихре товарищеской и салонной жизни, вновь вставали перед ним. Он вновь должен был увидаться с друзьями прежних лет, встретиться с теми женщинами, которые поднимали дух его и связывали добрые черты его характера и гения с лучшим прошлым. В Москве жили Александра Верещагина и Марья Лопухина. Немудрено, что охватившее зыбкую душу поэта счастливое настроение воскресило многое умершее или заснувшее в Петербурге, и что при таком состоянии с новой силой заговорило чувство любви к особе, теперь для него пропавшей. Она вышла замуж в 1835 году. Свидание с ней больно затронуло сердце поэта и утраченное счастье преисполнило его чувством ревности и ненависти к похитителю его. Привычка Михаила Юрьевича перелагать на бумагу все переживаемое, побуждает его и теперь дать выражение своему чувству. Только недавно в Петербурге работал он над драматическим произведением и теперь для выражения овладевших им чувств выбирает он драматическую же форму. Кроме того, влечет его к ней и то обстоятельство, что чувства свои к любимому существу он уже изображал в юношеской своей драме „Странный человек“, выведя ее в лице Загорскиной, а себя во Владимире. Теперь в драме „Два брата“ Загорскина только что вышла замуж за князя

Литовского. Юрий Радин, после 4-летнего отсутствия приехавший из Петербурга молодой гусарский офицер, узнает эту неожиданную весть. Отец его Дмитрий Петрович говорит ему:

Разве не знаешь?.. Варенька Загорскина вышла за князя Литовского. Твоя прежняя московская страсть?..

ЮРИЙ. А?.. так она вышла замуж за князя?

ДМИТРИИ ПЕТРОВИЧ. Как же, 3000 душ и человек пречестный, предобрый.

ЮРИЙ. Князь! И 3000 душ!.. А есть ли у него своя в придачу?

ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ. Он человек пречестный и жену обожает, старается ей угодить во всем: только пожелай она чего, на другой же день явится у нее на столе. Все ее родные говорят, что она счастлива, как нельзя более...

ЮРИЙ. Признаюсь, я думал прежде, что сердце ее не продажно... Теперь вижу, что оно стоило несколько сот тысяч дохода...

ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ. Ох, молодые люди! Как тебе не стыдно? Ведь это просто зависть... Ты ее забыл, следовательно, не имел права требовать от нее верности; ты ведь сам чувствуешь, что она поступила бы безрассудно, если б надеялась на ребяческую твою наклонность...

Любопытно, что, в рукописи, переписанной чужой рукой и только исправленной Лермонтовым, слова, поставленные нами в курсив, им вычеркнуты.

Михаил Юрьевич, очевидно, старался некоторой частью драмы держаться весьма близко к истинному ходу происшествия. Он сохраняет 4 года, время отделившее его от выезда из Москвы летом 1832 до посещения ее к началу 1836. Он Юрия изображает гусарским офицером, приехавшим в отпуск, и в первой сцене уже дословно почти рисуется история его отношений к любимой женщине. Нет сомнения, что поэт желал, чтобы действующие лица были узнаны. Он повторил то, что имел в виду, написав „Странного человека“, в предисловии к которому говорит: „Лица, изображенные мной, все взяты с природы, и я желал бы, чтоб они были узнаны“.

Но об истории любви Лермонтова мы будем говорить в своем месте.

Вообще надо удивляться тому, сколько было написано и задумано поэтом со временем выхода его из школы. Прервавшийся в конце 1832 года поток деятельности с конца 1834 года опять бьет усиленнее, несмотря на рассеянную жизнь, которую ведет поэт с выходом в офицеры. Однако деятельность эта была прервана неожиданным событием, сразу давшим жизни Михаила Юрьевича совсем другое направление.

ГЛАВА XII

Предсмертная дуэль Пушкина. — Впечатление смерти Пушкина на общество. — Толки. — Отношение к ним Лермонтова. — Стихи на смерть поэта. — Распространение стихов. — Арест Раевского и Лермонтова. — Следствие и показание Лермонтова. Приговор. — Отношение Лермонтова к Раевскому.

Еще молодой поэт наш делил свои досуги между рассеянной жизнью столичных гостиных, кутежами с товарищами-гусарами и серьезной думой и творчеством; еще двойственность существования томила и волновала его, когда в конце января 1837 года роковая весть о поединке А.С. Пушкина с исходом, грозившим смертью, потрясла Михаила Юрьевича, и так нервно расстроенного и тревожного. Он разразился известным стихотворением: „На смерть поэта“.

Обстоятельства, приведшие к этому роковому поединку, к гибели Пушкина, не раз рассматривались в печати. Напомним здесь только, что современное событию общество разделилось на два лагеря: одни обвиняли поэта, другие защищали его. Ходила молва, что Пушкин пал жертвой таинственной интриги из личной вражды, умышленно возбудившей его ревность; деятелями же были люди высшего слоя общества. Эта молва, по-видимому, была не лишена основания. Действительно, существовала великосветская интрига, которая и после смерти Пушкина, в высшем кругу, имела своих партизанов. Этим объясняется, почему на людей, открыто высказывавшихся за Пушкина и горячо порицавших его противников, было воздвигнуто гонение. Вот почему тоже следственная комиссия по делу о стихах на смерть Пушкина обратила особенное внимание на записку А.А. Краевского к Раевскому, писанную после ареста Михаила Юрьевича. „Скажи мне, что сталось с Лермонтовым? Правда ли, что он жил или живет еще теперь не дома? Неужели еще жертва, заклаемая в память усопшему? Господи, когда все это кончится?!“

Известен и выговор, сделанный Краевскому по поручению министра попечителем Петербургского учебного округа князем Дондуковым-Корсаковым, за то, что Краевский посмел слишком горячо говорить об умершем Пушкине.

„Я должен вам передать, — сказал попечитель Краевскому, — что министр (Сергей Семенович Уваров), крайне, крайне недоволен вами! К чему эта публикация о Пушкине? Что это за черная рамка вокруг известия о кончине человека не чиновного,

не занимавшего никакого положения на государственной службе? Ну да, это еще куда бы ни шло! Но что за выражения! „Солнце поэзии“... помилуйте, за что такая честь? „Пушкин скончался... в средине своего великого поприща“! Какое это такое поприще? Сергей Семенович именно заметил: разве Пушкин был полководец, военачальник, министр, государственный муж! Наконец он умер без малого сорока лет! Писать стишки не значит еще, как выразился Сергей Семенович, проходить великое поприще! Министр поручил мне сделать вам, Андрей Александрович, строгое замечание и напомнить, что вам, как чиновнику министерства народного просвещения, особенно следовало бы воздержаться от подобных публикаций“.

„Впрочем, — прибавляет сообщающий этот факт Ефремов, — князь Дондуков-Корсаков был добрый человек, и, без всякого сомнения, передавая замечание Уварова, оставшегося смертельным врагом Пушкина после его смерти, едва ли в душе разделял мнение о нем министра“.

Вскоре после смерти Александра Сергеевича Хомяков пишет Языкову: „Ты уже, вероятно, имеешь о дуэли Пушкина довольно много подробностей, и поэтому рассказывать не стану тебе россказней. Одно, что тебе интересно будет знать, это итог. Пушкина убили непростительная ветреность его жены (кажется, только ветреность) и гадость общества петербургского. Сам Пушкин не оказал твердости в характере (но этого от него и ожидать было нельзя) ни тонкости, свойственной его чудному уму. Страсть никогда умна быть не может. Он отшатнулся от тех, которые его любили, понимали и окружали дружбой почти благоговейной, а пристал к людям, которые его приняли из милости“.

Мы выписываем эти некоторые показания современников, чтобы показать, как известное стихотворение Лермонтова вполне характеризовало общий взгляд на дело дуэли Пушкина. Даже упрек Хомякова Пушкину за то, что он отвернулся от настоящих друзей, встречаем мы в стихотворении:

Зачем от мирных нег и дружбы простодушной
Вступил он в этот свет, завистливый и душный...

Лермонтова, сказали мы выше, страшно поразила смерть Пушкина. Он благоговел перед его гением и весьма незадолго до дуэли познакомился с ним лично: поэты встретились в литературных кружках. Пушкин интересовался задуманными А.А. Краевским „Литературными прибавлениями“ к „Русскому Инвалиду“ и для первого номера, вышедшего 4 января 1837 года, дал стихотворение свое „Аквилон“, кажется, последнее, которое поэт видел напечатанным незадолго до смерти своей. В.С. Глинка

сообщал, как Пушкин в эту же пору, прочитав некоторые стихотворения Лермонтова, признал их „блестящими признаками высокого таланта“.

Юрьев, товарищ и родственник Михаила Юрьевича, рассказывал, что все несчастное событие и симпатия высшего общества к Дантесу, к которому особенно благоволили великосветские дамы, — все это раздражало юного поэта. Всегда полный самого деликатного внимания к своей бабушке, поэт, живший у нее в Петербурге, с трудом воздержался от раздраженного ответа, когда старушка стала утверждать, что Пушкин сел не в свои сани и, севши в них, не умел управлять конями, помчавшими его, наконец, на тот сугроб, с которого вел один лишь путь в пропасть. Не желая спорить с бабушкой, поэт уходил из дому. Елизавета Алексеевна, заметя, как на внука действуют светские толки о смерти Пушкина, стала избегать говорить о них... Но говорили другие, говорил весь Петербург и, наконец, все так сильно повлияло на Михаила Юрьевича, что он захворал нервным расстройством. Ему приходило даже на мысль вызвать убийцу и мстить за гибель русской славы. Это, впрочем, неудивительно: было много людей, готовых сделать то же. Говорили, что император Николай Павлович, желая спасти Дантеса от грозившей ему опасности, выслал его за границу. Прежде всего Лермонтов дал выход своему негодованию, написав стихотворение „На смерть поэта“ и выставив в нем его противника, как искателя приключений:

...Издалека,
Подобно сотням беглецов,
На ловлю счастья и чинов
Заброшен к нам по воле рока...

Такой взгляд на Дантеса сердил его защитников. Он был принят в обществе, был приглашен на службу самим императором, был офицером в первом гвардейском кавалерийском (кавалергардском) полку — и вдруг дерзнуть назвать его пустым искателем приключений!

Умы немного утихли, когда разнесся слух, что государь желает строгого расследования дела и наказания виновных. Тогда-то эпиграфом к стихам своим Лермонтов поставил:

Отмщенье, Государь, отмщенье!
Паду к ногам твоим:
Будь справедлив и накажи убийцу,
Чтоб казнь его в позднейшие века
Твой правый суд потомству возвестила,
Чтоб видели злодеи в ней пример.
(Из трагедии)

Как известно, Лермонтов написал стихотворение свое на смерть Пушкина сначала без заключительных 16 строк. Оно прочтено было государем и другими лицами и в общем удостоилось высокого одобрения. Рассказывали, что великий князь Михаил Павлович сказал даже: „Этот, чего доброго, заменит России Пушкина“; что Жуковский признал в них проявление могучего таланта, а князь В. Ф. Одоевский по адресу Лермонтова наговорил комплиментов при встрече с его бабушкой Арсеньевой. Толковали, что Дантес страшно рассердился на нового поэта и что командир лейб-гвардии гусарского полка утверждал, что, не сиди убийца Пушкина на гауптвахте, он непременно послал бы вызов Лермонтову за его ругательные стихи. Но сам командир одобрял их. Да и нельзя было иначе, раз сам государь выразил относительно стихов довольство свое.

Таким образом неудобно было не находить прекрасным стихотворение молодого гусарского офицера, хоть и не нравились его нападки на Дантеса и на тот новый круг пушкинских знакомых, который нехотя принял его в свою среду. Морщились от таких мест стихотворения, где поэт говорил:

Зачем он руку дал клеветникам безбожным,
Зачем поверил он словам и ласкам ложным?..

Или

К чему теперь рыданья,
Пустых похвал ненужный хор
И жалкий лепет оправданья —
Судьбы свершился приговор!
Не вы ль сперва так долго гнали
Его свободный чудный дар...

Сам поэт, нервно-больной, расстроенный, лежал дома. Бабушка послала даже за лейб-медиком Арендтом, у которого лечился весь великосветский Петербург. Он рассказал Михаилу Юрьевичу всю печальную эпопею двух с половиной суток — с 27 по 29 января, которые прострадал Пушкин. Погруженный в думу свою, лежал поэт, когда в комнату вошел его родственник, брат верного друга поэта Монго-Столыпина, камер-юнкер Николай Аркадьевич Столыпин. Он служил тогда в министерстве иностранных дел под начальством Нессельроде и принадлежал к высшем петербургскому кругу. Таким образом его устами гласила мудрость придворных салонов. Он рассказал больному о том, что в них толкуется. Сообщил, что вдова Пушкина едва ли долго будет носить траур и называться вдовой, что ей вовсе не к лицу и т.п.

Столыпин, как и все, расхваливал стихи Лермонтова, но находил и недостатки и, между прочим, что „Мишель“, напрасно

апофеотруя Пушкина, слишком нападает на невольного убийцу, который, как всякий благородный человек, после всего того, что было между ними, не мог бы не стреляться: honneur oblige (честь обязывает (фр.)). Лермонтов отвечал на это, что чисто русский человек, не офранцуженный, неиспорченный, снес бы со стороны Пушкина всякую обиду; снес бы ее во имя любви своей к славе России, не мог бы поднять руки своей на нее. Спор стал горячее, и Лермонтов утверждал, что государь накажет виновников интриги и убийства. Столыпин настаивал на том, что тут была затронута честь и что иностранцам дела нет до поэзии Пушкина, что судить Дантеса и Геккерена по русским законам нельзя, что ни дипломаты, ни знатные иностранцы не могут быть судимы на Руси. Тогда Лермонтов прервал его, крикнув: „Если над ними нет закона и суда земного, если они палачи гения, так есть Божий суд“. Эта мысль вошла потом почти дословно в последние 16 строк стихотворения.

Запальчивость поэта вызвала смех со стороны Столыпина, который тут же заметил, что у „Мишеля слишком раздражены нервы“. Но поэт уже был в полной ярости, он не слушал своего светского собеседника и, схватив лист бумаги, да сердито поглядывая на Столыпина, что-то быстро чертил по нему, ломая карандаши, по обыкновению, один за другим. Увидав это, Столыпин полушепотом и улыбаясь заметил: „La poesie enfante (детская поэзия (фр.))“! Наконец раздраженный поэт напустился на собеседника, назвал его врагом Пушкина и, осыпав упреками, кончил тем, что закричал, чтобы он сию же минуту убирался, иначе он за себя не отвечает. Столыпин вышел со словами: „Mais il est fou a lier (да он совсем спятил (фр.))“. Четверть часа спустя Лермонтов, переломавший с полдюжины карандашей, прочел Юрьеву заключительные 16 строк своего стихотворения, дышащих силой и энергией негодования:

А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов!..

В негодовании на всех защитников Дантеса и противников Пушкина, Лермонтов особенно язвил Столыпина, прадед которого происходил далеко не от знатных предков и обогатился на винных откупах, следовательно не совсем безупречными средствами, хотя и пользовался репутацией высоко честного человека. Но тогда, да и позже, воззрения были своеобразны, и еще Гоголь дерзнул, в лице откупщика Муразова (во второй части „Мертвых душ“) выставить идеал честности и правдивости. Пылкий поэт живо вспомнил принижение отца его родом

Столыпиных, отца, принадлежавшего к древнейшим, хоть и захудалым родам Европы. Поэту, с детства страдавшему от явной несправедливости этой, были особенно ощутительны преследования Пушкина со стороны выскочек аристократизма, „жадною толпою стоявших у трона“. В гневных стихах Лермонтов облегчил наболевшую душу свою от собственного горя, от боли за павшего русского поэта, которому он подражал в детстве, восторженно прислушиваясь к чудным песням, перед которым преклонялся, до которого, полный уважения и понимания, едва еще решался поднять юношеский взор.

Известность стихов Лермонтова на смерть великого поэта быстро разрослась; в то время многие почтили память усопшего стихами на кончину его, но ни в одном не звучало столько силы, таланта, любви и негодования, ни одно стихотворение так полно не выражало чувств всей России за исключением небольшого круга людей.

Святослав Афанасьевич Раевский, проживавший тогда у Лермонтова, возвратившись домой, нашел вновь сочиненные 16 стихов. Он пришел в восторг и, радуясь быстрой славе, приобретенной 22-летним поэтом, стал распространять и эти сильные стихи. Правда, ему, как и Лермонтову, приходило в голову, что за эти 16 строк можно пострадать, что им можно легко придать весьма опасное толкование, но молодые люди утешали себя тем, что государь осыпал милостями семейство Пушкина, следовательно, дорожил поэтом, из чего, как казалось им, вытекало само собой, что можно бранить врагов поэта. Расточаемые 22-летнему поэту похвалы льстили и ему самому и другу его; наконец их успокаивала мысль, что все распространяемые и переписываемые экземпляры носят подпись „Лермонтов“, и что „высшая цензура давно бы остановила их распространение, если б считала это нужным“.

Но молодые люди не сообразили того, что со стихами происходило недоразумение. Ходило по рукам две редакции: одна, снабженная 16 заключительными стихами, а другая — нет. Вот почему ни тогдашний начальник III отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии Мордвинов, ни граф Бенкендорф, которому Мордвинов доложил о стихах, ничего предосудительного в них не нашли. Но вот на многолюдном рауте, если не ошибаемся, у графини Ферзен, А. М. Хитрова, разносчица всевозможных сенсационных вестей, обратилась к графу Бенкендорфу со злобным вопросом: „А вы читали, граф, новые стихи на всех нас, в которых la creme de la noblesse (сливки общества (фр.)) отделывается на чем свет стоит молодым гусаром Лермонтовым?“ Она пояснила, как стихи, начинающиеся

словами. „А вы, надменные потомки“ и пр., составляют оскорбление всей русской аристократии и довела графа до того, что он увидал необходимость разузнать дело ближе. Тогда-то раскрылось, что ходили по рукам два списка. Граф Бенкендорф знал и уважал бабушку Лермонтова Арсеньеву, бывал у нее, ему была известна любовь ее к внуку, и он искренно желал дать делу благоприятный оборот. Говорили, что, когда граф явился к императору, чтобы доложить о стихах в самом успокоительном смысле, государь уже был предупрежден, получив по городской почте экземпляр стихов с надписью: „Воззвание к революции“. Подозрение тогда же пало на г-жу Хитрову.

Недаром еще в то же утро граф Бенкендорф заметил Л.В. Дубельту, говоря о слышанном на вечере, что „если Анна Михайловна (Хитрова) знает о стихах, то не остается ничего больше делать, как доложить о них государю“.

Вследствие больших связей бабушки Лермонтова Арсеньевой, поэт пользовался большими льготами. Он, как уже мы говорили, почти не жил в Царском Селе, где был расположен его полк, а проживал у бабушки в Петербурге. Это обстоятельство усугубляло вину Лермонтова. Так как он формального отпуска не получал, то непребывание его в месте стоянки полка считалось „самовольной отлучкой“. Начальник штаба Веймар, посланный в Царское Село осмотреть там бумаги поэта, нашел квартиру нетопленой, ящики стола и комодов пустыми. Далее, отсутствие Лермонтова прикрыли внезапно болезнью его, приключившейся при посещении внуком престарелой бабки, и ограничились затем только выговором ближайшему виновнику недосмотра полковнику Саломирскому (приказ по отдельному гвардейскому корпусу от 28 февраля 1837 года, за N 33). Болезнь Лермонтова делала, однако, необходимым разъяснение, кем было распространено стихотворение. Главным виновником оказался С.А. Раевский. Он решился взять на себя добрую часть вины.

21 февраля Раевский был посажен под арест по распоряжению графа Петра Андреевича Клейнмихеля, Лермонтов же подвергнут домашнему аресту. Того же дня с Раевского было снято показание. Отлично сознавая важность того, чтобы показание Лермонтова не разнилось с его показанием, он черновую, писанную карандашом, положил в пакет, адресовав его на имя крепостного человека Михаила Юрьевича, искренно преданного своему барину. Адрес на пакете этом гласит:

Против 3 Адмиралтейской части, в доме княгини Шаховской.

Андрею Иванову.

К черновой приложена записка: „Андрей Иванович! Передай тихонько эту записку и бумаги Мишелю. Я подал записку

министру. Надобно, чтобы он отвечал согласно с ней, и тогда дело кончится ничем. А если он станет говорить иначе, то может быть хуже. Если сам не сможешь завтра же по утру передать, то через Афанасия Алексеевича. И потом непременно сжечь ее“.

Афанасий Алексеевич Столыпин был особенно любим и почитаем Лермонтовым, да и сам он был из немногих людей, привязанных к Михаилу Юрьевичу. Доставить пакет этот Раевский препоручил одному из сторожей. Пакет был перехвачен и немало усугублял виновность Раевского перед судьями.

Спрошенный на» дому Лермонтов дал следующее показание:

Я был еще болен, когда разнеслась по городу весть о несчастном поединке Пушкина. Некоторые из моих знакомых принесли ее и ко мне, обезображенную разными прибавлениями; одни, приверженцы нашего лучшего поэта, рассказывали с живейшей печалью, какими мелкими мучениями, насмешками, он долго был преследуем и, наконец, принужден сделать шаг, противный законам земным и небесным, защищая честь своей жены в глазах строгого света. Другие, особенно дамы, оправдывали противника Пушкина, называли его благороднейшим человеком, говорили, что Пушкин не имел права требовать любви от жены своей, потому что был ревнив, дурен собой — они говорили также, что Пушкин негодный человек, и прочее... Не имея, может быть, возможности защищать нравственную сторону его характера, никто не отвечал на эти последние обвинения.

Невольное, но сильное негодование вспыхнуло во мне против этих людей, которые нападали на человека, уже сраженного рукой Божией, не сделавшего им никакого зла и некогда ими восхваляемого; — и врожденное чувство в душе неопытной защищать всякого невинно осуждаемого зашевелилось во мне еще сильнее по причине болезненно раздраженных нервов. Когда я стал спрашивать, на каких основаниях так громко они восстают против убитого, — мне отвечали, вероятно, чтоб придать себе более весу, что весь высший круг общества такого же мнения. — Я удивился — надо мной смеялись. Наконец после двух дней беспокойного ожидания пришло печальное известие, что Пушкин умер: вместе с этим известием пришло другое — утешительное для сердца русского: Государь Император, несмотря на его прежние заблуждения, подал великодушно руку помощи несчастной жене и малым сиротам его. Чудная противоположность его поступка с мнением (как меня уверяли) высшего круга общества, увеличила первого в моем воображении и очернила еще более несправедливость последнего. Я был твердо уверен, что сановники государственные разделяли благородные и

милостивые чувства Императора, Богом данного защитника всем угнетенным; но тем не менее я слышал, что некоторые люди, единственно по родственным связям или вследствие искательства, принадлежащие к высшему кругу и пользующиеся заслугами своих достойных родственников, — некоторые не переставали омрачать память убитого и рассеивать разные невыгодные для него слухи. Тогда, вследствие необдуманного порыва, я излил горечь сердечную на бумагу, преувеличенными, неправильными словами выразил нестройное столкновение мыслей, не полагая, что написал нечто предосудительное, что многие ошибочно могут принять на свой счет выражения вовсе не для них назначенные. Этот опыт был первый и последний в этом роде, вредном (как и прежде мыслил и ныне мыслю) для других еще более, чем для себя. Но если мне нет оправданья, то молодость и пылкость послужат хотя объяснением, ибо в эту минуту страсть была сильнее холодного рассудка. Прежде я писал разные мелочи, быть может, еще хранящиеся у некоторых моих знакомых. Одна восточная поветь, под названием «Хаджи-Абрек», была мной помещена в Библиотеке для чтения; а драма «Маскарад», в стихах, отданная мною на театр, не могла быть представлена по причине (как мне сказали) слишком резких страстей и характеров и также потому, что в ней добродетель недостаточно награждена.

Когда я написал стихи мои на смерть Пушкина (что, к несчатию, я сделал слишком скоро), то один мой хороший приятель Раевский, слышавший, как и я, многие неправильные обвинения, и по необдуманности, не видя в стихах моих противного законам, просил у меня их списать; вероятно, он показал их, как новость, другому — и таким образом они разошлись. Я еще не выезжал, и потому не мог вскоре узнать впечатления, произведенного ими, не мог вовремя их возвратить назад и сжечь. Сам я их никому больше не давал, но отрекаться от них, хотя постиг свою необдуманность, я не мог: правда всегда была моей святыней, — и теперь, принося на суд свою повинную голову, я с твердостью прибегаю к ней, как единственной защитнице благородного человека перед лицом Царя и лицом Божиим.

Корнет Лейб-гвардии Гусарского полка, Михаил Лермонтов.

Уже через три дня после допроса, сделанного Лермонтову дома, а затем ареста на гауптвахте, участь его была решена. 25 февраля последовало Высочайшее повеление, а 27 вышел приказ, по которому лейб-гвардии гусарского полка корнет Лермонтов переводился тем же чином в Нижегородский драгунский полк (на Кавказе). Раевский же, по выдержании на гауптвахтах один месяц,

высылался в Олонецкую губернию на службу по усмотрению тамошнего губернатора.

Друг и товарищ Лермонтова поплатился больше самого поэта. Он из ссылки был возвращен позднее, и Михаил Юрьевич крепко скорбел за Святослава Афанасьевича. Дело в том, что Лермонтова не столько обвиняли за сочинение стихов, сколько за их распространение, и добивались того, через кого были пущены они в публику. Допрашивал Лермонтова граф Клейнмихель, от имени государя. Он обещал, между прочим, что если Лермонтов назовет виновника распространения, то избегнет наказания быть разжалованным в солдаты, тогда как названное им лицо не подвергнется наказанию. Назвав Раевского, Лермонтов еще не подозревал, что тем губит его, но, выпущенный из-под ареста, услышав о том, что друг его сидит на гауптвахте Петропавловской крепости, он пришел в отчаяние. До нас дошло несколько писем Лермонтова к Раевскому из того времени.

Позднее дело объяснилось. Оказалось, что участие Раевского было известно до признания Лермонтова, и даже допрос с Раевского снят днем раньше, чем допрос с Лермонтова. Однако поэт долго не мог простить себе, что в показании своем заявил, будто никому, кроме Раевского, не показывал стихов, и что Раевский, вероятно, по необдуманности показал их другому, и таким образом они распространились. Еще в июне 1838 года, возвращенный с Кавказа и вновь определенный в лейб-гвардии гусарский полк, Лермонтов пишет в Петрозаводск все еще томящемуся там Раевскому о том, что повергло его в несчастье. Очевидно, услужливые люди пытались вызвать между друзьями вражду или хоть недоразумение, и поэт с негодованием отвергает наветы. Когда Раевский в декабре 1838 года получил наконец прощение и вернулся из ссылки в Петербург, где жили его мать и сестра, уже через несколько часов по приезду вбежал в комнату Лермонтов и бросился на шею Святославу Афанасьевичу. «Я помню, — рассказывает сестра Раевского г-жа Соловцова, — как Михаил Юрьевич целовал брата, гладил его и все приговаривал: „Прости меня, прости меня, милый!“ — Я была ребенком и не понимала, что это значило; но как теперь вижу растроганное лицо Лермонтова и больше, полные слез, глаза. Брат был тоже растроган до слез и успокаивал друга».

О друге своем С.А. Раевский сохранил самое теплое воспоминание; он до юнца дней своих был горячим защитником и ценителем Михаила Юрьевича как поэта и человека, и ему-то мы обязаны сохранением многих материалов, касающихся жизни и творчества поэта.

Итак, согласно высочайшему приказу, поэт весной 1837 года

должен был покинуть Петербург и ехать в Казань. Он насильственно был вырван из сфер весьма разнообразных, где жизнь его текла нервно и беспокойно. Он метался, и метание это и волнения отражались на творчестве. Тревожному поэту Кавказ вновь открывал свои объятия. Там открывался для ребенка живой источник вдохновения, теперь мужающий юноша найдет в нем успокоение, упорядочение мысли, подходящие условия для созревания таланта.

ГЛАВА XIII М.Ю. Лермонтов на Кавказе в 1837 году

Высылка из Петербурга. — Тамань. — Экспедиция на восточном берегу Черного моря. — Генерал Вельяминов. — Жизнь в действующем отряде. — Стихотворение «Бородино» и «Песня про царя Ивана Васильевича Грозного». — Странствование по Кавказу. — Приезд государя и конец экспедиции. — Сюжеты и типы некоторых произведений, взятые из кавказской природы и жизни. — Доктор Майер и декабристы. — Отъезд на родину.

Приказ о переводе Лермонтова корнетом в Нижегородский драгунский полк состоялся 26 февраля 1837 года. Но молодому человеку, в угоду бабушке, было разрешено продлить срок отъезда на несколько дней. Старушка спешила воспользоваться льготой и ни на час не отпускала от себя внука. Наконец, однако же пришлось благословить Мишеля на дальний путь на Кавказ «за лаврами», как выражался сам ссылаемый.

Лермонтов ехал на восточный берег Черного моря, где должны были открыться усиленные военные действия против горцев под начальством генерала Вельяминова. В то время полагалось нужным совершенно отрезать горцев от Черного моря, и для этого хотели продлить еще ранее построенную линию береговых укреплений от Геленджика до устья реки Чуэпсина (Вулана). Получить разрешение на участие в экспедициях было нетрудно, особенно для гвардейских офицеров, ехавших на Кавказ «за лаврами», или людей, сосланных туда за провинности. Последним, особенно когда вина их не затрагивала чести, кавказское начальство охотно давало случай вновь выслужиться или заслужить облегчение участи. Так поступали с разжалованными в солдаты декабристами и другими лицами. Им нередко давали важные поручения и назначения, несмотря на звание рядового.

В эту поездку, направляясь на черноморский берег Кавказа,

Лермонтов должен был остановиться в Тамани в ожидании почтового судна, которое перевезло бы его в Геленджик. Тут поэт испытал странного рода столкновение с казачкой Царицихой, принявшей его за тайного соглядатая, желавшего накрыть контрабандистов, с которыми она имела сношения. Эпизод этот послужил поэту темой для повести «Тамань». В 1879 году описываемая в этой повести хата еще была цела, она принадлежала казаку Миснику и стояла невдалеке от нынешней пристани над обрывом.

Лермонтов прибыл в Геленджик около 21 апреля и поступил в распоряжение начальника 1 отделения черноморской береговой линии артиллерийского генерал-майора Штейбена, к которому особенно расположен был Вельяминов, «вообще не жаловавший генералов». Под начальством этого лица Лермонтов впервые познакомился с боевой жизнью и услышал свист вражеских пуль среди постоянных перестрелок при конвоировании транспортов с разными запасами из Ольгинского тет-де-пона на Абинское укрепление. Тут отряд Штейбена присоединился к войскам генерала Вельяминова.

Вельяминов, начавший службу еще во время наполеоновских войн и участвовавший в Аустерлицком сражении, принадлежал к кружку, из которого вышло несколько заметных деятелей, между которыми был и Ермолов. На Кавказе Вельяминов был начальником славного генерала. Они были на «ты» и называли друг друга «Алешей». Вельяминов получил хорошее образование, а от природы одарен был замечательными умственными способностями. Нравственные и религиозные убеждения его были построены на теориях энциклопедистов, характер его был оригинальный и самобытный: он с властями держал себя самостоятельно. Как «командующий войсками Кавказской линии и Черноморий» с ближайшим начальником своим бароном Розеном не ладил. Строгость Вельяминова доходила до холодной жестокости. Подчиненные и войска боялись его, но имели к нему полное доверие. У горцев имя его звучало грозно. В аулах пелись о нем песни, называя его Кызыл Дженерал (то есть рыжий генерал).

Экспедиция 1837 года была предпринята для постройки новых крепостей на черноморской линии. Постройка этих фортов началась в 1833 году. Основанием кордонной линии было Ольгинское укрепление, крайней точкой — Геленджик. Затем каждый год Вельяминов предпринимал походы для ознакомления с краем, сожжения аулов и воздвижения новых крепостей. Экспедиции 1837 года должна была быть обширнее предыдущих. Отряду назначено было действовать преимущественно на южной

стороне хребта, к юго-востоку от Геленджика, целью действия было занятие устьев двух рек: Пшады и Вулана (Чуапсина) и построение укреплений в крае, куда еще не проникали русские войска.

В состав действующего отряда назначены были Тенгинский и Навагинский полки в полном составе и два батальона Кабардинского, две роты саперов, четыре пеших черноморских казачих полка, несколько конных сотен линейного войска и три батареи 1-й артиллерийской бригады. Тут же находилось много офицеров из гвардии и армейских частей, прикомандированных для участия в военных действиях отряда. Офицеров, приезжавших из войск расположенных в России, поражали в кавказской армии самостоятельность ротных и батальонных командиров, разумная сметливость и незадерганность солдат; унтер-офицеры были вообще очень хорошие и люди заслуженные; в это звание производили не за наружность и ловкость во фронте. Вообще в войсках видны были остатки преданий суворовского времени. Между офицерами встречалось немало кутил, но старшие берегли молодежь и честь полка. Вооружение, в особенности пехоты, было плохое. Старые кремневые ружья и на сто шагов стреляли неверно, дела решались рукопашным боем, штыком, и вообще выработалось презрение к огнестрельному оружию. Понятно, что этот порядок вещей и военная служба на Кавказе должны были прийтись по вкусу Лермонтову, ненавидевшему мелкие стеснения фрунтовой службы, испытанной им в Петербурге. Порядок и жизнь кавказская приходились по нутру этой свободолюбивой натуре, и, естественно, что, вернувшись в столицу, он уже 1838 году стремится бежать от службы в гвардейском полку и просится обратно на Кавказ, но его не пускают.

Экспедиция была нелегкая.

«В Петербурге, — говорит очевидец, — глядели на дела своеобразно и там не подозревали, что войска имели дела с полумиллионным горным населением, никогда не знавшим над собой власти, храбрым, воинственным, которое в своих горных, заросших лесом трущобах на каждом шагу имеет сильные природные крепости. Там еще думали, что горцы не более как возмутившиеся русские подданные, уступленные России их законным повелителем, султаном, по Адрианопольскому трактату». 9 мая отряд тронулся под начальством генерала Вельяминова. Горцы знали о движении русских войск и были в большом сборе. Всюду, где местность представляла удобство прикрытия, войска испытывали нападение засевших за кустами и камнями горцев. Шла постоянная перестрелка, перемежавшаяся дикими криками горцев и громким «ура»! Трофеями дня были

несколько трупов горцев, у которых отрубили головы и затем завернули и зашили в холст. За каждую голову Вельяминов платил по червонцу и черепа отправлял в Академию наук. Поэтому за каждого убитого горца шла упорная драка, стоявшая порой много жизней с той и другой стороны. У горцев образовался обычай, отправляясь в военное предприятие, давать друзьям и союзникам клятвенное обещание привозить обратно мертвых, или, если то окажется невозможным, отрубать голову убитого и привозить ее семейству; не сделавший этого принимал на себя обязательство всю жизнь содержать на свой счет вдову и детей павшего товарища.

Первые же сутки обошлись недешево: было убито и ранено 50 человек, в числе которых были офицеры и полковой командир Тенгинского полка Кашутин. Отряд двигался с возможными предосторожностями — живой крепостью, имевшей вид длинного четырехугольника. Авангард и арьергард двигались по ущелью или долине, а боковые прикрытия — по горам на таком расстоянии, чтобы пули горцев не могли бить в колонны, где были остальные войска и обоз. Дороги были плохие, местность в горах покрыта лесом. Чтобы держать боковые прикрытия на своих местах и чтобы цепи стрелков не разрывались в закрытой и пересеченной местности, их часто окликали сигнальными рожками. Этим способом, при условленных заранее сигналах, передавались все приказания при движениях. Самая трудная роль доставалась обыкновенно арьергарду, а самая легкая — авангарду, где редко бывала серьезная перестрелка. Случалось, что отряд растягивался на несколько верст, иногда пять и более. Тогда боковые прикрытия усиливались. Вельяминов зорко следил за всеми, ничего не оставляя без внимания. Каждый солдат был уверен, что старый генерал его видит.

Вечером перед ночлегом тщательно осматривались аванпосты и цепи. Лагерь становился обыкновенно в том же порядке — длинным четырехугольником. Зажигались большие костры, которые указывали место расположения войск. Если где потухал костер, Вельяминов сердился и посылал начальникам выговоры в весьма резких выражениях.

При самом начале движения пятеро горских старшин приехали к аванпостам для переговоров с Вельяминовым. Это были пять стариков очень почтенной наружности, уполномоченные от горских племен Они явились хорошо вооруженными, но без всякой свиты. Вельяминов принял их с некоторой торжественностью, окруженный всем своим штабом. Он был при шашке и из предосторожности привесил кинжал. Не раз бывали примеры, что фанатики-горцы бросались на врагов

своих во время переговоров. Депутаты старались убедить генерала, что султан никогда не имел права уступать их земли России, ибо он никогда не владел этою землей.

Они сообщали, что весь народ единодушно положил драться с русскими не на жизнь, а на смерть, пока не выгонят русских со своей земли. Они хвастались своим могуществом и искусством в горной войне, храбростью сыновей своих, меткостью стрельбы их. Речь свою старики кончили предложением русским вернуться за Кубань и впредь жить с ними в добром соседстве. На длинную речь депутатов, принадлежавших к высшей черкесской аристократии, Вельяминов отвечал коротко, объясняя, что он идет туда, куда велел ему белый царь, и что если ему будут сопротивляться, то сами ответственны за те бедствия, которые изведают. Он заметил, что если наши воины и стреляют хуже, то зато на каждый выстрел врагов ответят сотней пуль. Тем конференция и кончилась.

Оказалось, что скопище горцев было огромное, оно доходило до 10 тысяч конных и пеших. Лазутчики уведомили, что все поклялись драться до последней капли крови, а за тайные сношения с русскими назначена смертная казнь. Несколько дней биавуачные огни горцев видны были на большое пространство. Численность их увеличивалась. Они ждали движения русского отряда, чтобы удобнее напасть на него. Старый Вельяминов не трогался из лагеря, огражденного засекой. «Подождем, — говорил он, — у них генерал-интендант неисправный. Когда они поедят свое пшено и чужих баранов, сами разойдутся». Так оно действительно и случилось, голод вынудил большинство удалиться. И только малая часть вела перестрелку с нашественниками.

Русские войска двинулись по краю, в которой впервые вступили. По обеим сторонам долины разбросаны были аулы. Вельяминов строжайше запретил жечь и грабить их. Все они оставлены были жителями.

Гребень Кавказского хребта образует здесь глубокое седло. Трудно вообразить себе что-нибудь живописнее вида, который открывается с перевала. Хребет в этом месте едва ли имеет более 5 тысяч футов над поверхностью моря; южный его склон крут и изрезан глубокими балками, покрытыми лесами; впереди, «как огромное воронье крыло», лежало Черное море с горизонтом без пределов. Роскошная растительность иногда доходила до самого берега, далеко простирая свои ветви над зыбкой влагой.

У Черного моря чинара стоит молодая...
вспоминал потом прибрежную картину поэт наш,
По небу раскинула ветви она на просторе,

И корни ее умывает холодное море.

По мере движения отряда край делался более гористым и диким. Горцы наседали на боковые прикрытия и особенно на арьергард. 23 мая у горного перевала Вардобуй перестрелка не унималась. Начальник Лермонтова генерал Штейбен получил тяжкие раны, от которых и умер. 24-го по реке Дуабе, а 25-го на реке Ишад были стычки, особенно во время фуражировки, сопряженной с опасностями. 27-го мая, дойдя до устья реки Ишад, отряд остановился, и Вельяминов приступил к разбивке укрепления. Скука неподвижной жизни разнообразилась фуражировками и посылкой отрядов для рубки леса. При отряде было до 2 тысяч лошадей, которые требовали много сена. Привозимые из Тамани прессованные запасы его далеко не удовлетворяли нужд. По мере выкашивания травы, за сеном приходилось ходить все далее и далее по долине Ишада и его притоков. Такие движения делались в промежутке двух-трех дней, под прикрытием 4 или 5 батальонов, с 8 и 10 орудиями и сотней конных казаков. Горцы всегда знали об этом вперед, и потому никогда такое движение не обходилось без боя, более или менее упорного.

Стоянка во время постройки укрепления на Ишаде, возводимого из сырого кирпича и леса, длилась более месяца. Многие офицеры коротали время кутежами и картежной игрой. Она была сильно развита и поддерживалась особенно теми из прикомандированных к отряду офицеров, которые были побогаче. Но были люди, не принимавшие участие в этих развлечениях, а работавшие умственно и читавшие серьезные книги, которые можно было добыть и в этом удаленном уголке среди лагерной и бивуачной жизни. Здесь находились лица весьма образованные и интересные, не последними среди них были и декабристы, которых в это время присылали на Кавказ рядовыми после пребывания на сибирской каторге или на поселениях. Вельяминов относился к декабристам внимательно и не делал никакого различия между ними и офицерами. Многие бывали у него в солдатских шинелях. В Ставрополе и в деревнях они носили гражданскую или черкесскую одежду, и никто не находил этого неправильным. «Вообще, — говорит генерал Филипсон, — кавказские войска имели очень своеобразное и отчасти смутное понятие о форме».

Лермонтов со всей страстностью натуры бросился испытывать волнения боевой жизни. Его интересовали кавказский солдат, казак и горец, привлекала опасность. Он здесь находил материалы для своих произведений. Надо полагать, что в это время было им написано кое-что, из чего многое пропало, потому

что Лермонтов вообще не очень дорожил набросанными где попало стихами своими, а во-вторых, как замечает графиня Ростопчина, фельдъегеря, через которых поэт посылал свои наброски, часто теряли их. Военная боевая жизнь, вдохновив поэта, кажется, побудила его вновь переделать стихотворение «Бородино», которое и было послано в Петербург и напечатано в 1837 году, в VI томе «Современника». Весьма может статься, что поэт в кавказских, проникнутых «суворовским» духом войсках и подслушал разговор старого солдата, очевидца бородинской битвы, с рекрутом и, по обычаю своему, все, что писал, брать из жизни, облек свое стихотворение в форму диалога между стариком-солдатом и рекрутом. Здесь же среди походной жизни Лермонтов окончательно обработал «Песню о Калашникове» и выслал ее А.А. Краевскому, издававшему «Литературные прибавления к Русскому Инвалиду». Когда стихотворение обыкновенным порядком отправлено было в цензуру, то цензор издания нашел совершенно невозможным делом напечатать стихотворение человека, только что сосланного на Кавказ за свой либерализм. Краевский обратился к Жуковскому, который был в восторге от стихотворения и, находя, что его непременно надо напечатать, дал Краевскому письмо к министру народного просвещения, в ведении которого находилась тогда цензура. Граф Уваров, гонитель Пушкина, оказался на этот раз добрее к преемнику его таланта и славы. Найдя, что цензор был прав в своих опасениях, он все-таки разрешил печатание. Имени поэта он, однако, выставить не позволил, и «песня» вышла с подписью: — в.

Однако Лермонтов попал в экспедицию поздно. Ему пришлось из Геленджика ехать в Грузию, где стоял Нижегородский драгунский полк. Что делал Михаил Юрьевич на Кавказе в служебном отношении сказать трудно. Бароном Розеном он был причислен к эскадрону драгун, который должен был войти в отряд Вельяминова и находиться на берегу Черного моря в Оксале, куда ждали государя.

Раевскому поэт пишет, что странствовал много:

С тех пор, как выехал из России, я находился в беспрерывном странствовании, то на перекладной, то верхом; изъездил линию всю вдоль от Кизляра до Тамани, переехал горы, был в Шуше, в Кубе, в Шемахе, в Кахетии, одетый по-черкесски, с ружьем за плечами, ночевал в чистом поле, засыпал под крик шакалов, ел чуреки, пил кахетинское...

Его странствия обошлись не без приключений. Не раз приходилось отстреливаться. Однажды он чуть не попал в руки шайке лезгин. По большой части он ездил верхом; но случалось и

пешком подниматься на высоты или бродить с карандашом и даже с мольбертом, снимая виды.

Я лазил, — пишет Михаил Юрьевич, — на снеговую гору (Крестовая), на самый верх, что не совсем легко. Оттуда видна половина Грузии, как на блюдечке, и, право, я не берусь объяснить или описать этого чувства; для меня горный воздух — бальзам; хандра к черту, сердце бьется, грудь высоко дышит, ничего не надо в эту минуту.

Насколько участвовал Лермонтов в экспедиции Вельяминова, сказать трудно. Можно думать, он отлучался из нее, что легко дозволяли офицерам для отдыха или лечения. Просматривая военные действия экспедиции 1837 года, видно, что они были главным образом предприняты для постройки укреплений. Так, отряд с 29 мая по 11 июля занимался возведением Новотроицкого укрепления, а потом, после трехдневного похода, с 4 июля по 31-е возводили укрепление Михайловское. Мы имеем письмо Лермонтова из Пятигорска от 18 июля, следовательно, он в это время не был в отряде. Поэтому приходится относиться с некоторым недоверием к послужному списку Михаила Юрьевича, в котором говорится, что поэт был в постоянных стычках и делах с неприятелем от 26 мая и до 29 августа.

В начале сентября войска возвратились в Геленджик, куда ожидали приезда императора Николая Павловича. Государь приехал 22 сентября со свитой на двух пароходах во время бури. С государем был наследник престола Александр Николаевич, граф Орлов, Бенкендорф и другие. Несмотря на то, что свирепствовавшая буря привела лагерь в страшный беспорядок и мешала общей стройности движений, Государь остался доволен войсками, был милостив и раздавал награды. Граф Бенкендорф, помня просьбы бабушки поэта Арсеньевой и желая сделать ей угодное, воспользовался случаем этим и ходатайствовал перед государем за Лермонтова. Действительно, приказом, данным государем в Тифлисе в 1837 году от 11 октября, Лермонтов переводился в лейб-гвардии Гродненский полк, стоявший в Новгороде.

В конце сентября отряд Вельяминова вернулся домой. Части войск были распущены на зимние квартиры, осенняя экспедиция была отменена. Весьма возможно, что теперь Лермонтов вновь принимается за странствования свои по Кавказу или совершает те, о которых говорено выше. По крайней мере, пишет он о них Раевскому в конце октября из Пятигорска после месячного лечения от приобретенного во время ночевок на открытом воздухе сильного ревматизма: «Простудившись дорогой, я приехал на воды весь в ревматизмах; меня на руках вынесли люди

из повозки, я не мог ходить; в месяц меня воды совсем поправили; я никогда не был так здоров».

Михаил Юрьевич до отъезда в Россию побывал в местах, которые видел в детстве: так он погостил в Шелкозаводске, имении, принадлежавшем Акиму Акимовичу Хастатову, сыну родной сестры бабушки Арсеньевой, Екатерины Алексеевны. Хастатов этот был известный всему Кавказу храбрец, похождения его переходили из уст в уста. Это был удалец, достойный сын мужественной матери, рассказы которой так сильно возбуждали воинственный дух маленького Лермонтова. Случаи из жизни Акима Акимовича и теперь поражали Михаила Юрьевича, они послужили ему материалом, которым он воспользовался немного позднее. В основании рассказа «Бэла» лежит происшествие, бывшее с Хастатовым, у которого действительно жила татарка этого имени. Точно также «Фаталист» списан с происшествия, бывшего с Хастатовым в станице Червленой.

Старая Военногрузинская дорога своими красотами и целой вереницей легенд особенно поразила поэта. Легенды эти были ему известны уже с детства, теперь они возобновились в его памяти, вставали в фантазии его, укрепляясь в памяти вместе с то могучими, то роскошными картинками кавказской природы. Вот тут-то зародилась в Михаиле Юрьевиче мысль перенести место действия любимой его поэмы «Демон» на Кавказ. До сей поры оно было в Испании.

В Ставрополе Лермонтов познакомился с кружком декабристов, находившихся в отличных отношениях с доктором Н.В. Майером. Майер был замечательный человек, группировавший около себя лучших людей и имевший на многих самое благотворное влияние. Зимой Майер проживал в Ставрополе, а летом на минеральных водах. Он сделался очень известным практическим врачом и особенно на водах имел огромную и лучшую практику. В общественных удовольствиях он не участвовал, но можно было быть уверенным, что всегда встретишь его в кругу людей образованных и порядочных. Вместе с тем он был и человеком светским. Во всяком обществе его нельзя было не заметить. Ум и огромная начитанность вместе с каким-то аристократизмом образа мыслей и манер невольно привлекали к нему. Он прекрасно владел русским, французским и немецким языками и, когда был в духе, говорил остроумно, с живостью и душевною теплотой. Майер имел успех у женщин и этим, конечно, был обязан не физическим своим достоинствам. Небольшого роста, с угловатой головой, на которой волосы строго под гребенку, с чертами лица неправильными, худощавый и хромой — у него одна нога короче другой — Майер нисколько

не был похож на тип гостиного ловеласа, но в его добрых и светлых глазах было столько симпатичного, в его разговоре было столько ума и души, что становится понятным сильное и глубокое чувство, которое он внушал к себе некоторым замечательным женщинам. Характер его был неровный и вспыльчивый; нервная раздражительность и какой-то саркастический оттенок его разговора навлекали ему иногда неприятности, но не лишили его ни одного из близких друзей, которые больше всего ценили его искренность и честное прямодушие. Преданность друзьям однажды чуть не погубила его. В третий год бытности на Кавказе он очень сблизился с А. Бестужевым (Марлинским) и С. Палицыным — декабристами, которые из каторжной работы были присланы на Кавказ служить рядовыми. Полевой прислал Бестужеву белую пуховую шляпу, которая тогда в Западной Европе служила признаком карбонара. Донос о таком важном событии обратил на себя особенное внимание занимавшего должность губернаторского жандарма штаб-офицера. При обыске квартиры, в которой жили Майер, Бестужев и Палицын, шляпа была найдена в печи. Майер объявил, что она принадлежала ему, основательно соображая, что в противном случае, кто-нибудь из его товарищей мог отравиться обратно в Сибирь. За эту дружескую услугу, по распоряжению высшего начальства, Майера выдержали полгода под арестом в Темнелесской крепости. Но генерал Вельяминов отнесся к этому случаю совершенно равнодушно и сохранил к Майеру прежнее свое расположение.

С этого доктора Майера Лермонтов списал в повести своей «Княжна Мэри» доктора Вернера, с которым Печорин тоже знакомится в С, то есть Ставрополе.

О влиянии, которое Майер имел на окружавших его людей, можно судить по тому, что рассказывает о себе Григорий Филипсон, бывший попечитель Санкт-Петербургского округа, а в то время офицер генерального штаба, исправлявший должность оберквартирмейстера отряда: «Через Майера и у него я познакомился со многими декабристами, которых по разрядам присылали из Сибири рядовыми в войска Кавказского корпуса. Из них князь Валериан Михайлович Голицын жил в одном доме с Майером и был нашим постоянным собеседником. Это был человек замечательного ума и образования. Аристократ до мозга костей, он был бы либеральным вельможей, если бы судьба не забросила его в Сибирские рудники. Казалось бы, у него не могло быть резких противоречий с политическими и религиозными убеждениями Майера, но было наоборот. Оба одинаково любили парадоксы и одинаково горячо их отстаивали. Спорам не было

конца, и нередко утренняя заря заставала нас за нерешенным вопросом. Эти разговоры и новый для меня взгляд на вещи заставил меня устыдиться моего невежества. В эту зиму и в следующую я много читал, и моими чтениями руководил Майер. Я живо помню это время. История человечества представилась мне совсем в другом виде. Давно известные факты совсем иначе осветились. Великие события и характеры английской и особенно французской революции приводили меня в восторженное состояние».

Можно себе представить, как такой человек и окружающие его люди должны были повлиять на 22-летнего юношу-поэта. Высланный из Петербурга, где он старался проникнуть в общество людей развитых, Лермонтов находит отборный круг их в горах Кавказа среди дивной, пробудившей его поэтический дар природы, среди более свободных условий жизни. От этой атмосферы нравственное состояние должно было очиститься. Условия должны были благотворно повлиять на впечатлительную душу, на большой и образованный, хоть и молодой еще ум Михаила Юрьевича. Его кругозор расширился, убеждения окрепли, смутное недовольство пошлостью общества, среди которого он находился в Петербурге и которым все-таки увлекался, стало для него теперь сознательным. Он стал шире понимать назначение писателя и, выходя из сферы личного, стремился глубже затронуть тему людей — продукт слабости и недостатков своего времени. Задуманные прежде произведения были им брошены или стали видоизменяться и вырабатываться в более глубокие и сознательные творения. Вот почему он пишет другу и соратнику своему Раевскому, что не может продолжать романа, который они сообща начали в Петербурге. Обстоятельства изменились. Это был неоконченный роман «Княгиня Литовская», в котором впервые смутно еще вырисовывается тип Печорина. Эта перемена в развитии Лермонтова и обусловливала то недовольство, которое он испытывал в петербургском обществе по возвращении в него с Кавказа, и то желание, которое руководит его стремлением вернуться туда обратно. Встреча с такими людьми, как Майер и его друзья-декабристы, должна была вызвать сравнение прежнего поколения с тем, что окружало его теперь, представляя «лучшее общество» и породить «Думу» — единственное лирическое произведение, написанное поэтом в 1838 году по возвращении с Кавказа. Начинается оно мрачными словами: «Печально я гляжу на наше поколенье» и также мрачно оканчивается. Кавказ и люди, с которыми встретился на нем поэт, были звеном, связавшим его с теми элементами, среди которых жил и слагался в молодые

годы ум великого Пушкина, столь страстно почитаемого Михаилом Юрьевичем. Ему наконец пришлось столкнуться с теми серьезными людьми, которых так недоставало ему в трудную и пустынную эпоху, в которую приходилось развиваться даровитому юноше.

Полный смутных чувств уезжает Михаил Юрьевич с Кавказа. «Скучно ехать в новый полк, — пишет он Раевскому, — я совсем отвык от фронта и серьезно думаю выйти в отставку». У него составляются планы ехать на Восток: в Персию, в Мекку или проситься в Хиву, куда снаряжалась экспедиция Перовского.

Но и Москва манила к себе поэта. Пребывание на Кавказе, вновь сблизив его с идеалами юности, в эпоху московской жизни, воскресило перед ним с новой силой образ дорогой женщины, любовь к которой он сохранил до ранней могилы своей. Она его вдохновляла и оберегала. Как-то он с ней встретится? Такая ли она, какой представлялась ему, обновленному изгнанием?

Творя молитву при виде Казбека на рубеже перевала за Кавказские горы, поэт говорит:

Молю, чтобы буря не застала,
Гремя в наряде боевом,
В ущелье мрачного Дарьяла
Меня с измученным конем.
Но есть еще одно желанье...
Боюсь сказать... душа дрожит...
Что... если я со дня изгнанья
Совсем на родине забыт!
Найду ль там прежние объятья?
Старинный встречу ли привет?

Часть III ЗРЕЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК И ПОЭТ

ГЛАВА XIV Любовь

Лермонтов в кругу молодых женщин. — Варвара Александровна Лопухина. — Показания Шан-Гирея. — Варенька в произведениях поэта: в лирике, поэмах и драмах. — Колебания. — Померкнувший образ. — Известие о замужестве. — Месть посредством литературных произведений. — Примирение с Варенькой. — Муж Вареньки. — Страдания Варвары Александровны. — Раскаяние Лермонтова. — Смерть.

Пребывание на Кавказе, все пережитое Лермонтовым в Петербурге и по высылке из него, само по себе еще не совершило перелома в его характере. Пора поговорить об одном обстоятельстве, которое, играя важную роль в жизни каждого человека, особенно знаменательно для судьбы и таланта лирического поэта. Это, разумеется, отношение к женщине. Для разъяснения весьма серьезного эпизода любви Лермонтова нам придется вернуться к первой эпохе юности поэта и затем забежать вперед, быть может, несколько нарушая последовательный ход нашего рассказа.

Когда Мишель был привезен в Москву и вступил в университетский пансион полупансионером, Арсеньева жила с ним на Малой Молчановке, в доме Чернова, где постоянно собиралось общество молодежи, преимущественно девицы из большого круга родных и свойственников. Девушек сопровождали маменьки и тетушки. Все относились с уважением к Елизавете Алексеевне, все именовали ее «бабушкой» и восхищались баловнем Мишелем, наследником ее, центральным огоньком, около которого ютились жизнь и интересы. Описывая в автобиографической повести своей «Княжна Лиговская» детство Печорина, Лермонтов говорит, как до двенадцатилетнего возраста Печорин жил в Москве, «окруженный двадцатью тысячами московских тетушек».

Все девушки, посещавшие Арсеньеву, носили общее название «кузин», хотя иногда представляли совершенно иную степень родства или даже и совершенно не приходились родственницами. В соседстве с Арсеньевой жила семья Лопухиных: старик-отец, сын Алексей и три дочери, из которых с Марией и Варварой Александровнами Мишель был особенно дружен, и редкий день не бывал у них.

Влияние отдельных лиц было разное и различно отражалось

на зыбкой натуре юноши. Поэтическое увлечение девятилетней девочкой на Кавказе и затем двоюродной сестрой Анной Столыпиной в московский период, уступало порой место менее идеальным порывам. Так, юноша временно увлекся одной из трех сестер Бахметевых — Софьей Александровной. Она была старше Михаила Юрьевича, любила молодежь и разные ее похождения; именовала сорванцов, среди которых в Москве пошаливал и Лермонтов, «та bande joyeuse (моя веселая банда (фр.))», и веселая, увлекающаяся сама, увлекла, но ненадолго, и Мишеля. Он называл ее «легкой, легкой как пух!» Взяв пушинку в присутствии Софьи Александровны, он дул на нее, говоря: «Это Вы — Ваше Атмосфераторство!»

Также ненадолго увлекся он и кокетливой Катей Сушковой — Miss Black eyes — над которой потом в Петербурге так жестоко насмеялся в отместку за прежнее ее ему причиненное страдание.

Все эти мимолетные привязанности побледнели перед глубокой и искренней любовью, которая, начавшись в эти же молодые годы и пройдя через несколько фазисов, укрепилась и стала в жизни поэта светлым маяком, к которому он всегда прибегал во время тяжкой борьбы, среди житейских и душевных бурь. Еще незадолго до смерти своей поэт, обращаясь к любимой им женщине, именует ее своим идеалом, своей «Мадонной!»

С тех пор, как мне явилась ты,
Моя любовь — мне оборона
От гордых дум и суеты.

Лицо им столь любимое это — Варвара Александровна Лопухина. Она была одних лет с поэтом. Родилась тоже в 1814 году. Равенство лет и было, между прочим, причиной многих страданий для Михаила Юрьевича, потому что Варенька по годам своим уже была членом общества, когда ровесник ее, Мишель, все еще считался ребенком. И когда за Варенькой ухаживали в московских салонах, Мишель считался школьником, на чувство которого к девушке никто и не думал обращать серьезного внимания. Да и серьезность чувства развилась уже впоследствии. Лермонтов сам замечает, что «впечатления, сначала легкие, постепенно врезывались в его ум все глубже и глубже, так что впоследствии эта любовь приобрела над его сердцем право давности, священнейшее из всех прав человечества».

Они были знакомы друг с другом с раннего детства, и любовь их имела характер неясный, колеблясь между братским чувством и влюбленностью. Варенька не всегда могла уследить за капризным, изменчивым, зыбким настроением поэта, требовавшего от нее то нежности сестры, то страстного чувства. Она же казалась ему изменчивой, не понимающей его, и в

стихотворениях к ней отразились все колебания чувства, от нежнейшей привязанности до горьких упреков, до выражения ревности, негодования, вспышек ненависти, но во всяком случае непритворного душевного страдания. Еще в 1830 году, во время хождения большим обществом на богомолье, Лермонтов, впервые сознав любовь свою к Варваре Александровне, воспользовался случаем с нищим, которому кто-то в протянутую руку вместо хлеба положил камень, и написал:

Так я молил твоей любви
С слезами горькими, с тоскою;
Так чувства лучшие мои
На век обмануты тобою.

В 1830 году, под гнетом ревности и отчаяния, юноша даже мечтает о том, чтобы, бросив университет, поступить юнкером в гусарский полк и на полях битвы во время польской компании сложить свою голову или скорее добраться до независимого общественного положения. Но останется ли она ему верна? Михаил Юрьевич написал тогда стихотворение «Гость», которое намекает на его отношение к Вареньке. Калмар уезжал на войну, Кларисса клянется, что останется верна:

«Вот поцелуй последний мой. С тобою в храм и в гроб с тобой».

Но Кларисса не сдержала обещаний. С новою весною она стала невестой другого. На свадебный пир является никому не известный гость. Он не ест, не пьет, его шлем избит в боях. То был Калмар, павший на поле чести и явившийся наказать клятвопреступницу. Он, как в знаменитой балладе Бюргера «Леонора», дважды переведенной Жуковским, уносит невесту с собой в могилу. Это весьма слабое стихотворение можно считать первым наброском стихотворения «Любовь мертвеца».

Когда и при каких условиях зародилась эта любовь, мы знать не можем. Близкий свидетель отношений Лермонтова к Вареньке рассказывает: «Будучи студентом, он (Лермонтов) был страстно влюблен, но не в Мисс Блэкайз (то есть Катю Сушкову), а в молоденькую, милую, умную и, как день, в полном смысле восхитительную В.А. Лопухину; это была натура пылкая, восторженная, поэтическая и в высшей степени симпатичная. Как теперь помню ее ласковый взгляд и светлую улыбку; ей было лет 15-16, мы же были дети и сильно дразнили ее; у ней на лбу (над бровью) чернелось маленькое родимое пятнышко, и мы всегда приставали к ней, повторяя: „У Вареньки родинка, Варенька уродинка“, но она, добрейшее создание, никогда не сердилась». Чувство к ней Лермонтова было безотчетно, но истинно и сильно, и едва ли не сохранил он его до самой смерти своей, несмотря на

некоторые последующие увлечения, но оно не могло набросить — и не набросило — мрачной тени на его существование, напротив: в начале своем оно возбудило взаимность, впоследствии, в Петербурге, в гвардейской школе, временно заглушено было новой обстановкой и шумной жизнью юнкеров тогдашней школы, по вступлении в свет — новыми успехами в обществе и литературе; но мгновенно и сильно пробудилось оно при неожиданном известии о замужестве любимой женщины; в то время о байронизме не было еще и помину.

В 1836 году в неоконченном романе «Княгиня Лиговская» Лермонтов в главе V описывает вспыхнувшее чувство любви в «Вере» и «Жорже» — два имени, которые мы не без основания могли бы заменить Варей и Мишелем.

До какой степени еще и тогда творчество Лермонтова истекало из переживаемого, и как он рисовал героев своих с натуры, можно видеть из того, что в том же 1836 году, когда писал он «Княгиню Лиговскую», он нарисовал акварелью и портрет Вареньки Лопухиной, тогда уже вышедшей за Бахметева, совершенно в таком виде и костюме, в каком описывается Вера в романе: «Молодая женщина в утреннем атласном капоте и блоповом чепце сидела небрежно на диване». Но еще и до романа «Княгиня Лиговская» Лермонтов не раз изображал любовь свою к Вареньке в произведениях своих. Так, поэма «Демон», особенно в первых очерках, вся проникнута изображением душевных бурь поэта и его любви к чудной девушке, от которой он ждал спасения, в которой видел для себя оплот против мрачных дум и настроений души. В себе видел поэт мрачного демона, в Вареньке — ясное безгрешное существо, которое одно может вернуть его к небесам, то есть к правде и добру. Сказание, слышанное им еще ребенком на Кавказе, о любви демона (горного духа) к непорочной девушке, от которой ждал он для себя обновления и возврата к свету и счастию, кажется ему, вполне выражало то состояние, в котором он находился. И под гнетом семейных драм между отцом и бабушкой, и под влиянием мрачной байроновской музы, очаровавшей юношу-поэта, пишет он в 1829-1831 годах излюбленную поэму, в которой рисует любовь демона к чистой девушке, то есть свою любовь к Вареньке. Ведь еще раньше в лирическом стихотворении он говорил про себя: «Собранье зол — его стихия»...

Преувеличения мрачности духа побудили Лермонтова около того же времени в «Горбаче-Вадиме» попытаться в прозе выразить то, что не удовлетворяло его в очерках вышеназванной поэмы. Самую поэму, вновь и вновь переделывая, он посвящает Вареньке уже со второго очерка 1830 года. Удаляясь воображением в

страну предков своих — в Испанию, Михаил Юрьевич и место действия «Демона» переносит туда же; женщина же, которую любил демон, является в образе испанки-монахини. При этом поэт тушью нарисовал эту испанку-монахиню, придавая ей черты Вареньки.

Любовь Михаила Юрьевича к Вареньке жила и развивалась под разными настроениями. Молодой человек сам себе не мог дать ясного отчета в чувстве своем; то полный восторженной радости, то мрачного отчаяния, ревности или презрения, он и отходил и вновь возвращался к любимому предмету, полный стыда и отчаяния:

Как дух отчаянья и зла,
Мою ты душу обняла,
О, для чего тебе нельзя
Ее совсем взять у меня?
Моя душа — твой вечный храм;
Как божество твой образ там;
Не от небес, лишь от него —
Я жду спасенья своего...

или же, когда его брала досада и подозрение, что Варенька заинтересовалась другим, он восклицал:

Я не унижусь пред тобою:
Ни твой привет, ни твой укор
Не властны над моей душою.
Знай, мы чужие с этих пор...

А затем им опять овладевала досада на себя, и он рвался к ней:

О вымоли ее прощенье,
Пади, пади к ее ногам,
Не то — ты приготовишь сам
Свой ад, отвергнув примиренье.

Думая заглушить любовь к Вареньке иным чувством, увлечением к другим, ему все же приходится сознаваться, что другой он любить не может: «Я не могу другой любить», что «у ног других не мог забыть он блеск ее очей!» Когда же Вареньку окружали поклонники, и ему, мрачно наблюдавшему за ней в углу залы или гостиной, она бросала взор любви и приязни, наполнявшей светлой надеждой все его существо, он торопился писать ей менее пасмурно:

Не верь хвалам и увереньям,
Неправдой истину зови,
Зови надежду сновиденьем,
Но верь, о верь моей любви!
Твоей любви нельзя не верить,

А взор не скроет ничего;
Ты неспособна лицемерить:
Ты слишком ангел для того.

Так, в постоянных тревогах и надеждах, в волнениях неуясненного чувства, в порывах и увлечениях еще неустоявшегося характера, голодный сердцем, чуткий до всего доступного человеку, проводил Лермонтов свои университетские годы. Неясный для самого себя, опасливый выдать сокровенные струны души, Михаил Юрьевич глубоко затаил привязанность к Вареньке:

Беречь сокровища святые
Теперь я выучен судьбой;
Не встретят их глаза чужие;
Они умрут во мне, со мной.

В таком состоянии переехал поэт в Петербург, в новую обстановку и условия жизни, мало соответствовавшие душевным его стремлениям. Но он так владел собой, что в жизни казался порой ровного характера; всегда был весел, занимался музыкой и рисованием, но скрываемые пыл души и мысли порой давали себя знать в неестественной веселости, в выходках и остротах, которые, заставляя смеяться слушателей, не раз возбуждали недовольство в особенности мелких и самолюбивых натур. Новые товарищи и общее направление столичной молодежи, с которой Лермонтов сталкивался, развивали в нем стороны, которые уже проявлялись и в Москве в похождениях «веселой банды». Друзья его опасались за него и в письмах давали наставления и посылали ему предостережения. Понятно, что образы из дней первой юности меркли.

Но вот через два года после выезда из Москвы, в конце 1834 года, приезжает в Петербург товарищ детства Аким Павлович Шан-Гирей и привозит поклон от Вареньки. «В отсутствие Лермонтова, — рассказывает Аким Павлович, — мы с Варенькой часто говорили о нем; он нам обоим, хотя не одинаково, но ровно был дорог. При прощании, протягивая руку, с влажными глазами, но с улыбкой, она сказала мне;

— Поклонись ему от меня; что я покойна, довольна, даже счастлива.

Мне очень было досадно на Мишеля, что он выслушал меня как будто хладнокровно и не стал о ней расспрашивать, я упрекнул его в этом, он улыбнулся и отвечал:

— Ты еще ребенок, ничего не понимаешь!

— А ты хоть и много понимаешь, но не стоишь ее мизинца! — возразил я, рассердившись не на шутку»...

Скоро, в начале 1835 года, Лермонтову сообщают, что

Варенька стала невестой и выходит замуж за господина Бахметева. Это известие сильно возмущает Михаила Юрьевича. Привыкший скрывать свои чувства, он и тут не дает воли негодованию и только, как бы случайно, замечает в письме к Саше Верещагиной: «Г-жа Углицкая сообщала мне также, что M-lle Barbe выходит замуж за г. Бахметева. Не знаю, должен ли я верить ей, во всяком случае, я желаю M-lle Barbe жить в брачном мире и согласии до празднования ее серебряной свадьбы и даже долее того, если только она до времени не восчувствует отвращения»... Однако рядом с негодованием в Лермонтове сильно пробудилась задремавшая было любовь к Вареньке. Шан-Гирей ясно свидетельствует о том. Он рассказывал, как Лермонтов не находил себе места. Он желает потопить муку душевную в светских удовольствиях и рассеянном образе жизни или в литературных занятиях. В последнем случае он, оставаясь верным себе, пытается вверить бумаге волнующее его чувство — изложить событие в художественном произведении. Если бы до нас дошли письма поэта к ближайшим друзьям: А.М. Верещагиной и М.А. Лопухиной, то многое, вероятно, выяснилось бы, потому что ни с кем не был Лермонтов так откровенен, как с этими двумя подругами детства. К сожалению, до нас дошло только одно письмо к Верещагиной, относящееся к этому времени. Мария Александровна же уничтожала все, где в письмах к ней Лермонтов говорил о сестре ее Вареньке или муже ее. Даже в дошедших до нас немногих листах, касающихся Вареньки и любви к ней Лермонтова, строки вырваны. Виной тщательного уничтожения в письмах всего, что касалось Вареньки, был образ действия самого поэта, особенно по отношению к мужу ее, как увидим ниже.

Строки в письме к Марии Александровне относительно возможного выхода Вареньки замуж показывают большое раздражение. Но Михаил Юрьевич не верил слуху потому, что уже часто сердили его подобными сообщениями. Однако на этот раз слух оправдался. Варенька вышла замуж в 1835 году.

«Мы играли с Мишелем в шахматы, — рассказывает Шан-Гирей, — человек подал письмо; Мишель начал его читать, но вдруг изменился в лице и побледнел; я испугался и хотел спросить, что такое, но он, подавая мне письмо, сказал: „Вот новость — прочти“, — и вышел из комнаты. Это было известие о предстоящем замужестве В.А. Лопухиной».

На Рождественских праздниках Лермонтов приехал в Москву. Он торопился к бабушке в Тарханы и потому останавливался там недолго. Краткое свидание с Варенькой при посторонних, при муже, ненавистном для поэта, только увеличило чувство

неприязни его к любимой в юности женщине. При страстности натуры Лермонтова переход от любви к ненависти, или по крайней мере неприязни, должен был совершиться быстро. При привычке скрывать чувства свои, неприязнь проявлялась в сарказме и глумлении. Варенька при этой встрече изведала много тяжких моментов.

Михаил Юрьевич считал ее коварной. Он не мог простить ей, что она вышла замуж за богатого и «ничтожного» человека, что она могла изменить чувству своему к поэту и предпочесть ему такую посредственность, какую представлял из себя Бахметев. И на такую-то женщину он молился! Ее мог он возвести в идеал, бывший целые годы неразрывным спутником всех его помыслов и мечтаний! Эта была та особа, любовь которой одна только могла спасти его от душевного мрака! Как Демон его излюбленной поэмы ждал обновления от непорочной девушки, так он «молил ее любви»; и что же? — все одно коварство и притворство с ее стороны! В поэте, случайно встречавшем имя «Варвара», просыпается горечь воспоминаний. Рассказывая о девушке, которую звали этим именем, поэт восклицает:

Она звалась В(арюшею)... Но я
Желал бы дать другое ей названье,
Скажу, при этом имени, друзья,
В груди моей шипит воспоминанье,
Как под ногой прижатая змея,
И ползает, как та среди развалин
По жилам сердца...

Знаменательно, что Лермонтов в поэме не решается обозначать полностью имя изображаемого им падшего существа, потому что она именовалась Варварой, а ограничивается выставкой только первой буквы, переделывая затем Варюшу в Парашу. Несмотря на всю неприязнь, в сердце поэта все еще теплилась любовь и уважение к Вареньке.

Так храм покинутый — все храм,
Кумир поверженный — все Бог!

Раз в душу Лермонтова запала мысль о коварстве Вареньки, а неприязнь к Бахметову усилилась, ему опять захотелось выставить в литературном произведении лиц из жизни, да так, чтобы и они себя узнали, да узнали их и другие. К этому маневру он прибегал и прежде, и в драме «Люди и страсти», и в «Странном человеке». Теперь поэт находился в Москве, в той же почти обстановке и условиях жизни, среди людей, соприкасавшихся с событиями, изображенными им в названных юношеских драмах. Задумывая писать драму «Два брата», Лермонтов даже берет имя героини из драмы «Странный человек». Как там является

Загорскина, так и здесь: Вера, жена князя Литовского, в новой драме рожденная Загорскина. Желая уязвить Вареньку, Лермонтов в драме выставляет Верочку, вышедшей за князя Литовского ради его богатства: у него 3000 душ, «а есть ли у него своя?» — спрашивает Юрий Радин. «Признаюсь, — говорит он о Вере, — я думал прежде, что сердце ее не продажно... Теперь вижу, что оно стоило несколько сот тысяч дохода». Михаил Юрьевич прилагает все старания, чтобы события драмы, где возможно, совпадали с тем, что было между ним и Варенькой. Юрий Радин рассказывает, в присутствии князя и княгини Литовских, историю любви своей к одной девушке в Москве, следующим образом:

Вот видите, княгиня, года три с половиной тому назад я был очень коротко знаком с одним семейством, жившим в Москве; лучше сказать, я был принят в нем, как родной. Девушка, о которой хочу говорить, принадлежит к этому семейству: она была умна, мила до чрезвычайности; красоты ее не описываю, потому что в этом случае описание сделалось бы портретом; имя же ее для меня трудно произнести.

КНЯЗЬ. — Верно очень романическое.

ЮРИЙ. — Не знаю, но от нее осталось мне только одно имя, которое в минуты тоски привык я произносить, как молитву; оно моя собственность, я его храню, как образ — благословение матери, как татарин хранит талисман с могилы пророка

С самого начала нашего знакомства я не чувствовал к ней ничего особенного, кроме дружбы... Говорить с ней, сделать ей удовольствие было мне приятно — и только. Ее характер мне нравился: в нем видел какую-то пылкость, твердость и благородство, редко заметные в наших женщинах: одним словом, что-то первобытное, что-то увлекающее. Частые встречи, частые прогулки, невольно яркий взгляд, случайное пожатие руки — много ли надо, чтоб разбудить таившуюся искру?.. Во мне она вспыхнула; я был увлечен этой девушкой, я был околдован ей, вокруг нее был какой-то волшебный очерк; вступив за его границу, я уже не принадлежал себе; она вырвала у меня признание, она разогрела во мне любовь, я предался ей, как судьбе; она все не требовала ни обещаний, ни клятв, когда я держал ее в своих объятиях и сыпал поцелуи на ее огненное плечо; но сама клялась любить меня вечно. Мы расстались — она была без чувств; все приписывали то припадку болезни — я один знал причину... Я уехал с твердым намерением возвратиться скоро. Она была моя — я был в ней уверен, как в самом себе. Прошло три года разлуки, мучительные, пустые три года; я далеко подвинулся дорогой жизни, но драгоценное чувство

следовало за мной. Случалось мне возле других женщин забыться на мгновенье; но после первой вспышки, я тотчас замечал разницу, убийственную для них — ни одна меня не привязала, и вот, наконец, вернулся на родину.

КНЯЗЬ. — Завязка романа очень обыкновенна.

ЮРИЙ. — Для вас, князь, и развязка покажется обыкновенна... Я ее нашел замужем — я проглотил свое бешенство из гордости... Но один Бог видел, что происходило здесь.

КНЯЗЬ. — Что ж? Нельзя было ей ждать вас вечно.

ЮРИЙ. — Я ничего не требовал — обещания ее были произвольны.

КНЯЗЬ. — Ветреность, молодость, неопытность ее надо простить.

ЮРИЙ. — Князь, я не думал обвинять ее... но мне больно.

КНЯГИНЯ (дрожащим голосом). — Извините, но, может быть, она нашла человека еще достойнее вас.

ЮРИЙ. — Он стар и глуп.

КНЯЗЬ. — Ну, так очень богат и знатен.

ЮРИЙ — Да.

КНЯЗЬ. — Помилуйте — да это нынче главное! Ее поступок совершенно в духе века.

ЮРИЙ (подумав). — С этим не спорю.

КНЯЗЬ. — На вашем месте я бы теперь за ней поволочился; если ее муж таков, как вы говорите, то, вероятно, она вас еще любит.

КНЯГИНЯ (быстро). — Не может быть.

ЮРИЙ (пристально взглянув на нее). — Извините, княгиня! Теперь я уверен, что она меня еще любит. (Хочет идти).

В князе Литовском Лермонтов рисует Бахметева, выставляя его весьма ограниченным и ничтожным человеком, которого Вера в глубине души должна была презирать. Драма «Два брата», попавши в руки Варвары Александровны и мужа ее, рядом подобных выписанных нами мест, должна была страшно опечалить первую и оскорбить второго, тем более, что сама драма, конечно, не придерживается безусловно действительных событий. Борьба двух братьев — мотив, взятый из юношеских творений. ЭТИ отношения, равно как развязка и многие сцены в драме, не имеют ничего общего с действительностью, или по крайней мере с действительностью по отношению к Вареньке и ее мужу. Но для последнего оскорбительность намеков были тем сильнее, что, как видели мы, некоторые сообщения все же имеют автобиографическое значение, хотя и получили тенденциозное освещение.

Драма «Два брата» писана была очень наскоро. В письме из

Тархан от 16 января 1836 года Лермонтов сообщает С.А. Раевскому: «...Пишу четвертый акт новой драмы, взятой из происшествия, случившегося со мной в Москве»... Там же он замечает, что пока не описывает своего похождения в этом городе. Возвратись в середине марта того же года в Петербург, где Михаил Юрьевич жил с Раевским на одной квартире до приезда бабушки, друзья вместе перечли драму и остались ей недовольны. Было решено написать новое произведение и изложить отношения Лермонтова к Вареньке в форме рассказа. Так создалась повесть «Княгиня Литовская».

Имя героини драмы и ее мужа было удержано. Сохранено и изложение фактов из жизни Михаила Юрьевича и отношений его к Вареньке, опять-таки в тенденциозном свете, Бахметев же выставлен в том же непривлекательном виде: о нем говорится с изысканным презрением и вызывающей обидой. «Как, неужели этот господин, который за княгиней шел так смиренно, ее муж?.. Если б я их встретила на улице, то приняла бы его за лакея. Я думаю, что она делает из него все, что хочет, — по крайней мере все, что можно из него сделать... — Однако она счастлива. — Разве вы не заметили сколько на ней бриллиантов».

Конечно, в повести этой, как и в драме, читатель встретит множество других мотивов. Здесь находится изображенным и эпизод второй встречи Лермонтова с Е.А. Сушковой (позднее Хвостовой). Она выставлена под именем Негуровой. Поэт вообще расширил задачу; он не хотел останавливаться на личных мотивах мести и автобиографических интересах, он думает уже о представлении типа современного ему денди. Он мечтает о произведении, в котором был бы выставлен современный человек

С его озлобленной душой,

Самолюбивой и пустой!

Лермонтов к концу 1836 года начинал выходить из интересов и круга «золотой молодежи» Петербурга. Период тревог и волнений молодости заканчивался. Он переставал бросаться из стороны в сторону. Начинал больше задумываться над жизнью, серьезнее относиться к тому, что происходило на родине, в обществе и в нем самом. Он уже отходил от себя такого, каким являлся в модных салонах, и вот мы замечаем, как в повести «Княгиня Лиговская» зарождается тип Печорина. Кстати сказать, имя это является здесь в первый раз. Надо полагать, что Лермонтов с Раевским, раз забраковав драму «Два брата», долго и много обсуждали роман «Княгиня Лиговская», он и писался ими с промежутками вперемежку, то рукой поэта, то рукой Раевского.

Чем больше зрел Лермонтов, тем более сокращался в произведениях его элемент лично пережитого. Задуманный тип

современного денди в Печорине «Героя нашего времени» уже вырос и сложился в могучее развесистое дерево, высоко раскинувшее ветви свои над далеко распространившимися корнями. Печорин в «Княгине Литовской» только показывается еще над почвой личной жизни, и его листочки едва раскрылись над чуть-чуть двоящимися корнями.

Повесть «Княгиня Лиговская», над которой трудились молодые люди в конце 1836 года, осталась неоконченной. Над ними стряслась катастрофа. За стихи на смерть Пушкина Раевский, распространявший их, был сослан в Петрозаводск, Лермонтов — на Кавказ. По возвращении с Кавказа Лермонтов стал другим человеком. Он сам это чувствовал и писал Раевскому в 1838 г., чтобы и он съездил туда, ибо поздоровеет и телом, и душой. Теперь, оглядываясь на жизнь свою и интересы, поэт почувствовал себя зрелее, зрелее стало в нем и чувство любви к Вареньке. Он устыдился своих недавних ощущений. «Роман („Княгиня Лиговская“), который мы с тобой начали, — пишет он Раевскому, — затянулся и вряд ли кончится, ибо обстоятельства, которые составляли его основу, переменились, а я, знаешь, не могу в этом случае отступить от истины».

Уже в Москве он дружелюбно встретился с Варенькой, и отношения их, по крайней мере с внешней стороны, стали спокойные и дружественные.

Чувства свои Лермонтов скрывал часто под разными выходками, но уже более невинного рода, без злобы и сарказма, которыми прежде он язвил Вареньку. Было ли между ними объяснение и какое — как знать?! Но только Лермонтов стал еще тщательнее скрывать перед другими свои чувства к Вареньке.

Я не хочу, чтоб свет узнал
Мою таинственную повесть:
Как я любил, за что страдал;
Тому судьи лишь Бог да совесть.

Угрюмый жилец двух стихий, он, кроме бури и громов, никому своей думы не вверит, но на хребтах ли Кавказских гор, на волнах ли Черного моря, по степям ли России, беспокойный странник, он все же думает и мечтает о ней. Горячая молитва о ней восходит к престолу Превечного. Теплой заступнице перед ним, Матери Божией поручает он любимое создание:

Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника, в свете безродного;
Но я вручить хочу деву невинную
Теплой Заступнице мира холодного.
Окружи счастием душу достойную,
Дай ей сопутников, полных внимания,

Молодость светлую, старость покойную,
Сердцу незлобному мир упования...

Только к Бахметеву Лермонтов упорно хранил неприязненное чувство. Внешняя порядочность, посредственность и внутренняя ничтожность этого характера бесили Михаила Юрьевича, и он по-прежнему был не прочь поязвить его, посмеяться над ним. Он не выносил его возле в «полном смысле восхитительно симпатичной, умной и поэтической Вареньки». К ней он относился все как к Лопухиной. Фамилии ее по мужу он не признавал. Еще в 1840 или 1841 году, посылая Вареньке новую переделку поэмы «Демон», он в переписанном в посвящении в поэме из поставленных переписчиком инициалов В. А. Б. (Варваре Александровне Бахметевой) с негодованием перечеркивает несколько раз Б. и ставит Л. (Лопухиной).

Что собственно побудило Вареньку выйти за Бахметева, мы утвердительно сказать не можем. Достоверно не слышали, а делать предположения — к чему?

Быть может, Варенька действительно увлеклась богатством и затем всю жизнь томилась «за что раз тельцу златому на миг поверила она». Быть может, ее упрашивали сделать выгодную партию, а холодность Михаила Юрьевича, упорно хранившего молчание в Петербурге и хохотавшего, когда ему говорили о ней, заставили ее уверовать в то, что поэт навсегда от нее отвернулся. Словом, то же, что говорит о своем выходе за князя пушкинская Татьяна:

Меня с слезами заклинаний
Молила мать!.. Для бедной Тани
Все были жребии равны...
Я вышла замуж...

Бахметев был в сущности «добрый человек»: по крайней мере, он слыл за такого еще в начале 80-х годов, когда в Москве был постоянным членом Английского клуба. Его постоянно можно было там видеть, но, конечно, никому почти не была известна та роль, которую играл он в жизни Лермонтова и кем была для последнего тогда уже покойная жена его. Несмотря на репутацию «доброго человека», Бахметев не прочь был позлословить о Лермонтове с братьями Мартыновыми, тоже посещавшими клуб, да кое с кем из теперь еще существующих в Москве лиц, между ними и известных русских деятелей в области литературы и журналистики. Если же кто выказывал интерес к памяти Лермонтова, Бахметев выходил из себя, особенно, когда подозревал, что знают об отношении к нему поэта. Когда в 1881 году мне захотелось переговорить с Бахметевым и проверить кое-что из данных о поэте, близкие к Бахметеву люди, к которым я

обратился, умоляли меня этого не делать: «Добрейший старик умрет от апоплексического удара, — говорили мне. — Пожалейте его». Я должен был удовлетвориться сведениями, которые были мне доставлены некоторыми из его добрых знакомых.

Было говорено о том, что Лермонтов мстил Бахметеву, выставляя его в своих произведениях в самой жалкой роли. Возможно, что до него дошли слухи о том, как изображен он в некоторых еще ненапечатанных сочинениях поэта, если не самые сочинения. Но и того, что стояло в «Герое нашего времени» было достаточно, чтобы вывести из себя Бахметева. В «Княжне Мэри» он изображен в лице мужа Веры, незначащего хромого старика, играющего столь незавидную роль в романе. И здесь в этом произведении видна связь с драмой «Два брата» и повестью «Княгиня Литовская». Имя княгини Литовской встречается во всех трех произведениях. Везде героиню зовут Верой. Только все, что касается нее, сильно смягчено. Здесь Вера выходит замуж за ничтожного человека не ради большого его состояния и личных расчетов, а для своего сына, принося ему эту жертву. В Вере в «Герое нашего времени» сходство с Варенькой тоже смягчено сравнительно с прежними произведениями. Симпатичный характер Вареньки Лопухиной раздвоен и представлен в двух типах. В типе Мэри, каким он мог казаться в юные ее годы, и в Вере, каким сложился потом, любящим и убитым существом, прикованным к чуждому ей по развитию и уму человеку.

Недалекому Бахметеву все казалось, что все, решительно все, читавшие «Героя нашего времени», узнавали его и жену его. К довершению сходства у Веры в романе Лермонтова характерная примета: родинка на щеке — у Вареньки была характерная родинка над бровью... Нам известен случай, когда старик Бахметев на вопрос, был ли он с женой на кавказских водах, пришел в негодование и воскликнул: «Никогда я не был на Кавказе с женой! — это все изобрели глупые мальчишки. Я был с ней больной на водах за границей, а никогда не был в Пятигорске или там в дурацком Кисловодске».

Все это отдаленное сходство лиц романа Лермонтова с Варенькой и ее мужем никому и в голову не приходило. В печати сколько раз прорывалось сообщение о том, кто был выставлен в княжне Мэри и в Вере. Много называли и называют имен; но никогда и нигде не были поименованы Варенька и злополучный муж ее.

Неосторожная месть Лермонтова своему сопернику всей тяжестью упала на ни в чем неповинную Вареньку. Бахметев и так не был расположен к Лермонтову, но, наконец, до того осерчал на него, что решительно запретил Вареньке иметь с поэтом какие-

либо отношения. Он заставил ее уничтожить письма поэта и все, что тот когда-либо ей дарил и посвещал. Тогда-то Варенька передала дорогие ей рукописи и рисунки поэта близким своим, в особенности Саше Верещагиной. Таким образом, в семье последней в Штутгарте сохранилось многое. Баронессе Гюгель, рожденной Верещагиной, достались, между прочим, два портрета Вареньки, рисованные Лермонтовым, о которых говорено выше, то есть Варенька в образе испанской монахини из первых очерков «Демона» и в образе «Княгини Литовской» и портрет самого поэта, рисованный им акварелью в зеркало в 1837 году на Кавказе. В семье Верещагиной сохранилось и посвящение к «Демону» в окончательной редакции и многое, о чем я говорю в биографии Лермонтова.

«Весной 1838 года Варвара Александровна приехала с мужем в Петербург, проездом за границу, — рассказывает Шан-Гирей. — Лермонтов был в Царском, я послал к нему нарочного, а сам поскакал к ней. Боже мой, как болезненно сжалось мое сердце при ее виде! Бледная, худая, и тени не было прежней Вареньки, только глаза сохранили свой блеск и были такие же ласковые, как и прежде. „Ну как вы здесь живете? — Почему же это вы? — Потому, что я спрашиваю про двоих. — Живем как Бог послал, а думаем и чувствуем как в старину. Впрочем, другой ответ будет из Царского через два часа. — Это была наша последняя встреча: ни ему (Лермонтову), ни мне не суждено было ее больше видеть“».

Не знаю, точно ли Лермонтов больше не видал ее. Кажется, что затем в двухкратный проезд через Москву это ему не удавалось. Он, впрочем, сильно скорбел о неприятностях, которым он подверг Вареньку со стороны мужа, и вести о которых до него доходили. 8 сентября 1838 года он ей послал очерк «Демона», писанного им на Кавказе и оконченного в Петербурге. Это так называемый пятый очерк с собственноручными пометками и посвящением в конце тетради, писанным его же рукой.

Я кончил — и в груди невольное сомненье:
Займет ли вновь тебя давно знакомый звук,
.....
И не узнаешь здесь простого выражения
Тоски, мой бедный ум томившей столько лет;
И примешь за игру и сон воображенья
Больной души тяжелый бред...

Раз только Лермонтов имел случай в третьем месте увидать дочь Варвары Александровны. Он долго ласкал ребенка, потом горько заплакал и вышел в другую комнату. Его, очевидно,

мучило раскаянье за те горести, которые он причинял матери из-за своего невоздержанного языка, из-за желания в сочинениях своих язвить Бахметева. Видеть любимую, страдающую женщину ему было заказано. Старые годы счастья и надежд, потом годы черствого отношения к дорогому существу, а затем годы печали и безнадежной привязанности вставали перед ним. Все это выражено поэтом в прекрасном стихотворении «Ребенку».

О грезах юности томим воспоминаньем,
С отрадой тайною и тайным содроганьем,
Прекрасное дитя, я на тебя смотрю...
О если б знало ты, как я тебя люблю!..
... Не правда ль, говорят,
Ты на нее похож? — Увы! Года летят;
Страдания ее до срока изменили.
Но верные мечты тот образ сохранили
В груди моей; тот взор, исполненный огня,
Всегда со мной...
...Ты ей не говори ни про мою печаль,
Ни вовсе обо мне. К чему? Ее, быть может,
Ребяческий рассказ рассердит иль встревожит...
Но мне ты все поверь. Когда в вечерний час,
Пред образом с тобой заботливо склонясь,
Молитву детскую она тебе шептала
И в знаменье креста персты твои сжимала...
... — Скажи, тебя она
Ни за кого еще молиться не учила?
Бледнея, может быть, она произносила
Название, теперь забытое тобой...
Не вспоминай его... что имя? — звук пустой!
Дай Бог, чтоб для тебя оно осталось тайной.
Но если как-нибудь, когда-нибудь, случайно
Узнаешь ты его — ребяческие дни
Ты вспомни, и его дитя, не прокляни!

И в стихотворениях, и в тихом кабинете, и в шуме боевой жизни образ Вареньки сопровождал поэта. Читая, например, вводные стихи к чудному описанию битвы под Валериком, несмотря на всю игривость тона, чувствуется высокая душа поэта, вся пронизанная любовью к Варваре Александровне. Игривость и шаловливость при личных встречах давно доставили поэту со стороны Варвары Александровны прозвание «чудак». На это прозвище намекает поэт в заключительных стихах своего письма с берегов «Речки смерти» (Валерика):

Простите мне его как шалость
И тихо молвите: чудак!

В 1841 году Михаил Юрьевич пишет лирическое стихотворение «Оправдание» по адресу Варвары Александровны. Это скорее моленье о прощении. Как бы предчувствуя возможность близкой смерти своей, которая, наконец, угомонит то сердце, «где так безумно, так напрасно с враждой боролася любовь», поэт видит и горькую участь, которая может постичь предмет его любви:

Когда пред общим приговором
Ты смолкнешь, голову склоня,
И будет для тебя позором
Любовь безгрешная твоя; —
Того, кто страстью и пороком
Затмил твои младые дни,
Молю, язвительным упреком
Ты в оный час не помяни,
Но пред судом толпы лукавой
Скажи, что судит нас Иной,
И что прощать святое право
Страданьем куплено тобой.

Не прошло и шести месяцев, предчувствие близкой смерти оправдалось, и перед самой кончиной своей поэт еще раз взывает к своему идеалу, уверенный, что дорогая женщина на далеком севере одновременно с ним видит тот же сон; его труп в жаркой долине Кавказа, среди желтых вершин скал, сжигаемых полуденным солнцем, — труп с дымящейся в груди раной, труп одинокого, не понятого странника — бойца и пророка.

Она пережила его, томилась долго и скончалась, говорят, покойно в 1851 году.

ГЛАВА XV

Возвращение с Кавказа. — Приезд в Петербург. — В Гродненском гусарском полку. — Покровительство Бенкендорфа. — Перевод в лейб-гвардии гусарский полк. — Положение общества. — Отношение Лермонтова к современникам. — Суждение о поэте декабриста Назимова, князя Васильчикова и др. — Дума. — Суждение Боденштедта. — Лермонтов в литературных кружках и среди высшего общества. — Охлаждение к нему Бенкендорфа.

Хотя прапорщик Нижегородского драгунскго полка Лермонтов и был назначен корнетом в лейб-гвардии Гродненский гусарский полк Высочайшим приказом 11 октября 1837 года, но

прибыл он в Новгород, где стоял полк, только 25 февраля 1838 года. Более 4 месяцев поэт странствовал. Сначала по нездоровью он жил в Пятигорске, потом в Ставрополе, Елисаветграде и других городах; побывал в Москве и Петербурге и уж затем прибыл на место нового служения.

В Петербурге молодой человек был принят начальством благосклонно. Его не торопили выездом в полк, и он жил у бабушки, посещая общество и театры. Литературные кружки оказывали ему внимание, маститый поэт Жуковский пожелал видеть нового собрата, который успел уже заявить себя в печати такими произведениями, как «Песня про Ивана Васильевича Грозного и купца Калашникова» и «Бородино». Лермонтова представили Жуковскому, который принял его весьма дружественно, подарил экземпляр «Ундины» с собственноручной подписью и пожелал ознакомиться с тем, что было готового в портфеле Михаила Юрьевича. Ему особенно понравилась «Казначейша»; он читал ее с Вяземским и просил позволения напечатать в «Современнике».

Но чувствовал себя поэт в столичном обществе нехорошо. Ему было не по себе. Дурачиться и принимать участие в веселых кутежах и пирушках, как он это делал по выходе в офицеры, ему не хотелось. От прежнего круга товарищей он на Кавказе успел отвыкнуть. Домашняя обстановка не столько изменилась, сколько стала ему несносной. «Меня преследуют все эти милые родственники!» — пишет он Марье Александровне Лопухиной. Близкого друга и товарища С.А. Раевского не было. Он все еще оставался в ссылке, и это удручало Михаила Юрьевича. Поэт чувствовал себя одиноким.

Гляжу на будущность с боязнью,
Гляжу на прошлое с тоской,
И, как преступник перед казнью,
Ищу кругом души родной...
.....
И тьмой и холодом объята
Душа усталая моя...

15 февраля Михаил Юрьевич пишет в Москву к М. Лопухиной: «Первые дни после приезда прошли в постоянной беготне: представления, церемонные визиты!.. Да еще каждый день ездил в театр; он хорош, это правда, но мне уж надоел... Я-таки упал духом и хотел бы как можно скорее бросить Петербург и уехать куда бы то ни было, в полк ли, или хоть к черту!» Ему хочется бросить службу, но родственники противодействуют тому. Находя, что это вызвало бы неудовольствие, что его простили — ему надо загладить проступок, окончательно

примирить с собой.

В конце февраля Лермонтов приезжает в полк, где помещается на одной квартире с Н.А. Краснокутским. Здесь ему не живется, в течение полутора месяцев он дважды ездит в отпуск по 8 дней в Петербург. Картежная азартная игра, распространенная между товарищами по полку, ему быстро надоедает, да к тому же он раза два проиграл значительные суммы. С завистью глядит он на своего товарища поручика Цейдлера, командируемого на Кавказ, и ему досадно, что сердце белокурого немца, «полно не бранной сталью». Цейдлер был влюблен в молодую девушку по фамилии Сталь, и неохотно отправлялся «на войну с косматыми гяурами», в страну которых поэт полетел бы с наслаждением.

Между тем, бабушка поэта не переставала печалиться о судьбе внука и усиленно хлопотала через графа Бенкендорфа о переводе Лермонтова опять на прежнее место служения, в Царское Село, в лейб-гвардии гусарский полк. Бенкендорф, когда государь был в Закавказском крае, уже ходатайствовал за поэта, и следствием ходатайства был перевод его в Гродненские гусары. Теперь, под воздействием бабки и других родственников поэта, Бенкендорф от 24 марта (1838) пишет военному министру генерал-адъютанту графу А.И. Чернышеву: «Родная бабка его (корнета Лермонтова), огорченная невозможностью беспрерывно видеть его, ибо по старости своей она уже не в состоянии переехать в Новгород, осмеливается всеподданейше повергнуть к стопам Его Императорского Величества просьбу свою о всемилостивейшем переводе внука ее в лейб-гвардии гусарский полк, дабы она могла в глубокой старости (ей уже 80 лет) спокойно наслаждаться небольшим остатком жизни и внушать своему внуку правила чести и преданности к Монарху, за оказанное уже ему благодеяние. Принимая живейшее участие в просьбе этой доброй и почтенной старушки и душевно желая содействовать к доставлению ей в престарелых летах сего великого утешения и счастья, видеть при себе единственного внука своего, я имею честь покорнейше просить Ваше Сиятельство, в особенное, личное мне одолжение, и спросить у Государя Императора к празднику Св. Пасхи всемилостивое совершенное прощение корнету Лермонтову и перевод его в лейб-гвардии гусарский полк».

Ходатайство быстро пошло по инстанциям. Расположенный к молодому офицеру великий князь Михаил Павлович дал свое согласие, и уже 9 апреля Лермонтов Высочайшим приказом переводится в лейб-гвардии гусарский полк. Он был прощен совершенно. На него было обращено внимание начальства, связи

были у него хорошие, была протекция, от него зависело пойти успешно по службе.

Лермонтов вернулся в Петербург другим человеком. Юношеская веселость уступала все чаще припадкам меланхолии. Прежде «обилие материалов, бродящих в его мыслях, не позволяло ему привести их в порядок и только со времени пребывания его на Кавказе начинается полное обладание им самим собой, знакомство с своими силами и, так сказать, правильная эксплуатация способностей. Некрасивость его лица в молодые годы начала уступать место силе выражения и почти исчезла теперь, когда гениальность натуры и мысли стала преобразовывать черты».

Попав в прежний полк, на старое пепелище, поэт так же мало мог найтись в нем, как в обществе родственников и домочадцев. «Я здесь по-прежнему скучаю, — пишет он 8 июня С.А. Раевскому, — ученье и маневры производят только усталость. Писать не пишу, печатать хлопотно, да и пробовал, но неудачно». На Кавказе было где искать вдохновения: красота величественной природы, дикие нравы горцев, свобода жизни боевой, встреча с сильными и самобытными характерами — все это должно было воодушевлять поэта, особенно поэта, как Лермонтов, с столь развитой индивидуальностью. В Петербурге он теперь еще более ощутил то, что бросилось ему в глаза еще в первый приезд в 1832 году: «Видел я, — писал он тогда в Москву, — образчики здешнего общества: дам очень любезных, молодых людей весьма воспитанных — все они вместе производят на меня впечатление сада, в котором хозяйские ножницы уничтожили все своеобразное».

Оглядываясь вокруг себя, поэт впадает в мрачное состояние и неудивительно, что он задумывается над поколением, к которому сам принадлежит, с которым недавно еще шел рука об руку. Грядущее этого поколения представляется ему пустым или темным: «Едва из колыбели, и жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели, как пир на празднике чужом». Это-то поколение поэт бичует в своей знаменитой «Думе».

Время, когда Лермонтов вернулся в Петербург, было временем тяжелого брожения русской мысли. Передовые кружки 20-х годов с их великодушными мечтаньями и космополитическим беспочвенным либерализмом были рассеяны. Одни из представителей, искавшие удовлетворения в политической агитации, погибли. То были декабристы и немногие запоздалые их последователи. Другие вели половинчатую жизнь, притаившись, но не отказавшись от теорий «общегуманного либерализма», осторожно вели пропаганду, сея

скептицизм относительно русской жизни. Большинство из них — исключения были весьма редки — обладало образованием легким, светским, которое дополняло само диллетантически, большей частью по книжкам — часто весьма популярным — европейских писателей. Случалось, что сами они в более зрелые годы ужасались своей беспочвенности и, разыскивая выход из нее, обращались опять уже к готовым рамкам и формам высшей европейской культуры. «В эту дряблую и рыхлую среду, бессильную духом, оторванную от народной и церковной почвы, питавшей ее вещественно и духовно, врезались иезуиты, с их строго определенным учением, во всеоружии испытанной своей диалектики и вековой педагогической опытности».

Положим, Юрий Самарин говорит так по отношению к эпохе, немного предшествовавшей времени, о котором идет речь, но и здесь происходило тоже. Многие из довольно видных русских лиц этой эпохи переходят в католицизм; а Чаадаев в 1836 году в своих философских письмах «прочитывает отходную русской жизни», сильно склоняясь к принципам западно-европейского, католического мировоззрения.

Подавив и рассеяв названные выше либерально-космополитические кружки, правительство, однако, вполне сознавало необходимость реформ в России. Оно решилось озаботиться о благе общества и народа. Оно со вниманием относилось ко всем нуждам и требованием. Занялось вопросами внутренней политики, науки, воспитания, законодательства, крестьянским вопросом и проч. Деятельность сначала была изумительная. Символом поставлена была «народность». Правительство ввело строгую регламентацию. Упрочилось мнение, что устройство государства не представляет никакого деления власти, которое производит столько постоянных столкновений в других странах, что не нужно и нельзя допускать никакой борьбы одних частей нации или сословий против других. Всем назначалось определенное место, над всем возвышался один руководящий авторитет — полная система опеки, сильно смахивавшая на меттернихскую систему. Таким образом, политика, поставившая лозунгом своим «народность», сама зиждилась не на какой-либо новой системе, выведенной из своеобразных условий русского мира, а на взятых напрокат из европейской жизни понятиях. В сущности новый порядок вещей представлял собой ту же систему, основанную на западно-европейском идеале государства, столь же мало применимому к нуждам России, как «идеальный либерализм» и космополитические начала, представителями которых были многие из «декабристов».

К довершению всего, новая система «народности» приводилась в исполнение людьми совершенно неспособными понять, чего должно было ею достигнуть: Бенкендорфы, Дубельты, Клейнмихели, вторгавшиеся во все области народной и государственной жизни, ревниво следили за исполнением предначертаний. Мало-помалу они возвели исполнительность в идеал. Они приняли средство за цель и видели спасение в самой мелочной регламентации, которая по этой самой подробности и мелочности не могла быть на практике проводима, и потому открывала широкие двери произволу. В хаосе неуясненных и противоречивых начал, только небольшая кучка людей — народников — названных их противниками кличкой: «славянофилы», пыталась проводить гуманные и государственные начала на фундаменте истинной народности. Они в этом случае по отношению к русскому государству и жизни получают значение, аналогичное значению романтиков в Западной Европе, провозглашавших новые начала гуманности на почве изучения народа. В философии, литературе, истории и правоведении — во всех сферах умственной и государственной жизни сказалось это благотворным обновлением. Только там это основывалось на искусственном пробуждении умерших сторон народной жизни и верований, у нас же этот романтизм славянофилов являлся реальнее, потому что самый наш народный быт не утратил той жизненности своей, которая на Западе была сокрушена искусственной вековой опекой католико-схоластического строя.

Наши славянофилы по незначительному числу и по обособленности своего положения в обществе и администрации и многим причинам не могли привести учения своего в стройную систему, а при искусственности и теоретичности нашего общества это было необходимым условием для приобретения влияния.

Сначала и в течение многих лет искусственно созданная система внутренней и внешней политики, по-видимому, приносила блестящие результаты, и приезжавшие в Россию иностранцы были полны восторженных похвал; видели оздоровление нашей родины, тогда как жизнь на Западе представляла признаки хвори. «У нас все обстояло благополучно», — и все тому верили!

В существе было не то; исполнители предначертаний оказались ниже своего призвания. В силу упомянутой регламентации и идеала исполнителя, человек как мыслящая и индивидуальная единица живого общества уступал место бездушному звену в целой цепи безжизненной организации.

В это время возникла или особенно развилась рукописная литература как запретный плод, сильно действовавшая на

незрелые умы. Направление ее было, конечно, обличительного или отрицающего свойства. По-прежнему оторванная от почвы интеллигенция увлекалась этим направлением, и, когда Чаадаев провозгласил полный скептицизм относительно явлений и хода русской жизни, а Гоголь в то же время своей яркой сатирой на официальный строй показал, что «не все обстоит благополучно» — общество увлекалось, лозунг был дан, и понеслось оно по наклонной плоскости самообличения и самобичевания. В сумбуре теорий и воззрений чуждых почв было трудно найтись. Натуры цельные и глубокие впадали в конфликт и с собой и с обществом, и только тот, кто довольствовался негативным направлением и скептическим отношением ко всему, имел некоторое удовлетворение, хотя бы потому, что плыл с общим течением. Как ни странно это высказать, а такой человек все-таки являлся со своим протестом менее протестующим лицом, нежели человек, который добивался самостоятельного и сознательного мировоззрения со стремлениями положительного, а не отрицательного характера.

Лермонтов, «выросший среди общества, где лицемерие и ложь считались признаками хорошего тона, до последнего вздоха оставался чужд всякой лжи и притворства... Неопределенные теории и мечтания были ему совершенно чужды; куда ни обращал он взора, к небу ли или к аду, он всегда отыскивал прежде твердую точку опоры на земле...» Поэтому он не мог удовлетвориться ни единой из наших социально-политических систем, ни единым учением наших философов-публицистов или общественно-государственных деятелей. Молодым человеком, среди тревог и волнений своей молодой мысли, он проходил все фазисы умственного направления, от космополитического байронизма до восторженного поклонения идее народности; но души стремленья и тревогу уяснить себе он не успел или не сумел, а не сумел потому, что шел один, своим путем, путем человека, добивающегося самостоятельности развития, а не плыл по одному из течений, существовавших в современном ему обществе.

Мы говорили выше, как поэт пытался доработаться до ясного понимания вещей на реальной почве жизни. С славянофилами его судьба не столкнула; с некоторыми представителями космополитических либеральных мечтателей он познакомился на Кавказе, где странствовал с одним из самых развитых и симпатичных из них, декабристом князем Одоевским. Ни доктор Майер, ни декабристы Лорер, Лихарев, Назимов, ни другие не могли, впрочем, несмотря на все желание, удовлетворить его, да и сами не понимали, чего добивался Лермонтов.

Декабрист Назимов, которого в 1879 или 1880 году посетил я в Пскове именно с целью узнать о Лермонтове, с которым он встречался в Пятигорске, говорил: «Лермонтов сначала часто захаживал к нам и охотно и много говорил с нами о разных вопросах личного, социального и политического мировоззрения. Сознаюсь, мы плохо друг друга понимали. Передать теперь через сорок лет разговоры, которые вели мы, невозможно. Но нас поражала какая-то словно сбивчивость, неясность его воззрений. Он являлся подчас каким-то реалистом, прилепленным к земле, без полета, тогда как в поэзии он реял высоко на могучих своих крылах. Над некоторыми распоряжениями правительства, которым мы от души сочувствовали и о которых мы мечтали в нашей несчастной молодости, он глумился. Статьи журналов, особенно критические, которые являлись будто наследием лучших умов Европы, заживо задевали нас и вызывали восторги, что в России можно так писать, не возбуждая в нем удивления. Он или молчал на прямой запрос, или отделывался шуткой и сарказмом. Чем чаще мы виделись, тем менее клеилась серьезная беседа. А в нем теплился огонек оригинальной мысли — да, впрочем, и молод же он был еще!».

Любопытно суждение о Лермонтове еще одного из его современников, князя Васильчикова, пытающегося разъяснить, какое положение занимал в это время поэт между современной ему молодежью. «Лермонтов был представитель направления, противного тогдашнему поколению великосветской молодежи, он отделился от него при самом своем появлении на поприще своей будущей славы известными стихами: „А вы, надменные потомки...“, и с того дня он стал в некоторые, если не неприязненные, то холодные отношения к товарищам Дантеса, убийцы Пушкина, и даже в том полку, где он служил его любили немногие...»

Парады и разводы для военных, придворные балы и выходы для кавалеров и дам, награды в торжественные сроки праздников 6 декабря, в Новый год и в Пасху, производство в гвардейских полках и пожалование девиц в фрейлины, а молодых людей в камер-юнкеры — вот и все, решительно все, чем интересовалось это общество, представителями которого были не Лермонтов и Пушкин, а молодцеватые Скалозубы и всепокорные Молчалины. Лермонтов и те немногие из его сверстников и единомышленников, которых рождение обрекло на прозябание в этой холодной среде, сознавали глубоко ее пустоту и, не зная, куда деться, не находя пищи ни для дела, ни для ума, предавались буйному разгулу — разгулу, погубившему многих из них. Лучшие из офицеров старались вырваться из Михайловского

манежа и Красносельского лагеря на Кавказ, а молодые люди, привязанные родственными связями к гвардии и к придворному обществу, составляли группу самых бездарных и бесцветных парадеров и танцоров.

«Эта-то пустота окружающей его светской среды, эта ничтожность людей, с которыми ему пришлось жить и знаться, и наложили на всю поэзию и прозу Лермонтова печальный оттенок тоски, бессознательной и бесплодной: он печально глядел „на толпу этой угрюмой“ молодежи, которая действительно прошла бесследно, как и предсказывал поэт, и, достигнув зрелого возраста, дала отечеству так мало полезных деятелей; „ему некому было руку подать в минуту душевной невзгоды“, и, когда в невольных странствованиях и ссылках удавалось ему встречать людей другого закала, вроде Одоевского, он изливал свою современную грусть в души людей другого поколения, других времен. С ними он действительно мгновенно сходился, их глубоко уважал, и один из них, М.А. Назимов, мог бы засвидетельствовать, с каким потрясающим юмором он описывал ему, выходцу из Сибири, ничтожество того поколения, к которому принадлежал».

Панаев, часто видавший Лермонтова, в воспоминаниях своих характеризует его сходным образом. «Он был неизмеримо выше среды, окружающей его, и не мог серьезно относиться к такого рода людям. Ему, кажется, были особенно досадны последние. Это тупые мудрецы, важничающие своею деятельностью и рассудочностью и не видящие далее своего носа. Есть какое-то наслаждение казаться самым пустым человеком, даже мальчишкой и школьником перед такими господами. И для Лермонтова это было, кажется, действительным наслаждением...»

Выше мы сравнивали уже Лермонтова с Гейне и теперь не можем не указать на один характерный сонет великого германского лирика, весьма ясно выражающий состояние души, о котором говорит Панаев, описывая Лермонтова.

Дай маску мне, — хочу маскироваться
Я пошляком, чтобы в толпе глупцов
В личинах гениев, героев, мудрецов,
Не мог бы их подобием казаться.
Дай мне ту пошлость, что они скрывают...
... Чтоб мог я на великом маскараде —
С толпой смешавшись — мало кем быть узнан.

И так Лермонтов приехал в 1838 году в Петербург во время пробуждения у нас отрицательного отношения к русской жизни. То, что видел он в Петербурге, его не привлекало. Что за люди были перед ним? Что выработала жизнь наша? Отрицание всего?

Он, Лермонтов, искал положительного и не нашел его, и вот, по неизъяснимой воле рока, сам должен был отрицать, отрицать отрицателей. Это крайняя грань скептицизма. «Только русская душа способна дойти до такой беспощаднейшей последовательности мысли и чувства». Это уж скептицизм, который обратился сам против себя.

Да, эти люди, бичевал их поэт: «Над миром пройдут, не бросивши веками ни мысли плодовитой, ни гением начатого труда». Господствовавшая система выдвинула людей-пешек, захудалых в искусственной атмосфере:

В начале поприща мы вянем без борьбы;
Переход опасностью позорно-малодушны,
И перед властию презренные рабы.

Живет это поколение случайной жизнью: «Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви»... Каждая строка «Думы» поражает и бьет общество. Каждая строка продиктована скорбью человека, рвущегося вон из бедной действительности и связанного с ней несокрушимыми путами, потому что он всеми корнями своими в почве. Он не может и не хочет искусственно, следовательно лживо, улетать в область мечтаний, не имеющих ничего общего с реализмом жизни. «Лермонтов был счастлив, только когда творил; а творить он мог только в минуты вдохновения — чтобы ни вдохновляло его: радость, горе, негодование, отчаяние или гордое сознание своей силы». Негодование вдохновило его написать «Думу» — затем он впадает в мрачное настроение души — в апатию. Весну и лето 1838 года он почти ничего не пишет. «Лермонтов со своим врожденным стремлением к прекрасному, которое без добра и истины не может существовать, очутился совершенно один в чуждом ему мире... Окружавшие его люди не понимали его или не смели понимать и, таким образом, он находился в постоянной опасности ошибаться в самом себе или в человечестве».

И скучно, и грустно и некому руку подать...

В вялом настроении проходят весна и лето, затем поэт опять пробуждается к жизни и творчеству.

Имя Лермонтов получило тогда уже громкую известность и делало его в свете оригинальною новостью, он был решительно в моде, и с наступившим зимним сезоном в столице его вырывали друг у друга. Близкий свидетель А.И. Муравьев подтверждает это, объясняя, как пребывание на Кавказе прибавляло новый повод к интересу публики. Вообще «юные воители, возвращаясь с Кавказа, были принимаемы как герои. Помню, что конногвардеец Глебов (друг Лермонтова), выкупленный из плена горцев, сделался предметом любопытства всей столицы. Одушевленные рассказы

Марлинского рисовали Кавказ в самом поэтическом виде». Неудивительно, что лермонтовские песни и поэмы, касавшиеся Кавказа и его природы, заинтересовывали публику еще в рукописях. В особенности дамы распространяли славу молодого поэта, наперерыв списывая его произведения и преимущественно поэму «Демон». Мы уже говорили, что рукописная литература тогда особенно была в моде, и многое еще до печати или запрещенное цензурой читалось всеми образованными людьми, как впоследствии «Крейцерова соната» и другие произведения Льва Толстого. Даже кто-то из лиц царской фамилии, — рассказывает Шан-Гирей, — пожелал иметь список «Демона», и Лермонтов приготовил тщательно просмотренный экземпляр, который через несколько дней был возвращен ему обратно.

Нельзя не упомянуть здесь об обстоятельстве, слышанном мной от некоторых современников. Нескромные стихи Лермонтова, писанные им в школе гвардейских юнкеров и по выходу из нее, еще тогда доставили ему известность между гвардейскими товарищами, переписывавшими эти поэмы и лирические излияния в свои «холостяцкие альбомы». Эта печальная слава «поэта, последователя Баркова» долго числилась за Лермонтова, и случалось, что когда дамы зачитывались рукописными экземплярами «Демона», мужья и братья с испугом хватались за рукопись, думая видеть перед собой одно из нескромных творений своего однокашника. Они не допускали мысль, чтобы «Маешка» мог писать в другом духе, и позднее еще никак не могли свыкнуться с мыслью, что корнет Лермонтов мог в то же время быть замечательным поэтом. «Entre nous soit dit (между нами говоря (фр.)), — говорил нам один из товарищей Лермонтова, — я не понимаю, что о Лермонтове так много говорят: в сущности он был препустой малый, плохой офицер и поэт неважный. В то время мы все писали такие стихи. Я жил с Лермонтовым в одной квартире, я видел не раз, как он писал. Сидит, сидит, изгрызет множество перьев, наломает карандашей и напишет несколько строк. Ну разве это поэт»?!

В кружках записных литераторов Лермонтов не чувствовал себя хорошо и редко появлялся в них. По вышеописанным свойствам своим, он не мог примкнуть ни к одной из журнальных партий. Он был враг всякой «кружковщины». Разные колеи, в которых двигались литературные деятели разных лагерей, претили ему. В кабинеты редакторов он старался заходить, когда в них не было литературной братии. «Лермонтов нисколько не походил на тех литераторов, с которыми я познакомилась», — замечает Головачева. Стоя особняком, не сближаясь с литераторами вообще, Лермонтов, однако, с некоторыми лицами,

соприкасавшимися с литературой, поддерживал постоянные и дружеские сношения. Таковыми были: В.О. Одоевский, А.А. Краевский, А.Н. Муравьев и только отчасти Жуковский и Вяземский, Соллогуб, Мятлев, Вельегорский и другие. Первые два были ему особенно близки. С прочими Лермонтов встречался больше в салонах образованных женщин высшего общества, находившихся в дружеских отношениях с лучшими нашими писателями, как Гоголь и Пушкин. То была семья Карамзиных, особенно дружественно расположенная к поэту, А.О. Смирнова (рожденная Росетти), графиня Ростопчина, известная писательница, и другие.

Между тем, Краевский вновь задумался издавать «Отечественные записки», о чем он мечтал еще в 1836 году, но разрешения не получил, так как в то время неохотно соглашались на учреждение новых или возобновление старых журналов. Да против воскрешения «Отечественных записок» интриговал и Булгарин. Тогда-то Краевский принял на себя редакторство «Литературных прибавлений» к «Русскому Инвалиду», купленных у Воейкова Плюшаром. Но дела Плюшара пошли плохо, он близился к банкротству; и вот убедили Свиньина похлопать о возобновлении «Отечественных записок», издателем которых он был с 1822 по 1830 год. Затем журнал прекратился. Свиньин стал действовать через родственника своего, всесильного Клейнмихеля, и действительно в первой половине 1838 года Свиньину, как бывшему собственнику «Отечественных записок», разрешили вновь издавать их. Краевский уговорил Одоевского и зятя его Врасского, Панаева, Владиславлева и других внести по 3500 рублей и купить у Свиньина издание. Передача состоялась; редактором был назначен Краевский. Публика, охладевшая к «Библиотеке для чтения», с нетерпением стала ожидать появления нового журнала, о котором «за» и «против» ходили преувеличенные слухи. Краевский постарался привлечь все лучшие силы и известные имена литературных деятелей. 1 января 1839 года вышла первая книжка. Она и следующие за ней книги были встречены в обществе шумно. Журнал произвел эффект.

К сотрудничеству в «Отечественных записках» Краевский привлек и Лермонтова, который начал здесь печатание повестей своих из «Героя нашего времени». Уже во второй и потом четвертой книжках журнала были напечатаны «Бэла» и «Фаталист». «Бэла» под заглавием: «Рассказ из записок офицера на Кавказе». Кроме этого, в первых книжках поэт поместил и несколько из своих лирических стихотворений. Михаил Юрьевич со времени возвращения своего с Кавказа «стал входить в моду». Но это его не особенно тешило, хотя до высылки на Кавказ он

этого упорно добивался. В начале 1839 года он пишет Марье Александровне Лопухиной...

Я несчастнейший человек, и вы мне поверите, узнав, что я ежедневно езжу по балам: я пустился в большой свет. В течение месяца на меня была мода, меня искали наперерыв... Весь народ, который я оскорблял в стихах своих, осыпает меня ласкательствами, самые хорошенькие женщины просят у меня стихов и торжественно ими хвастают. Тем не менее мне скучно... Может быть, вы найдете странным, искать удовольствий и скучать ими, ездить по гостиным, не находя там ничего занимательного. Ну, я вам открою мои побуждения. Вы знаете, что самый главный мой недостаток — суетность и самолюбие; было время, когда я, как новичок, искал доступа в это общество; аристократические двери были для меня заперты; теперь в это же самое общество я вхожу уже не искателем, а человеком, завоевавшим себе права. Я возбуждаю любопытство, меня ищут, меня всюду приглашают, даже когда я не выражаю к тому ни малейшего желания; дамы, с притязаниями собирать замечательных людей в своих гостиных, хотят, чтобы я у них был, потому что я тоже лев; да я, ваш Мишель, добрый малый, у которого вы никогда не подозревали гривы. Согласитесь, что все это может опьянить; но, к счастию, меня выручает природная моя леность, и мало-помалу я начинаю находить все это довольно невыносимым. Эта новая опытность полезна в том, что она мне дала оружие против этого общества, и если когда-нибудь оно будет меня преследовать своими клеветами (что непременно случится), тогда у меня будет, по крайней мере, средство для отмщения, ведь нигде не встречается столько низкого и смешного, как тут. Уверен, что вы никому не передадите моего хвастовства; ведь тогда меня нашли бы наиболее смешным человеком: с вами я говорю, как со своею совестью. Оно же очень приятно исподтишка смеяться с человеком, готовым всегда разделить ваши чувства, смеяться над предметами, которых глупцы так ищут и которым так завидуют.

В конце года в доме знатной петербургской дамы княгини Ш-ой встречает Лермонтова И.С. Тургенев. «Лермонтов, — рассказывает нам знаменитый писатель, — поместился на низком табурете перед диваном, на котором, одетая в черное платье, сидела одна из тогдашних столичных красавиц — белокурая графиня М(усина)-П(ушкина) — рано погибшее, действительно прелестное создание. На Лермонтове был мундир лейб-гвардии гусарского полка; он не снял ни сабли, ни перчаток — и, сгорбившись и насупившись, угрюмо посматривал на графиню. Она мало с ним разговаривала и чаще обращалась к сидевшему рядом с ним графу Ш-у, тоже гусару. В наружности Лермонтова

было что-то зловещее и трагическое; какой-то сумрачной и недоброй силой, задумчивой презрительностью и страстью веяло от его смуглого лица, от его больших и неподвижных темных глаз. Их тяжелый взор странно не согласовался с выражением почти детски-нежных и выдававшихся губ. Вся его фигура, приземистая, кривоногая, с большой головой на сутулых широких плечах возбуждала ощущение неприятное; но присущую мощь тотчас сознавал всякий... Помнится, граф Ш. и его собеседница внезапно засмеялись чему-то и смеялись долго; Лермонтов тоже засмеялся, но в то же время с каким-то обидным удивлением оглядывал их обоих. Несмотря на это, мне все-таки казалось, что и графа Ш. он любил как товарища — и к графине питал чувство дружелюбное... Внутренне Лермонтов, вероятно, скучал глубоко; он задыхался в тесной сфере, куда его втолкнула судьба».

В обществе, конечно, далеко не все были расположены к Лермонтову. Его положение напоминало положение Пушкина в придворных кружках. Многие, очень многие его ненавидели и находили, что, являясь в гостиных высших сфер, он «садился не в свои сани», что он дерзок и смел. Преимущественно держались мнения этого мужчины, которых сердило, что молодой гвардейский «офицерик» выказывал независимость характера, а порой и некоторую презрительность в обращении. Немало, быть может, способствовало чувству неприязни к поэту внимание, оказываемое ему женщинами, в которых влюблен был весь петербургский «beau monde» (высший свет (фр.)). Лермонтов сознавал, что к нему относятся неприязненно и недаром предчувствовал, что настанет время, когда его «будут преследовать клеветами». Это время настало скорее, нежели он полагал. Внимание и дружба, оказываемая ему графиней Мусиной-Пушкиной, и чувство, внушаемое им княгине Щербатовой, рожденной Штерич, возбуждали зависть и выразились особенно рельефно в повести «Большой свет», написанной графом Соллогубом по желанию лиц из высших сфер, а затем и в деле его дуэли с де Барантом.

«Под новый 1840 год на маскированном балу дворянского собрания Лермонтову не давали покоя, — рассказывает очевидец, — беспрестанно приставали к нему, брали за руки, одна маска сменялась другой, а он почти не сходил с места и молча слушал их писк, поочередно обращая на них свои сумрачные глаза. Мне тогда же почудилось, что я уловил на лице его прекрасное выражение поэтического творчества, быть может, ему приходили в голову стихи:

Когда касаются холодных рук моих
С небрежной смелостью красавиц городских

Давно бестрепетные руки...»

Понятно! — и здесь поэт чувствовал себя одиноким и среди пестрой толпы, при шуме музыки и пляски. Наружно лишь погружаясь в шум и пустоту, уносился он в мир мечтаний своих. И вставали перед ним образы, «как свежий островок среди морей», пока шум толпы людской не спугивал видений, а очнувшийся поэт, возвращенный в сферу для него душную, желал смутить веселость их, дерзко бросив им в глаза «железный стих,

Облитый горечью и злостью».

На маскарадах и балах дворянского собрания, в то время только входивших в моду, присутствовали не только представители высшего общества, но часто и члены царской фамилии. В дворянском собрании под новый 1840 год собралось блестящее общество. Особенное внимание обращали на себя две дамы, одна в голубом, другая в розовом домино. Это были две сестры и, хотя было известно, кто они такие, но все же уважали их инкогнито и окружали почтением. Они-то, вероятно, тоже заинтересованные молодым поэтом, и, пользуясь свободой маскарада, проходя мимо него, что-то сказали ему. Не подавая вида, что ему известно, кто задел его словом, дерзкий на язык Михаил Юрьевич не остался в долгу. Он даже прошелся с пышными домино, смущенно поспешившими искать убежища. Выходка молодого офицера была для них совершенно неожиданной, и казалась им до невероятия дерзновенной.

Поведение Лермонтова, само по себе невинное, являлось нарушением этикета, но обратить на это внимание и придать значение оказалось неудобным. Это значило бы предавать гласности то, что прошло незамеченным для большинства публики. Но когда в «Отечественных записках» появилось стихотворение «Первое января», многие выражения в нем показались непозволительными. Нашли, что поэт начинает в поведении своем заходить за границу дозволенного. Вообще начинали быть недовольны его образом жизни и ролью в обществе. Он все же был человеком провинившимся, недавно возвращенным из ссылки; прощенным с мыслью, что он службой загладит вину. Он должен бы был держать себя скромно, а не ровней среди «благосклонно» допустившего его в среду свою общества. Да и заниматься литературой ему не приличествовало — «надо было заниматься службою, а не писать стихи». Еще недавно приказом от 6 декабря 1839 года, государь император поощрил провинившегося офицера, произведя его в чин поручика того же лейб-гусарского полка. Но поэт, кажется, не понимал или не хотел понимать, чего от него требовали. Неблагодарный, он рвался из службы, желал выйти в отставку. Ему настоятельно

отсоветовали, как и прежде. Он просился в годовой отпуск — отказали, на 28 дней — отказали, на 14 — тоже. Он просил о переводе на Кавказ — не позволили.

Бенкендорф, расположенный к бабушке поэта и не раз ходатайствовавший за него перед военным министром и государем, теперь крепко невзлюбил Михаила Юрьевича, особенно после случая на маскараде, в дворянском собрании. С этих пор он его преследует, и, если б не заступничество великого князя Михаила Павловича, Лермонтов испытывал бы участь суровую без просвета и теплых лучей.

ГЛАВА XVI

Столкновение с де Барантом. — Первая дуэль. — Суд и преследование и защита Лермонтова великим князем Михаилом Павловичем. — Вторая ссылка на Кавказ.

16 февраля 1840 года у графини Лаваль был бал. Цвет петербургского общества собирался в ее гостиных. Тут же находился Лермонтов и молодой де Барант, сын французского посланника при русском дворе. Оба ухаживали за одной и той же блиставшей в столичном обществе дамой.

Встретившись, соперники обменялись колкостями. Де Барант укорял Лермонтова, будто отозвавшегося о нем неодобрительно и колко в присутствии известной особы. Кто была особа эта, ни де Барант, ни Лермонтов и позднее на разбирательстве дела не объяснили, но в обществе имя ее было известно, и по поводу ссоры ходили весьма противоположные слухи. Одни утверждали, что де Барант искал ссоры со счастливым соперником. Другие рассказывали, будто Лермонтов, оскорбленный предпочтением, оказанным молодому французу, мстил за презрение к себе четырехстишием, в котором задел и де Баранта и с цинизмом отозвался о предмете его страсти. Четырехстишие это ходило по рукам в различных вариантах.

Последнее мнение при огромном количестве недоброжелателей Лермонтова было наиболее распространенным. Надо полагать, однако, что оно было выдумкой, по крайней мере, что касается циничного четырехстишия. По свидетельству товарища Лермонтова Меринского, четырехстишие это было писано в виде приятельской шутки еще на школьной скамье, следовательно 7 или 8 лет назад, и относилось к совершенно другим лицам, из которых одно тоже было французского происхождения. Верно только то, что между де Барантом и Лермонтовым произошло столкновение; де Барант

с запальчивостью требовал от Лермонтова объяснений по поводу каких-то дошедших до него обидных речей. Михаил Юрьевич объявил все это клеветой и обозвал сплетнями. Де Барант не удовлетворился, а напротив, выразил недоверчивость и прибавил, что «если все переданное мне справедливо, то вы поступили дурно». — «Я ни советов, ни выговоров не принимаю и нахожу поведение ваше смешным и дерзким», — отвечал Лермонтов. На это де Барант заметил: «Если б я был в своем отечестве, то знал бы как кончить дело». — «Поверьте, что в России следуют правилам чести так же строго, как и везде, и что мы русские не меньше других позволяем оскорблять себя безнаказанно», — возразил Михаил Юрьевич. Тогда со стороны де Баранта последовал вызов. Лермонтов тут же на балу просил себе в секунданты Столыпина. Секундантом де Баранта был поручик гвардии граф Рауль д'Англес, французский подданный. Так как де Барант почитал себя обиженным, то Лермонтов предоставил ему выбор оружия. Когда же Столыпин приехал к де Баранту поговорить об условиях, то молодой француз объявил, что будет драться на шпагах. Это удивило Столыпина. «Но Лермонтов, может быть, не дерется на шпагах», — заметил он. — «Как же это, офицер не умеет владеть своим оружием?» — возразил де Барант. «Его оружие — сабля, как кавалерийского офицера, и если вы уже того хотите, то Лермонтову следует драться на саблях. У нас в России не привыкли, впрочем, употреблять это оружие на дуэлях, а дерутся на пистолетах, которые вернее и решительнее кончают дело». Де Барант настаивал на своем. Положили на том, что дуэль будет на шпагах до первой крови, потом на пистолетах. Для примирения противников, по уверению Столыпина, были приняты все меры, но тщетно, потому что де Барант настаивал на извинении, а Лермонтов не хотел. Дуэль состоялась. Противники со своими секундантами съехались за Черной речкой, близ Парголовской дороги. Шпаги привезли де Барант и д'Ангес, пистолеты принадлежали Столыпину. Посторонних лиц при этом не было. В самом начале дуэли у шпаги Лермонтова переломился конец, и де Барант нанес ему рану в грудь. Рана была поверхностная — царапина, шедшая от груди к правому боку. По условию, взялись за пистолеты. Столыпин и граф д'Англес зарядили их, и противники были поставлены на расстоянии 20 шагов. Они должны были стрелять по сигналу вместе: по слову «раз» — приготовляться, «два» — целить, «три» — выстрелить. По счету «два» Лермонтов поднял пистолет не целясь. Барант целился. По счету «три» оба спустили курки. Выстрелы последовали так скоро один за другим, что нельзя было определить, чей был сделан прежде.

Все эти сведения дал Столыпин, и они вполне согласуются с показаниями самого Лермонтова, который о дуэли писал начальнику своему генерал-майору Плаутину:

Едва успели мы скрестить шпаги, как у моей конец переломился, и он (де Барант) слегка оцарапал мне грудь. Тогда взяли мы пистолеты. Мы должны были стрелять вместе, но я немного опоздал. Он дал промах, а я выстрелил уже в сторону. После чего он подал мне руку, и мы расстались.

Итак, эта дуэль кончилась примирением противников. Она не имела серьезных последствий и, может быть, не особенно повредила бы Михаилу Юрьевичу в служебном отношении, если б, как сейчас увидим, не случилось еще одного обстоятельства, усугубившего вину Лермонтова перед лицом военного суда.

По окончании поединка Лермонтов заехал к Л.А. Краевскому, который жил тогда у Измайловского моста. Здесь он обмыл рану. По рассказу Краевского, он был сильно окровавлен, но, несмотря на представления приятеля, отказался перевязать рану, а только переоделся в чистое его белье и попросил завтракать. Он был весел, шутил и сыпал остротами. В то время Лермонтов вообще был в радужном настроении духа, под обаянием любви к прекрасной княгине М.А. Щербатовой, которой незадолго перед тем посвятил одно из грациознейших своих стихотворений.

На светской цепи,
На блеск упоительный бала,
Цветущие степи
Украины она променяла...

Известие о дуэли Лермонтова быстро разнеслось по городу и дошло до полкового командира его, генерал-майора Плаутина, который потребовал от Лермонтова объяснений. Михаил Юрьевич отвечал письмом, в котором выяснил обстоятельства дела. Его объяснением не удовлетворились и поставили ему несколько вопросных пунктов. Лермонтов, однако, не оказался особенно откровенным, на одни вопросы он отвечал утшончиво, на другие ничего не отвечал; в особенности упорно скрыл имя особы, из-за которой была дуэль. 10 марта Лермонтов был арестован и посажен в ордо-нансгауз, где содержались подсудимые офицеры.

Удивительным является обстоятельство, что никто из прочих участников дуэли не был арестован или приведен к допросу, а вся тяжесть неудовольствия легла на поэта. Сначала полагали, что он удалился из Царского Села без разрешения на то, что часто практиковалось и Михаилом Юрьевичем, и его товарищами, и на что смотрели сквозь пальцы; но на этот раз поэту жестоко досталось бы «за самовольное удаление из полка». К счастью для него, полковой командир подтвердил показание Лермонтова, что

он уехал в Петербург с разрешения его, полкового командира. Теперь выказалось, что некоторые власть имеющие лица питали злобу против Лермонтова, и граф Бенкендорф, прежде к нему благоволивший, стал относиться к нему недоброжелательно. Распространен был слух, что де Баранту приказано оставить границы русского государства. О секундантах молчали, очевидно, Лермонтова желали изолировать. Это обстоятельство побудило Монго-Столыпина явиться к Дубельту и просить принять заявление его в участии по делу. Заявление это игнорировалось. Тогда Столыпин написал письмо графу Бенкендорфу. Настоятельное требование молодого человека, пользовавшегося уважением в обществе и хорошими связями, побудило начальство подвергнуть и его допросу по делу дуэли.

Монго-Столыпин был тогда уже в отставке. У него была неприятность по поводу одной дамы, которую он защитил от назойливости некоторых лиц. Рассказывали, что ему удалось дать ей возможность незаметно скрыться за границу. Благородство Столыпина и справедливость его действия склонило общественную симпатию аристократических гостиных на его сторону. Он и так был баловень, особенно дам высшего круга. В этом деле Лермонтов, как близкий друг Монго, принимал деятельное участие. Смелый и находчивый, он главным образом руководил делом. Всю эту скандальную историю желали замять и придавать ей как можно меньше гласности. Но злоба к Лермонтову некоторых лиц росла. Бенкендорфу, очевидно, хотелось «добраться» до поэта. С ним, кажется, можно было меньше церемониться. Лермонтов, по выражению графа Соллогуба, «не принадлежал по рождению к квинтэссенции петербургского общества». Его проникновение туда, независимая манера держаться, да еще вмешательство в интимные дела, вызывали раздражение против него. Враги охотно выставляли Лермонтова прихвостнем Столыпина в гостиных столицы и всячески старались умалить его значение или уронить его в общественном мнении. Бенкендорф и другие не могли ему простить и выходок вроде «столкновения его с голубым и розовым домино» на маскараде Дворянского собрания.

Граф Соллогуб написал даже повесть, в которой, как сам выражается, «изобразил светское значение Лермонтова». Повесть эта «Большой свет», была написана, впрочем, по заказу великой княгини Марии Николаевны, как утверждает все тот же граф В.А. Соллогуб. Лермонтов, выставленный под именем Леонина, изображается в повести неловким армейским офицером, привязавшимся к приятелю своему Сафьеву (Монго-Столыпину), льву столичных гостиных. Он влюблен в прекрасную блондинку с

чудными голубыми глазами — «одну из первых петербургских дам — графиню Воротынскую», и всюду за нею следует. Вся роль Леонина жалкая. «Леонин был человек слишком ничтожный, чтобы обратить на себя внимание света», — повествует граф в конце своего романа. Одно, что оставлено симпатичного в Леонине, это его отношение к бабушке; да и тут он выставляется еще человеком, чуть не разорившим ее из-за своего желания тянуться за большим светом. В графине Воротынской выставлена графиня Мусина-Пушкина, о которой в «Воспоминаниях» говорится, что «Лермонтов был в нее влюблен и следовал за нею всюду, как тень». Действительно, поэт был в дружеских отношениях с этой прелестной женщиной, рано умершей, «так что смерть не дала годам изморщинить это прекрасное лицо». Поэт обессмертил графиню, посвятив ей стихи в том же 1840 году, когда вышел роман Соллогуба:

Графиня Эмилия
Белее, чем лилия;
Стройней ее талии
На свете не встретится,
И небо Италии
В глазах ее светится;
Но сердце Эмилии
Подобно Бастилии.

Итак, Лермонтов находился арестованным в ордонансгаузе. Его навещали друзья и знакомые, как из кружков аристократических, так и из литературного мира. В это время виделся с ним и Виссарион Григорьевич Белинский и в первый и в последний раз поговорил с ним по душе. Перед тем Белинский часто встречался у Краевского с Лермонтовым. Горячий поклонник его таланта, Белинский пробовал не раз заводить с поэтом серьезный разговор, но из этого никогда ничего не выходило. Лермонтов всегда отделывался шуткой или просто прерывал его, а Белинский приходил в смущение и жаловался потом на то, что Лермонтов нарочно щеголял светской пустотой. «Сомневаться в том, что Лермонтов умен, было бы довольно странно, но я ни разу не слыхал от него дельного и умного слова». Однако Виссариону Григорьевичу скоро пришлось услышать умное, дельное слово и увидать Лермонтова таким, каким он так страстно желал его видеть. Узнав от Краевского об аресте Лермонтова, Белинский решился навестить его в ордонансгаузе. «Я попал очень удачно, — рассказывал он Панаеву. — У него никого не было. Ну, батюшка, в первый раз я видел этого человека настоящим человеком! Вы знаете мою светскость и ловкость: я взошел к нему и сконфузился по

обыкновению, думаю себе: ну зачем меня принесла к нему нелегкая! Мы едва знакомы, общих интересов у нас никаких, я буду его жемировать, он меня... Что еще связывает нас немного, так это любовь к искусству, но он не поддается на серьезные разговоры... я признаюсь, досадовал на себя и решился пробыть у него не более четверти часа... Первые минуты мне было неловко, но потом у нас завязался как-то разговор об английской литературе и Вальтере Скотте... — „Я не люблю Вальтера Скотта, — сказал мне Лермонтов, — в нем мало поэзии. Он сух“, — и начал развивать эту мысль, постепенно одушевляясь. Я смотрел на него — и не верил ни глазам, ни ушам своим. Лицо его приняло натуральное выражение, он был в эту минуту самим собой... В словах его было столько истины, глубины и простоты! Я в первый раз видел настоящего Лермонтова, каким и всегда желал его видеть. Он перешел от Вальтера Скотта к Куперу и говорил о Купере с жаром, доказывал, что в нем несравненно более поэзии, чем в Вальтере Скотте, и доказывал это с тонкостью, с умом — и, что удивило меня, даже с увлечением. Боже мой! Сколько эстетического чутья в этом человеке! Какая нежная и тонкая поэтическая душа в нем!.. Недаром же меня так тянуло к нему. Мне наконец удалось-таки его видеть в настоящем свете. А ведь чудак! Он, я думаю, раскаивается, что допустил себя хотя на минуту быть самим собою, — я уверен в этом». В этой четырехчасовой беседе Лермонтов открыл Белинскому свои литературные планы, и неудивительно, что впечатлительный Белинский, придя с этого разговора прямо к Панаеву, изображал на лице своем все восхищение, вызванное им. Тогда-то, должно быть, Лермонтов сообщил Белинскому свой замысел, написать романическую трилогию, три романа из трех эпох жизни русского общества (века Екатерины II, Александра I и современной ему эпохи). Эти романы должны были иметь между собой связи и некоторое единство, по примеру куперовской тетралогии, начинавшейся «Последним из могикан», продолжающейся «Путеводителем в пустыню», «Пионерами» и оканчивающейся «Степями».

«Недавно я был у Лермонтова в заточении, — пишет Белинский около того времени Боткину, — в первый раз поразговорился с ним от души. Глубокий и могучий дух! Какой глубокий и чисто непосредственный вкус изящного. О, это будет русский поэт с Ивана Великого! Чудная натура!»

В ордонансгаузе Лермонтов написал стихотворение «Соседка»:

Не дождаться мне, видно, свободы,
А тюремные дни будто годы;

И окно высоко над землей,
А у двери стоит часовой.
Умереть бы уж мне в этой клетке,
Кабы не было милой соседки...

В этой соседке изображена дочь одного из сторожей; девушка поражала бледностью и задумчивостью красивого симпатичного лица, выражавшего беспредельную тоску подавленной жизни:

Но бледна ее грудь молодая,
И сидит она, долго вздыхая,
Видно буйную думу тая:
Все тоскует по воле, как я.

Лермонтов оставался в ордонансгаузе до 17 марта, когда по разрешению начальства за теснотой помещения был переведен в арсенальную гауптвахту на Литейной, где был казенный гильзовый Санкт-Петербургский завод. Бывать у поэта запрещено не было, и его посещали многие: товарищи, родные лица из петербургского общества, писатели и журналисты.

Мы уже указывали на особенность положения Лермонтова, имевшего в одно и тоже время и отношения к аристократическим кружкам и к кружкам литературным, одинаково его неудовлетворявшим. Живя своей собственной внутренней жизнью, он вправе был сказать, что «поэты походят на медведей, питающихся тем, что сосут собственную свою лапу». Слова эти он поставил эпиграфом к стихотворению своему: «Журналист, читатель и писатель», черновой автограф которого носит пометку, сделанную рукой Лермонтова: Санкт-Петербург, 21 марта 1840 года под арестом на Арсенальной гауптвахте. За рассеянную жизнь в кругу светского общества, поглощавшую все время поэта и грозившую разменять на мелочь душу его, Лермонтов и при жизни подвергался нареканиям. Не раз ему высказывали это литературные приятели. «Сколько бы, казалось им, мог он написать, если б не был погружен в заботы суетного света». Особенно хлопотали об этом журналисты, предвидя для себя наживу от молодого таланта, обещавшего пополнить собой место, оставшееся незанятым со смерти Пушкина.

Арестованный поэт рисует писателя, задержанного в четырех стенах болезнью, что радует журналиста:

Я очень рад, что вы больны:
В заботах жизни, в шуме света
Теряет скоро ум поэта
Свои божественные сны,
Среди различных впечатлений,
На мелочь душу разменяв,
Он гибнет жертвой общих мнений.

Когда ему среди забав
Обдумать зрелое творение?..
Зато какая благодать,
Коль небо вздумает послать
Ему изгнанье, заточенье...

Этому торгашу литературы, подделывающемуся под общий тон, желающему угодить всякому, лишь бы было ему выгодно, и потому смотрящему на талант, как на дойную корову, противопоставлен читатель, безукоризненный человек хорошего высшего общественного тона, который неудовольствие свое на литературу прежде всего выражает тем, что

...Нужна отвага,
Чтобы открыть хоть ваш журнал
(Он мне уж руки обломал):
Во-первых, серая бумага;
Она, быть может, и чиста,
Да как-то страшно без перчаток...

Впрочем, дальнейшие его замечания доказывают образованность и «хорошее воспитание», словом, лицо из высшего круга, в свою очередь глядящее на литературу, не скажем, как на приятную забаву, нет, глядящее на нее серьезнее: как на полезную пищу для тонкого воспитанием и вереницей именитых предков дрессированного ума.

Его слова даже заставляют симпатизировать ему, особенно когда журналист смиренно признается в указанных недостатках и приниженно просит:

Войдите в наше положенье,
Читает нас и низший круг:
Нагая резкость выраженья
Не всякий оскорбляет слух;
Приличье, вкус — все так условно,
А деньги все ведь платят ровно.

И вот на фоне этих двух личностей рисуется нам образ поэта, одинокий, равно далекий от одного и другого, ушедший в себя, ушедший в глубь человек. Проникнутый задачами будущего, духовным оком глядит он вдаль, в грядущее, мечтой пред ним очищенного, мира:

...Бывает время,
Когда забот спадает время, —
Дни вдохновенного труда,
Когда и ум, и сердце полны,
И рифмы дружные, как волны,
Журча, одна во след другой
Несутся вольной чередой.

Восходит чудное светило
В душе проснувшейся едва,
Как жемчуг, нижутся слова...
Тогда с отвагою свободной
Поэт на будущность глядит,
И мир мечтою благородной
Пред ним очищен и обмыт.
Да, поэт чувствовал себя одиноким:
Средь битв незримых, но упорных,
Среди обманщиц и невежд,
Среди сомнений ложно черных
И ложно радужных надежд.

Немудрено, что «странные творенья», в которых он «судья безвестный и случайный» смело костит «приличьем скрашенный порок, сжигает сам в своем камине, не показав их никому». Мы знаем по рассказам многих из современников, как Лермонтов даже от близких друзей скрывал свои произведения, в которых выливались лучшие силы ума и сердца его, для того, чтобы пошлым словом не задели самого дорогого и не назвали коварной бранью его пророческую речь.

Дело Лермонтова, между тем, шло своим путем и принимало недурной для него оборот, благодаря хлопотам бабушки и сильной протекции родственников. Да и сами обстоятельства дела все слагались в пользу Михаила Юрьевича. Не он вызывал, а был вызван, и дуэль принял как бы для того, чтобы «поддержать честь русского офицера», по выражению определения, составленного генерал-аудиториатом. Выстрелил Лермонтов на воздух, следовательно не желал убить де Баранта, что в юридическом смысле большая разница. Лермонтова могли судить или за намерение убить человека, или только за незаконное принятие вызова на дуэль и недонесение о том начальству, как требуют этого русские законы. Выясненные обстоятельства дела побуждали к освобождению Лермонтова от обвинения в намерении убить противника, но именно показания самого Лермонтова, что он стрелял в сторону, дошедши до де Баранта в особенно неприязненной редакции, страшно возмутили последнего. Ему передали, будто Лермонтов хвастал, что его противник остался жив только по милости и великодушию Михаила Юрьевича. Лермонтов пользовался репутацией человека крайне ловкого относительно всякого рода физических упражнений. Необыкновенно сильный и гибкий, он был отличный ездок, меткий стрелок и хорошо бился на рапирах. Вследствие этого последнего качества он, вероятно, и принял предложенную де Барантом дуэль на рапирах, столь поразившую Столыпина.

Репутация его, как меткого стрелка, сажавшего из пистолета пулю на пулю, как бы сама собой вызывала слух, будто он пощадил противника и дал нарочно промах. Молва бежала по Петербургу. Де Барант сердился и говорил, что Лермонтов, распуская такие слухи, лгал. Извещенный о том, Лермонтов тотчас решился попросить к себе де Баранта в ордо-нансгауз для личных объяснений. С этой целью он написал письмо «не служащему дворянину» графу Браницкому, прося его передать де Баранту желание свидеться с ним в помещении арсенальной гауптвахты. Браницкий исполнил поручение.

22 марта в 8 часов вечера де Барант подъехал к арсенальной гауптвахте верхом на лошади. В карауле тогда стояли прикомандированный к гвардейскому экипажу мичман 28 экипажа Кригер, дежурным по караулу был капитан-лейтенант гвардейского экипажа Эссен. Ни офицеры, ни нижние чины (как они позднее показывали) не заметили выхода Лермонтова. Послушаем, как сам Лермонтов писал об этом свидании.

В 8 часов вечера я вышел в коридор, между офицерскою и солдатскою караульными комнатами, не спрашивая караульного офицера, и без конвоя, который ведет и наверх в комиссию. Я спросил его (де Баранта): «правда ли, что он недоволен моим показанием?» Он отвечал: «Действительно, я не знаю, почему вы говорите, что стреляли на воздух, не целя». Тогда я ответил, что говорю это по двум причинам. Во-первых, потому, что это правда, а во-вторых, что я не вижу нужды скрывать вещь, которая не должна быть ему приятна, а мне может служить в пользу, но что если он не доволен этим моим объяснением, то когда я буду освобожден, и когда он возвратится, то я тогда буду вторично с ним стреляться, если он того желает. После того де Барант, ответив мне, «что он драться не желает, ибо совершенно удовлетворен моим объяснением», уехал.

Откровенный ответ Лермонтова был не без злости.

Он не отрицал факта пощады им противника и весьма деликатно намекнул судьям на отъезд де Баранта.

Дело в том, что тотчас по предании суду Лермонтова, или вернее по разглашении дела о дуэли, де Барант и секундант его граф д' Англес выехали за границу, и потому с них не было снято показаний. Носился слух, что им как иностранным подданным со стороны власти имеющего лица не слишком, впрочем, расположенного в пользу Лермонтова, было дано знать под рукой, что лучше удалиться. И оба сочли, конечно, за более удобное исполнить совет и предоставить молодого поэта судьбе его. Хотя де Барант и официально считался уже уехавшим, но, пользуясь высоким покровительством, он некоторое время

оставался в Петербурге, что было открытым секретом. Вот чем объясняется необходимость тайного свидания с Лермонтовым, иначе зачем было де Баранту не посетить его открыто на гауптвахте, ходили же туда на свидание с поэтом его друзья и знакомые. Нам неизвестно, каким образом это тайное свидание двух соперников дошло до сведения начальства, но только это удовольствие личного объяснения стоило Лермонтову нового процесса, и его судили теперь за побег из-под ареста обманом и за вторичный вызов на дуэль во время нахождения под арестом.

Военный суд 5 апреля того же 1840 года приговорил Лермонтова к лишению чинов и прав состояния.

С этой сентенцией дело Лермонтова шло по инстанциям и, пока добралось до генерал-аудиториата, к нему прибавились мнения нескольких начальников частей.

Генерал-аудиториат, выслушав доклад аудиториатского департамента по этому делу, составил следующее определение: «Подсудимый Лермонтов за свои поступки на основании законов подлежит лишению чинов и дворянского достоинства с записанием в рядовые, но принимая во внимание: а) то, что он, принял вызов де Баранта, желая тем поддержать честь русского офицера; б) дуэль его не имела вредных последствий; в) выстрелив в сторону, он выказал тем похвальное великодушие и г) усердную его службу, засвидетельствованную начальством, генерал-аудиториат полагает: 1) Лермонтову, вменив в наказание содержание его под арестом с 10 марта, выдержать его еще под арестом в крепости на гауптвахте три месяца и потом выписать в один из армейских полков тем же чином; 2) поступки Столыпина и графа Браницкого передать рассмотрению гражданского суда; 3) капитан-лейтенанту гвардейского экипажа дежурному по караулу Эссену за допущение беспорядков на гауптвахте объявить замечание и 4) мичману Кригеру, бывшему также на карауле в арсенальной гауптвахте, в уважение молодых его лет вменить в наказание содержание его под арестом».

Определение генерал-аудиториата являлось даже мягким сравнительно с требованиями начальствующих лиц. В этом случае смягчением приговора поэт был обязан великому князю Михаилу Павловичу, которому особенно понравилось, что молодой офицер вступился перед французом за честь русского воинства. Приговор был подан на Высочайшую конфирмацию. Прочитав подробный доклад о дуэли Лермонтова, государь император Николай Павлович своей рукой на решении генерал-аудиториата надписал следующую конфирмацию: «Поручика Лермонтова перевести в Тенгинский пехотный полк тем же чином, поручика же Столыпина и графа Браницкого освободить от надлежащей

ответственности, объявив первому, что в его звании и летах полезно служить, а не быть праздным. Впрочем, быть по сему.

Николай. Санкт-Петербург, 1840 г. Апреля 13 дня».

На обертке написано рукой государя: «Исполнить сего же дня».

Однако отправка Лермонтова замешкалась; не знали, как привести в исполнение Высочайшее повеление. Начальник штаба гвардейского корпуса генерал-адъютант Веймарн объяснил военному министру графу Чернышеву, что генерал-аудиториат предполагал выдержать Лермонтова три месяца в крепости, и что из Высочайшей конфирмации не видно, следует ли это исполнить. Военный министр от 19 апреля послал отношение об этом к Его Величеству, и что государь изволил сказать, что переводом Лермонтова в Тенгинский полк желал ограничить наказание

Михаил Юрьевич в крепость посажен не был; но ему пришлось испытать еще одну и, может быть, самую неприятную напасть. Граф Бенкендорф, недовольный слишком легким наказанием «дезертира из-под ареста», потребовал от Михаила Юрьевича, чтобы он написал письмо к де Баранту, в котором бы просил его извинения в том, что несправедливо показал в суде, что выстрелил на воздух. Такое письмо, конечно, навсегда уронило бы поэта в мнении общества и сделало бы его положение в нем невозможным. Граф Бенкендорф отлично понимал, что наказание, которому подвергли Лермонтова, только увеличит общее сочувствие к участи молодого поэта. Требуемое же письмо к де Баранту вернее всего поразит и честь его, и симпатию к нему и сбросит «дерзкого мальчишну» с высоты им завоеванного положения. Поэт был призван к графу Бенкендорфу, который в весьма энергичных выражениях настаивал на исполнении своего требования.

Тогда Лермонтов решился опять обратиться к защите великого князя Михаила Павловича и написал ему письмо, в котором, объяснив требование к нему шефа жандармов, говорит, что исполнить его не может, потому что оно не совместимо с истиной и что исполнив его, он, Лермонтов, «невинно и невозвратно теряет имя благородного человека».

Великий князь вполне согласился с необходимостью защитить «честь русского офицера», и поэт на этот раз вновь избегнул великой опасности утратить свое доброе имя вследствие недостойной интриги. Повесть «Большой свет» Соллогуба не могла, конечно, нанести имени поэта такой удар, как проектируемое Бенкендорфом письмо.

Друзья-приятели собрались в квартире Карамзиных

проститься с юным другом своим, и тут, растроганный вниманием к себе и непритворной любовью избранного кружка, поэт, стоя в окне и глядя на тучи, которые ползли над Летним садом и Невой, написал стихотворение:

Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужного
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники
С милого севера в сторону южную...

Софья Карамзина и несколько человек гостей окружили поэта и просили прочесть только что набросанное стихотворение. Он оглянул всех грустным взглядом выразительных глаз своих и прочел его. Когда он кончил, глаза были влажные от слез... Поэт двинулся в путь прямо от Карамзиных. Тройка, увозившая его, подъехала к подъезду их дома.

Пьеской «Тучи» поэт заключил и первое издание своих стихотворений, вышедших в конце 1840 года.

ГЛАВА XVII

Экспедиция против чеченцев в 1840 году. — Отряд генерала Галафеева. — Конный отряд охотников под командой Дорохова и Лермонтова. — Забавы во время похода. — Бой под «Валериком». — Отзывы о Лермонтове Галафеева и Граббе. — Встреча с французской писательницей Гоммер де Гелль. — Сборы в Петербург.

Переведенный высочайшим приказом от 13 апреля 1840 года из лейб-гвардии гусарского полка тем же чином в Тенгинский пехотный полк, поручик Лермонтов, по приезде в Ставрополь, не поехал в Анапу, где был расположен штаб полка, а отправился на левый фланг кавказской линии в Чечню для участия в экспедиции.

Смелые действия Шамиля на реке Сунже, доставившие ему некоторый успех, и зимнее движение генерал-майора Пулло для сбора податей (1839) да преждевременная попытка обезоружить чеченцев взволновали население. Малая и большая Чечня, ичкеринцы, качалыковцы, галашенцы и карабулаки постепенно поднимали оружие и приставали к партии Шамиля. В 1840 году решено было приступить к исполнению еще прежде предположенного перенесения Кубанской линии на реку Лабу и заселению пространства между Кубанью и Лабой станицами казачьего линейного войска. Исполнение этого предприятия положено было разделить на периоды с тем, чтобы в продолжение первого года возвести на Лабе укрепления в опаснейших пунктах, дабы потом, под их прикрытием, водворить казачьи станицы. Вследствие этих предположений на линии составлено было два отряда. На правом фланге, под начальством генерал-лейтенанта Засса — Лабинский отряд; на левом, под начальством генерал-лейтенанта Галафеева — Чеченский отряд. Общее наблюдение поручено было генерал-адъютанту Граббе.

Лермонтов был назначен состоять при генерале Галафееве. Проживал он преимущественно, кажется, в Ставрополе. Здесь собралось довольно интересное общество, сходившееся большей частью у барона И.А. Вревского, тогда капитана генерального штаба. Мы назовем, кроме Лермонтова и Монго-Столыпина, Карла Ламберта, Сергея Трубецкого (брата Воронцовой-Дашковой), Льва Сергеевича Пушкина, Р.Н. Дорохова, Д.С. Бибикова, барона Россильона, доктора Майера и нескольких декабристов, из числа которых Михаил Александрович Назимов

являлся особенно излюбленной личностью. К Вревскому и Назимову Лермонтов относился с уважением и «с ними никогда не позволял себе тона легкой насмешки», которая зачастую отмечала его отношения к другим лицам. «Со мной, как с младшим в избранной среде упомянутых лиц, Лермонтов школьничал до пределов возможного, — рассказывает Есаков, — а когда замечал, что теряю терпение, он, бывало, ласковым словом или добрым взглядом тотчас уймет мой пыл».

В половине июня Лермонтов отправился на левый фланг в отряд генерала Галафеева. Крепость Грозная была главным пунктом операций. Отсюда производились экспедиции отдельными отрядами, и сюда же вновь возвращались по совершении перехода. Во время роздыхов Лермонтов из Грозной ездил через крепость Георгиевскую, лежавшую на дороге к Ставрополю, в любимый им Пятигорск.

Между тем, ловкие действия Шамиля, являвшегося с чрезвычайной быстротой всюду, откуда уходили войска наши, и с успехом увлекавшего за собой толпы плохо замиренных горцев, убедили генерала Галафеева внести истребление внутрь возмутившегося края. В первых числах июля в лагере под Грозной царствовало большое оживление: сновали донские казаки с длинными пиками; пехота перед составленными в козла ружьями делала приготовления к выступлению; палатки складывались на повозки, егеря готовились занять пикеты; моздокские линейные казаки возвращались с рекогносцинировок; два горных орудия стояли на возвышении впереди отряда. Неподалеку от них, между спутанными конями, пестрой группой лежали люди в самых разнообразных костюмах: изодранные черкески порой едва прикрывали наготу членов, дорогие шемаханские шелки рядом с рубищами доказывали полное презрение владельцев к внешнему своему виду. На многих замечалось богатое и отлично держанное оружие. Оправы шашек и кинжалов блестели на ярком утреннем солнце, заливавшем местность. Роса еще не высохла, и капли ее сверкали на кустах кизиля, увитого диким виноградником. Лица, загорелые и смуглые, выражали бесшабашную удаль и при разнообразии типов носили общий отпечаток тревожной боевой жизни и ее закала. Тут были татары-магометане, кабардинцы, казаки — люди всех племен и верований, встречающихся на Кавказе, были и такие, что и сами забыли, откуда родом. Принадлежали они к конной команде охотников, которой заведовал храбрец Дорохов. Бесшабашный командир сформировал эту ватагу преданных ему людей. Все они сделали войну ремеслом своим. Опасность, удальство, лишения и разгул стали их лозунгом. Огнестрельное оружие они презирали и

резались шашками и кинжалами в удалых схватках с грудью грудь. Даровитый Дорохов, за отчаянные выходки и шалости не раз разжалованный в солдаты, вновь и вновь выслуживался, благодаря своей дерзкой отваге.

Раненный во время экспедиции, Дорохов поручил отряд свой Лермонтову, который вполне оценил его и умел привязать к себе людей, совершенно входя в их образ жизни. Он спал на голой земле, ел с ними из одного котла и разделял все трудности похода. В последний приезд свой в Петербург Михаил Юрьевич рассказывал об этой своей команде А.А. Краевскому и подарил ему кинжал, служивший поэту при столкновениях и стычках с врагами. В официальных донесениях о летнем и осеннем походе наших войск при представлении Лермонтова к награде говорится: «Ему была поручена конная команда из казаков-охотников, которая, находясь всегда впереди отряда, первая встречала неприятеля и, выдерживая его натиски, весьма часто обращала в быстро сильные партии».

Боевой и весьма умный и почтенный генерал Павел Христофорович Граббе высоко ценил Лермонтова как человека талантливого, дельного и храброго офицера. Конечно, суждения были различны. И барон Л.В. Россильон, бывший в отряде Галафеева старшим офицером генерального штаба, сообщал мне по поводу Лермонтова следующее: Лермонтов был неприятный, насмешливый человек и хотел казаться чем-то особенным. Он хвастал своей храбростью, как будто на Кавказе, где все были храбры, можно было кого-либо удивить ею! «Лермонтов собрал какую-то шайку грязных головорезов. Они не признавали огнестрельного оружия, врезывались в неприятельские аулы, вели партизанскую войну и именовались громким именем лермонтовского отряда. Длилось это недолго, впрочем, потому что Лермонтов нигде не мог усидеть, вечно рвался куда-то и ничего не доводил до конца. Когда я его видел на Сулаке, он был мне противен необычайной своей неприятностью. Он носил красную канаусовую рубашку, которая, кажется, никогда не стиралась и глядела почерневшей из-под вечно расстегнутого сюртука поэта, который носил он без эполет, что, впрочем, было на Кавказе в обычае. Гарцевал Лермонтов на белом, как снег, коне, на котором, молодецки заломив белую холщовую шапку, бросался на чеченские завалы. Чистое молодчество! — ибо кто же кидался на завалы верхом?! Мы над ним за это смеялись».

Не себя ли описывал Лермонтов, когда в стихотворении «Валерик» говорит:

Верхом помчался на завалы.

Кто не успел спрыгнуть с коня...

То, что во время похода и начальствуя над командой «дороховских молодцов», Лермонтов казался нечистоплотным, вероятно, зависело от того, что он разделял жизнь своих подчиненных и, желая служить им примером, не хотел дозволять себе излишних удобств и комфорта. Барон Россильон ставил Лермонтову в вину, что он ел с командой из одного котла, спал на голой земле и видел в этом эксцентричность и желание пооригинальничать или порисоваться. Между прочим барон возмущался и тем, что Лермонтов ходил тогда небритым. На профильном портрете в фуражке, сделанном в это время бароном Паленом, действительно видно, что поэт в походе отпустил себе баки и дал волю волосам расти и на подбородке. Это было против правил формы, но растительность у Лермонтова на лице была так бедна, что не могла возбудить серьезного внимания строгих блюстителей уставов. Впрочем, на Кавказе можно было дозволять себе отступления. На другом портрете, писанном самим поэтом тоже на Кавказе (в конце 1837 г.), видно, что и волосы на голове носил он длинные, не зачесывая их на висках, как по уставу полагалось.

На рассвете 6 июля отряд генерала Галафеева, состоя из шести с половиной батальонов, 14 орудий и 1500 казаков, двинулся из лагеря под крепостью Грозной. С рассветом переправился он за реку Сунжу и взял направление через ущелье Хан-Калу на деревню Большой Чечен. Неприятель стал показываться на пути шествия, но, ограничиваясь лишь легкой перестрелкой, исчезал, не вступая в серьезный бой. Войдя в Малую Чечню, отряд генерала Галафеева прошел через Чах-Кери к Гойтинскому лесу и Урус-Мартану, выжигая аулы, уничтожая хлеба и более или менее успешно перестреливаясь с горцами в незначительных стычках. Поклонники пророка делали затруднения на каждом шагу: то засядут за вековыми деревьями и, оттуда встретив гостей меткими выстрелами, скроются в лесной чаще, не вступая в рукопашный бой; то старались не допускать русских до воды, если берега представляли мало мальски удобные условия для прикрытия. Солдатам не раз приходилось запасаться водой под неприятельскими выстрелами. Случалось тоже, что во время привалов и стоянок какой-нибудь отважный мюрид вызывал русских на бой. Этот род рыцарских поединков практиковался, несмотря на официальное его запрещение. Чеченцы на запрет не обращали, конечно, внимания, а из русских находились охотники принимать вызовы.

Но в этих ошибках удалых, — говорит Лермонтов, —
Забавы много, толку мало:
Прохладным вечером бывало.

Мы любовались на них
Без кровожадного волненья,
Как на трагический балет...

В таких «забавах» прошло несколько дней, в течение которых выбыло из строя более 20 человек. Лермонтову боевая жизнь пришлась по нраву. Он давно мечтал окунуться в нее и теперь отдался ей со всей пылкостью натуры. Ему доставляло как будто особенное удовольствие вызывать судьбу. Опасность или возможность смерти делали его остроумным, разговорчивым, веселым. Однажды вечером, во время стоянки, Михаил Юрьевич предложил некоторым лицам в отряде: Льву Пушкину, Глебову, Палену, Сергею Долгорукову, декабристу Пущину, Баумгартену и другим пойти поужинать за черту лагеря. Это было небезопасно и собственно запрещалось. Неприятель охотно выслеживал неосторожно удалявшихся от лагеря и либо убивал, либо увлекал в плен. Компания взяла с собой нескольких денщиков, несших запасы, и расположилась в ложбинке за холмом. Лермонтов, руководивший всем, уверял, что, наперед избрав место, выставил для предосторожности часовых и указывал на одного казака, фигура которого виднелась сквозь вечерний туман в некотором отдалении. С предосторожностями был разведен огонь, причем особенно старались сделать его незаметным со стороны лагеря. Небольшая группа людей пила и ела, беседуя о происшествиях последних дней и возможности нападения со стороны горцев. Лев Пушкин и Лермонтов сыпали остротами и комическими рассказами, причем не обошлось и без резких суждений или скорее осмеяния разных всем присутствующим известных лиц. Особенно весел и в ударе был Лермонтов. От выходок его катались со смеху, забывая всякую осторожность. На этот раз все обошлось благополучно. Под утро, возвращаясь в лагерь, Лермонтов признался, что видневшийся часовой был не что иное как поставленное им наскоро сделанное чучело, прикрытое тонкой и старой буркой.

10 июля подошли к деревне Гехи — близ Гехинского леса и, предав огню поля, стали лагерем. Неприятель пытался было подкрасться к нему ночью, но был открыт секретами и ретировался. На заре 11 июля отряд выступил, имея в авангарде три батальона Куринского егерского полка, две роты саперов, одну сотню донских и всех линейных казаков, при 4-х орудиях. Впереди еще было 8 сотен донских казаков с двумя казачьими орудиями. В главной колонне следовал обоз под сильным прикрытием — до него горцы были особенно лакомы. Длинную линию в лесистой местности поневоле растянувшегося отряда замыкал арьегард из двух батальонов пехоты с двумя казачьими

орудиями и сотней казаков. Неприятель нигде не показывался, и авангард вступил в густой Гехинский лес и пошел по узкой лесной дороге. Несколько выстрелов в боковой цепи только указывали, что неприятель не дремлет. Опасность ждала впереди... Приходилось пройти большую, окаймленную со всех сторон лесом, поляну. Впереди виднелся Валерик, то есть «речка смерти», названная так старинными людьми в память кровопролитной стычки на ней. Валерик протекал по самой опушке леса в глубоких, совершенно отвесных берегах. Воды в речке, пересекавшей дорогу под прямым углом, было много. Правый берег ее, обращенный к отряду, был совершенно открыт, по левому тянулся лес, вырубленный около дороги на небольшой ружейный выстрел. Тут было удобное место для устройства неприятельских завалов. Они и были, как оказалось, им устроены из толстых срубленных деревьев. Как за бруствером крепости, стоял враг, защищаемый глубоким водяным рвом, образуемым речкой. Подойдя к месту на картечный выстрел, артиллерия открыла огонь.

Пустили несколько гранат;

Еще подвинулись... Молчать!

Ни одного ответного выстрела; ни малейшего движения не было заметно. Местность казалось вымершей. Обоз тоже выехал на поляну. Весь отряд двинулся еще вперед и подошел к лесу на ружейный или пистолетный выстрел, было решено сделать привал; пехота же должна была проникнуть в лес и обеспечить переправу. Но едва артиллерия начала сниматься с передков, как чеченцы внезапно со всех сторон открыли убийственный огонь.

В одно мгновение войска были выдвинуты вперед с обеих сторон дороги. Добежав до лесу, они неожиданно остановлены были отвесными берегами речки и срубами из бревен, приготовленными неприятелем за трое суток вперед. Отсюда-то он и производил убийственный огонь. Били на выбор офицеров и солдат, двигавшихся по открытой местности. Войска поняли, что стрелять в людей прикрытых деревьями, имевшими по аршину в поперечнике — дело напрасное...

...полки,

Народ испытанный... В штыки!

кинулись вперед через речку, помогая друг другу по грудь в воде. Все спасение было в том, чтобы как можно скорее перебраться к неприятелю. Начался упорный рукопашный бой, частью в лесу, частью в водах быстро текущего «Валерика». Резались несколько часов. Кинжал и шашка уступили, наконец, штыку. Но долго еще в лесу слышались выстрелы... Дело было небольшое, но кровопролитное. «Вообрази себе, — пишет

Лермонтов А.А. Лопухину, — что в овраге, где была потеха, час после дела еще пахло кровью». В том же письме поэт говорит, что в русском «отряде убыло 30 офицеров и 300 рядовых. Чеченцев осталось на месте 600 трупов». Последнее известие, конечно, преувеличено. Вероятно, так говорили в лагере. Чеченцы находились за прикрытиями, и потери их должны были быть меньше наших. Действительно, в официальном донесении Галафеева говорится, что неприятель на месте оставил 150 тел. В стихотворении «Валерик» Лермонтов, на спрос свой у старого мирного чеченца о числе павших получает уклончивый ответ, но ответ этот все же ясно показывает, что потери горцев были невелики, дралось же их более 6000 человек:

— А много горцы потеряли?
— Как знать! зачем вы не считали?
— Да, будет, кто-то тут сказал,
Им в память этот день кровавый!
Чеченец посмотрел лукаво
И головой покачал...

Хотя Лермонтов ни в стихотворениях, ни в письмах не упоминает о роли, какую играл он лично в боях, но что он принимал в них участие активное и был не из последних удальцов, видно из донесения генерала Галафеева генерал-адъютанту Граббе от 8 октября 1840 г. Там говорится так;

Тенгинского пехотного полка Лермонтов во время штурма неприятельских завалов на реке Валерике имел поручение наблюдать за действиями передовой штурмовой колонны и уведомлять начальника отряда об ее успехах, что было сопряжено с величайшею для него опасностью от неприятеля, скрывавшегося в лесу за деревьями и кустами. Но офицер этот, несмотря ни на какие опасности, исполнил возложенное на него поручение с отличным мужеством и хладнокровием и с первыми рядами храбрейших ворвался в неприятельские завалы.

За дело под Валериком для Лермонтова испрашивался орден Св. Владимира 4 степени с бантом, что в те времена для столь молодого человека являлось высокой наградой.

Экспедиция, длившаяся девять дней, окончилась, и 14 июля отряд генерала Галафеева вернулся в Грозную. Отдых продолжался, однако, недолго. Недобрые вести о действиях Шамиля принуждают отряд снова выйти в поход. Он двинулся через крепость Внезапную к Мятелинской переправе и, простояв здесь лагерем, направился к Темир-Хан-Шуре. Серьезных столкновений не было. Горцы рассеялись с приближением наших войск, и Галафеев, окончив работы по укреплению Герзель-аула, вернулся к основному пункту своих действий, к крепости

Грозной, 9 августа.

Лермонтов в это время получает разрешение побывать в Пятигорске. Мы его встречаем там 14 августа в компании с французской писательницей Адель Гоммер де Гелль, весьма красивой и умной женщиной. Легкомысленная француженка вполне оценила ум и талант поэта, а Лермонтов, поклонник и тонкий знаток женский красоты, конечно, не упустил случая показаться во всем блеске своего ума и поэтического дарования, так что М-ме Adnle пришла от него в восторг и стала ревновать к поэту девицу Реброву, за которой в прежние свои приезды сильно ухаживал Михаил Юрьевич. Говорили даже, что он на ней женится. Из Пятигорска вся веселая компания переезжает в Кисловодск. Г-жа Гоммер в своем дневнике от 26 августа говорит: «Мы едем на бал, который дает общество в честь моего приезда. Мы очень весело провели время. Лермонтов был блистателен, Реброва очень оживлена. Петербургская франтиха (одна из дам „водяного“ общества) старалась афишировать Лермонтова, но это ей не удалось. В час мы пошли домой. Лермонтов заявил Ребровой, что он ее не любит и никогда не любил. Я ее бедную уложила спать, и она скоро заснула... Было около двух часов ночи. Я только что вошла в мою спальню. Вдруг тук-тук в окне, и я вижу моего Лермонтова, который у меня просил позволения скрыться от преследующих его неприятелей. Я, разумеется, открыла дверь и впустила моего героя. Он у меня всю ночь остался до утра. Бедная Реброва лежала при смерти. Я около нее ухаживала. Я принимаю только одного Лермонтова. Сплетням не было конца. Он оставил в ту же ночь свою военную фуражку с красным околышком у петербургской дамы. Все говорят вместе с тем, что он имел в ту же ночь rendez-vous с Ребровой. Петербургская франтиха проезжала верхом мимо моих окон в фуражке Лермонтова, и Лермонтов ей сопутствовал. Меня это совершенно взорвало, и я его более не принимала под предлогом моих забот о несчастной девушке. На пятый день мой муж приехал из Пятигорска, и я с ним поеду в Одессу, совершенно больная».

Если сопоставить этот рассказ с некоторыми моментами из повести «Княжна Мэри», то невольно приходится думать, что Лермонтов, любивший «на деле собирать материалы для своих творений», воспользовался эпизодами из тогдашней жизни своей на водах и встречами с прекрасной француженкой для рисовки некоторых внешних сторон в своей повести.

Хотя прекрасная француженка и пишет, что так рассердилась на Лермонтова, что больше его не принимает, но уже через четыре дня — 30 августа — она сообщает, что виделась с поэтом

и так и не добилась от него правды и объяснения его выходкам. «Лермонтов всегда и со всеми лжет! — негодуя замечает она. — Такая его система. Все знакомые, имевшие с ним сношения, говоря с его слов, рассказывали все разное. Обо мне он ни полслова не говорил. Я была тронута и ему написала очень любезное письмо» и т.д. Позднее та же особа говорит о Лермонтове: «Я на него вовсе не сердилась и очень хорошо понимала его характер: он свои фарсы делал без злобы».

Впрочем, мы не без опасения высказываем свои соображения по поводу отражения эпизодов с француженкой в «Герое нашего времени», прибавляя таким образом еще новую кандидатку к целому сонму лиц, на которых указывали или которые сами утверждали, будто Лермонтов был влюблен в них и это они послужили прототипом для княжны Мэри. Так, утверждали, что в ней поэт выставил сестру Мартынова, что будто и было настоящей причиной несчастной дуэли. Видели прототип княгини и княжны Лиговских в г-же Киньяковой с дочерью из Симбирска, лечившихся в Пятигорске, в г-же Ивановой из Елисаветграда, в г-же Прянишниковой и племяннице ее, г-же Быховец, с которыми, впрочем, Лермонтов познакомился перед последней своей дуэлью. В 1881 году по Пятигорскому бульвару и у источников ходила г-жа В. в длинных седых локонах со следами стройной красоты. Ее все называли «Княжной Мэри», и она принимала это название с видимым удовольствием. Но самое курьезное, это упорное уверение разных собирателей вестей о Лермонтове, что поэт списывал главную героиню своего романа с Э. А. Шан-Гирей. Тщетно почтенная и уважаемая Эмилия Александровна более 10 лет в целом ряде заметок в различных журналах сообщает, что она познакомилась с Михаилом Юрьевичем в мае 1841 года, тогда как «Герой нашего времени» был написан с 1838 по 1840 год. Последний рассказ «Княжна Мэри», оконченный в октябре или ноябре, был напечатан раньше последнего выезда поэта на Кавказ. Ее сообщениям не внемлят. Уж видно так созданы люди, что им непременно верится в то, во что им почему-либо хочется верить, а не в то. что есть на самом деле. Даже в лермонтовском музее, где находятся все статьи г-жи Шан-Гирей, и куда она специально писала, препровождая портрет свой, о присылке которого ее просили, — даже там не могли воздержаться от того, чтобы не подписать под портретом: «Княжна Мэри».

Г-жа Гомер-де Гелль не на шутку полюбила поэта, встретясь с ним еще раз через два месяца в Ялте. Она уверилась, что была бы счастлива с ним. «Мы оба поэты! — восклицает она. — Между нами все чисто». Под обаянием увлечения и поэтической обстановки они обменялись стихотворениями. Лермонтов

написал ей лирическую пьеску на французском языке, описывая случай, когда оба сговорились идти гулять из Мисхора в Сименс и М-me де Гелль нашла поэта на месте назначенного свидания, спящим под березой. Михаил Юрьевич страшно дурачился с интересной иностранкой, весьма легко относившейся к жизни, но все же понимавшей значение нашего поэта лучше многих из его соотечественников. Она называла Михаила Юрьевича «Буль-буль», что по-татарски означает соловей, и в письмах во Францию высказывала, что «это новое светило, которое возвысится и далеко взойдет на поэтическом горизонте России». Г-жа де Гелль посвятила нашему поэту стихотворение под заглавием «Соловей Лермонтову» и поместила его тогда же в «Одесском журнале».

Пробыв на минеральных водах, Лермонтов поехал в Ставрополь узнать о своем отпуске для свидания с бабушкой в Петербурге, о котором старушка Арсеньева неустанно хлопотала. В штабе командировавшего генерала-адъютанта Граббе, расположенном в Ставрополе, поэт хотел справиться, что отвечали на запрос о нем военного министра. Старшим адъютантом при штабе оказался товарищ Михаила Юрьевича по Московскому университетскому пансиону, который и показал поэту ответную бумагу. Обыкновенно по некоторым бумагам, не требовавшим какой-либо «особенной отписки», писари сами составляли черновые отпуски, и в такую-то категорию бумаг попал и запрос министра о Лермонтове. В «отпуске» было сказано, что такой-то поручик Лермонтов служит исправно, ведет жизнь трезвую и добропорядочную и ни в каких злокачественных поступках не замечен Лермонтов сильно хохотал над такой для него «аттестацией» и уверял, что ничего не может быть для него более лестным.

От 27 сентября и до 18 октября Лермонтов опять находится в экспедиции в Большую Чечню. В это время, кажется, он стал предводительствовать конной командой охотников, о которой мы говорили выше, и опять отличился. П.Х. Граббе в своем представлении говорит по поводу Михаила Юрьевича: «Во всех делах поручик Лермонтов оказал примерное мужество и распорядительность». Его представили к золотой сабле. Кажется, во время этой экспедиции возле Лермонтова был убит декабрист Лихарев. «Сражение приходило к концу; оба приятеля шли рука об руку, и часто в жару спора, неосторожно останавливались. Но горская пуля метка, и винтовка редко дает промахи. В одну из таких остановок вражеская пуля поразила Лихарева»...

Каким образом вскоре после экспедиции, уже в конце октября, Лермонтов оказался в Ялте с г-жей Гомер-де Гелль, непонятно. Нам не удалось определить, когда и на сколько

времени был ему дан отпуск и вообще был ли даваем таковой. В Петербург он приехал в начале февраля 1841 г. Трудно предположить, чтобы, получив разрешение в конце октября, тот ноябрь, декабрь и январь, то есть три месяца, он ехал из Крыма до Петербурга. Г-жа Гомер-де Гелль говорит о том, что «Лермонтов торопится в Петербург и ужасно боится, чтобы не узнали там, что он заезжал в Ялту. Его карьера может пострадать. Графиня Воронцова ему обещала об этом в Петербург не писать „ни полслова“». Трудно предположить, чтобы поэт увлекся так, что поехал в Крым без разрешения и затем возвратился в Ставрополь ожидать получения отпуска. В таком случае показания Есакова верны, и Лермонтов точно провел часть зимы 1840 и 1841 года в Ставрополе. Господин Меринский в воспоминаниях своих говорит, что Михаил Юрьевич в конце 1840 года, получал отпуск в Петербург «на несколько месяцев».

ГЛАВА XVIII

Первое издание стихотворений и «Героя нашего времени». — Суждение. — Религиозное направление. — Последнее пребывание в Петербурге. — Мечты об отставке и исключительно литературной деятельности. — Лермонтов в кругу друзей. — Нерасположение к поэту Бенкендорфа. — Внезапная высылка из Петербурга.

В то время, как Лермонтов на Кавказе вел жизнь, полную приключений, в Петербурге собирались издавать его сочинения. В небольшую книжку были собраны стихотворения поэта, всего 28 лирических пьес, и выпущены в свет небольшим томиком. Но еще раньше выхода в печати появился роман «Герой нашего времени» в 2-х частях. Кроме «Бэлы», «Фаталиста» и «Тамани», прежде уже напечатанных в «Отечественных записках», читатели встретили здесь впервые «Максима Максимовича» и «Княжну Мэри». Последний рассказ Лермонтов выслал с Кавказа незадолго до своего приезда. Он застал издание почти законченным и принял предложенное Краевским изменение заголовка: «Один из героев нашего века» на «Герой нашего времени». Несмотря на хорошие отзывы Белинского в «Отечественных записках», издание не расходилось. Тогда издатель Глазунов, боясь понести убытки на своем предприятии, обратился к редактору «Северной пчелы» Фаддею Венедиктовичу Булгарину и просил напечатать в газете его одобрительный отзыв о сочинении молодого писателя. Как только в «Северной Пчеле» появилась одобрительная статья, издание раскупили нарасхват. Сам Булгарин в своем

достопамятном органе рассказывает дело иначе: к нему приходил-де человек, положительный «как червонец», и просил написать статью о готовящейся к печати книге молодого писателя. В этом было ему отказано. Только когда Булгарин прочел в «Маяке» невозможную критику Бурачка, он решился прочесть «Героя нашего времени» и утверждает, что «в течении 20 лет впервые прочел русский роман дважды сряду» («Северная Пчела», 1840, N 246).

Допустим, что действительно восторженная рецензия Булгарина помогла Глазунову распродать свое издание, а следовательно, послужила к распространению славы Лермонтова. В длинном перечне прегрешений Фаддея Венедиктовича пусть мерцает эта «заслуга» его светлой точкой. Удивительно только, что мало-помалу ясный взгляд Белинского и суждения его о произведениях Лермонтова забылись или по ним скользили весьма поверхностно. Много десятков лет журнальная наша критика относилась недружелюбно к типу Печорина, отождествляя его с Лермонтовым, которого признали человеком, исполненным всевозможных неприятных свойств и даже пороков.

Если ранее мы упоминали о мнении, что Лермонтов дошел до крайних пределов отрицания, то это могло казаться лишь тем людям, которые не хотели или не могли глубже приглядеться к нему и его поэзии. Оттого-то они в то же время обыкновенно замечали, что многое в этом человеке не разъяснено, что биографы не выяснили различных явлений его характера, что он глядел злобно на окружающее, что он охотно драпировался в мантию байронизма и т.п.

Наши критики и философы сами были слишком тесно связаны с теми явлениями жизни, которые бичевал Лермонтов; вот почему, не умея отличить вечного от временного, они судили о поэте односторонне и бледно, взирая на него и мир сквозь бедное запыленное свое окошечко, сквозь призму предвзятости и партийности, в то время, как стоящее вне их лицо — Боденштедт — один из представителей общечеловеческого понимания и развития, через десять лет по смерти поэта, сумел уже произнести о нем в общем вполне верное суждение; а Боденштедт не знал к тому еще и русской жизни, не имел биографических сведений о великом нашем поэте, явившихся позднее.

Лермонтов вовсе не доходил до крайних пределов отрицания. Он отнесся отрицательно лишь к явлениям современной ему жизни, выразил это ясно, прежде всего, как видели мы, в «Думе» своей. Но в жизни нашей, кроме интересов времени, теплится и вечное, то есть то, что живет рядом, а порой, и наперекор случайному, современному. И вот в этом Лермонтов не был

скептик. Уже рано поэт начинает сомневаться в справедливости, даже в уважительности тех форм существования и суждения, которые приняла при нем русская общественность. Иностранную он знал мало, и о ней, как умный человек, не поющий с чужого голоса, не судил. Ударившись молодым человеком в Петербурге в общественную жизнь, он скоро стал сознавать всю мелочность и тщету ее и выражать это в своих произведениях. Сам он с современниками жил только короткое время этой пустой жизнью. Он собрал материал на опыте для уразумения явлений или, по крайней мере, для изображения их. Поэтому, бичуя современников, он бичевал и себя такого, каким был он, когда шел с ними одной дорогой. Поэт доходил до того развития, когда появляется возможность оглядеться на самого себя. Анализируя современных людей, он анализировал и самого себя, поскольку на нем отразилось современное, и вот степень сходства Печорина с Лермонтовым — Печорина, зарождающегося в неоконченной повести «Княгиня Литовская», и Печорина из «Героя нашего времени» — этого бессмертного творения и по поэтическому достоинству своему, и по живоописанию характеров, и по рисовке современного типа.

Все это глубоко сознавал сам писатель, и вот почему в 1841 году, готовя второе издание своего романа, он мог высказаться в предисловии к нему:

...Наша публика так еще молода и простодушна, что не понимает басни, если в конце ее не находит нравоучения. Она не угадывает шутки, не чувствует иронии... Она еще не знает, что в порядочном обществе и в порядочной книге явная брань не может иметь место; что современная образованность изобрела орудие более острое, почти невидимое и тем не менее смертельное, которое под одеждой лести наносит неотразимый и верный удар...

«Герой нашего времени», милостивые государи мои, — говорит поэт далее в том же предисловии, — точно портрет, но не одного человека; это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения в полном их развитии...

На значение Печорина как изображения героя времени, затронутого поэтом уже в «Думе», указывал и Белинский: «„Герой нашего времени“ — это грустная дума о нашем времени, как и та, которою так благородно, так энергически возобновил поэт свое поэтическое поприще». Критик намекает на «Думу», которую поэт написал по возвращении из первой ссылки своей.

Удачно или неудачно изобразил поэт то, что хотел изобразить; талантливо или неталантливо написано это произведение, мы говорить не станем — пусть спорит о том,

пожалуй, и теперь еще, кто желает, но только одно не подлежит сомнению — это бедность понимания наших критиков и писателей почти по сей день. Ярким примером непонимания может служить суждение о Печорине Авдеева, написавшего целый роман Тамарин, долженствовавший развенчать этот тип... Господи! Разве можно винить писателя за то, что плохо мыслящие люди приписывают ему жалкий кругозор бедного своего понимания. Разве можно винить Лермонтова за то, что люди его поколения, а, пожалуй, и следовавшего за ним поколения, приняли сатиру его за идеал и спешили наперерыв представлять из себя Печориных. Точно так же могли бы мы винить Шиллера за то, что люди принимались за разбойничье ремесло, уверяя себя и других, что воплощают собой Карла Мора. Виноват ли Ричардсон в том, что, выставляя в знаменитом своем романе «Кларисса» героем «Ловеласа», списанного им частью с лорда-лейтенанта Ирландии Вартона, не достиг цели своей. Ричардсон в «Ловеласе», пустом и пошловатом характере внутри и представителе порядочности во внешних проявлениях, думал изобразить героя своего времени, который, как сатира на современников, должен был вызвать их негодование и послужить к отрезвлению и оздоровлению. Но Ричардсон ошибся. Любезность, смелость и недюжинность характера Ловеласа увлекла читателей, особенно же читательниц, и роман вызвал совершенно противоположное впечатление тому, какое желал вызвать автор. В одном из писем своих Ричардсон жалуется на то, что Ловелас, несмотря на порочность свою, нравится, благодаря некоторым симпатичным чертам характера. Благодаря низкому нравственному уровню тогдашнего общества — прибавим мы. Роман «Кларисса» появился в 1768 году. Долго Ловелас стоял идеалом героя. Но время взяло свое. И кто же теперь, из мало-мальски развитых людей, да и давно уже, захочет еще надевать на себя наряд этого героя, драпироваться в него — слыть за Ловеласа?!

Не Ричардсон виной, что современники не поняли значения его героя! Виной то, что современники сами были не выше Ловеласа и потому возвели его в идеал. Более развитое потомство дало ему оценку, какую придавал автор, и тем оправдало Ричардсона. Точно так же не вина Лермонтова, что современники не поняли Печорина, не придали ему настоящего значения, а судили по себе и понимали так, как понимать были в состоянии по своему развитию, понятиям и интересам. К тому же упорно утверждали, что в Печорине Лермонтов изобразил самого себя, и мало-помалу так в этом убедились, что спутали поэта с выставленным им героем. Изречения последнего выдаются за

мнения самого поэта, без всякого критического анализа. Места, описанные в романе, где проводил время Печорин, или где с ним что-либо происходило, связываются с мнением самого поэта. Так, грот, в котором поэт описывает встречу Печорина с Верой, так и именуется «гротом Лермонтова». В Пятигорске даже создалась целая легенда о том, что в этом гроте Михаил Юрьевич писал свой роман и сочинял свои чудные лирические стихотворения. В гроте этом непризнанные пииты старались увековечить память свою на мраморных досках, сплетая золотыми буквами свои имена с именем великого писателя. Посетители Пятигорска собирали подписки, выписывали бюсты Лермонтова — имеющие при том сходство скорее с любым лакеем, а не с поэтом — носили венки и другие приношения. Грот же этот во времена Лермонтова, находясь в диком состоянии, бывал прибежищем в разных случаях жизни водяного общества, и сидеть в нем, писать или задумывать сочинения было не совсем удобно.

Но что же делать! Верили же туристы, когда проводники французы и лодочники итальянцы показывали им остров и грот на нем, в котором Монте-Кристо, герой известного романа Дюма, хранил свои сокровища.

Если правда, что Печорина Лермонтов частью списал самого себя, то лишь настолько, насколько Онегина списал с себя Пушкин, а Чацкого — с себя Грибоедов. Гете изобразил самого себя в Фаусте, друга же своего Марка в Мефистофеле. Но разве можно смешивать создание искусства с лицом, черты которого помогали художнику облекать идею в кровь и плоть! Впрочем, мы знали человека из «образованного общества», который говорил, что созданный Антокольским Иоанн Грозный, не Иоанн Грозный, а просто натурщик, которого он сам видел в мастерской скульптора. Лицо Иоанна Крестителя на гениальной картине Иванова списано с несчастной вдовы, и немало Мадонн кисти Рафаэля сняты им с итальянок, в свое время многим известных. Рассказывают, что крестьяне одной деревни требовали удаления из церкви святого изображения, потому что знали личность, служившую моделью для художника.

Отрицательно относясь к явлениям своего времени и «печально глядя на современное ему поколение», поэт далеко не негативно относился к вечным вопросам и задачам жизни. Чем более зрел он, чем более проникал в смысл жизни народа своего и человечества, тем сильнее звучали в поэзии его струны положительного, а не отрицательного направления. Не злоба говорит в нем, когда он обращается к Матери Божьей в своей дивной молитве. Дышит она любовью и верой, дышит чувством полного отречения от своего «я», дышит альтруистическим

отношением к ближнему:

.. Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника в свете безродного;
Но я вручить хочу деву невинную
Теплой Заступнице мира холодного.

Или:

Когда в минуту жизни трудную,
Теснится-ль в сердце грусть,
Одну молитву чудную
Твердит он наизусть.

«Когда волнуется желтеющая нива», когда среди явлений природы он один с ней, и далеко отлетает все современное, ему столь чуждое, когда смиряются души его тревоги, он видит в небесах Бога, и морщины сглаживаются на челе его. Сколько веры, сколько любви душевной сказывается тогда в поэте нашем, заклейменном неверующим отрицателем.

«Мне отрадно было видеть, — пишет Белинский о Лермонтове после свидания с ним и интимной беседы один на один, — в его рассудочном, охлажденном и озлобленном взгляде на жизнь и людей семена глубокой веры в достоинство того и другого. Я это сказал ему, — он улыбнулся и сказал: Дай Бог!..»

В Лермонтове, который «никогда не переставал верить в личного Бога», светило упование Вечного, и потому «скучные „песни земли“ не могли заменить ему звуков небес». Эти «песни земли», в его время петые печальным поколением, томили его, он задыхался от них. Одиноким выходил он на дорогу, прислушиваясь к языку звезд, а порой, и они «слушали его, лучами радостно играя»!.. Даже в шуме битвы поэт чувствовал себя одиноким, а мысли уносились к «престолу предвечного Аллы» или были заняты болью о попранном достоинстве человека. После горячего дела под Валериком, среди окровавленных раненых и остывающих трупов стоит он, «тоской томимый»:

Уже затихло все; тела
Стащили в кучу... Кровь текла
Струею дымной по каменьям:
Ее тяжелым испареньем
Был полон воздух. Генерал
Сидел в тени на барабане
И донесенья принимал.
Окрестный лес, как бы в тумане,
Синел в дыму пороховом;
А там вдали — грядой нестройной,
Но вечно гордой и спокойной,

В своем наряде снеговом
Тянулись горы — и Казбек
Сверкал главой остроконечной.
И с грустью тайной и сердечной
Я думал: жалкий человек!
Чего он хочет?.. Небо ясно;
Под небом места много всем;
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он... Зачем?..

Любопытны и религиозные беседы, которые Лермонтов еще в начале 1841 года имел с Одоевским и которые побудили последнего записать в альбом поэта изречения из деяний Апостольских.

«И мир преходит и похоть его; а творяй волю Божию пребывает во веки».

В начале февраля, на масляной, Михаил Юрьевич в последний раз приехал в Петербург. Бабушка, усиленно хлопотавшая о прощении внука, не успела в своем предприятии и добилась только того, что поэту разрешили отпуск для свидания с ней. Круг друзей и теперь встретил его весьма радушно. В нем заметили перемену. Период брожения пришел к концу. Поэтический талант креп, и сознательность суждений сказывалась все яснее. Он нашел свой жизненный путь, понял назначение свое и зачем призван в свет. Ему хотелось более чем когда-либо выйти в отставку и совершенно предаться литературной деятельности. Он мечтал об основании журнала и часто говорил о нем с Краевским, не одобряя направления «Отечественных записок».

«Мы должны жить своей самостоятельной жизнью и внести свое самобытное в общечеловеческое. Зачем нам все тянуться за Европой и за французским. Я многому научился у азиатов, и мне бы хотелось проникнуть в таинства азиатского миросозерцания, зачатки которого и для самих азиатов и для нас еще мало понятны. Но, поверь мне, — обращался он к Краевскому, — там на Востоке тайник богатых откровений». Хотя Лермонтов в это время часто видался с Жуковским, но литературное направление и идеалы его не удовлетворяли юного поэта. «Мы в своем журнале, — говорил он, — не будем предлагать обществу ничего переводного, а свое собственное. Я берусь к каждой книжке доставлять что-либо оригинальное, не так, как Жуковский, который все кормит переводами, да еще не говорит, откуда берет их». Признаки этого настроения сохранились в стихотворении Лермонтова «Родина». О литературной его деятельности того времени Гоголь говорит: «Никто еще не писал у нас такой

правильной, прекрасной и благоуханной прозой. Тут видно больше углубления в действительность жизни — готовился будущий живописец русского быта».

Творчество Лермонтова действительно вступало в новую фазу развития. Элементы объективной рисовки берут верх над субъективными; поэт черпает мотивы своих созданий не только из личных ощущений, но, главным образом, из широких народных верований и мотивов. Зачатки такого процесса сказались уже при создании им «Песни про Ивана Грозного и купца Калашникова». Теперь любезнейшая и вернейшая для биографа поэма «Демон», которая носит на себе все фазы развития таланта и душевного состояния поэта, из области личного чувства переходит в область эпического создания. В ней отражается уже не личная жизнь, а верования и природа целой страны, в которой поэт нашел вторую свою родину. Последняя переработка поэмы относится именно к 1841 году.

Жизненности в Лермонтове не уменьшалось, но все существо его стало спокойнее. Тоска беспредметная — признак молодых неуравновесившихся натур — реже его посещала. Он давал людям и обстоятельствам более прочную оценку и не искал удовлетворения там, где искать его было тщетно. Общество вокруг его не изменилось, но уже его не тешили так, как прежде, кипучие выходки молодчества, не томили пошлость и ничтожество встречаемого. Он вырос внутренно и поднялся и над обществом, и над своим собственным «я», коренившемся в этом обществе. Один из близких очевидцев отношений поэта к окружающей его среде говорит: «Недурны были зачатки в этом поколении, из которого вышел Лермонтов, но ужасна была среда, в которой ему суждено было прозябать и которая губила в напрасной и бесплодной борьбе с самим собой и с окружавшей обстановкой лучших его представителей». Что поэту опостылел даже тот круг людей, в котором он еще в 1838 и 1839 годах, во время служения в лейб-гусарах, убивал время и прожигал молодость, видно и из отзывов князя П. П. Вяземского о том, как держал себя в 1841 году Михаил Юрьевич в товарищеской компании в Петербурге:

В последний приезд Лермонтова я не узнавал его. Я был с ним очень дружен в 1839 году. Теперь Лермонтов был как будто чем-то занят и со мной холоден. Я это приписывал Монго Столыпину, у которого мы видались. Лермонтов что-то имел со Столыпиным и вообще чувствовал себя неловко в родственной компании. Не помню, жил ли он у братьев Столыпиных или нет, но мы там еженощно видались. У меня осталось в памяти, как однажды он сказал мне: «Скучно здесь, поедем освежиться к

Карамзиным». У Карамзиных большей частью собирался тот же кружок развитых интеллигентных людей и блестящих светских барынь, среди которых мы видели Лермонтова еще в 1840 году. Здесь в дружеском кругу Лермонтов более мог быть самим собой и отдыхать в беседе, то серьезной, то игривой и непринужденной. Он был особенно дружен с Софьей Николаевной Карамзиной, тоща как братья ее, Андрей и Владимир Николаевичи, были близки: первый с графиней Ростопчиной, второй с А.О. Смирновой. Всем им поэт посвятил стихотворения, обессмертившие имена их. Три месяца, проведенных тогда поэтом в столице, были, как полагает графиня Ростопчина, «самые счастливые и самые блестящие в его жизни... Он утром сочинял какие-нибудь прелестные стихи и приходил к нам читать их вечером. Веселое расположение духа проснулось в нем опять, в этой дружеской обстановке, он придумывал какую-нибудь шутку или шалость, и мы проводили целые часы в веселом смехе».

Люблю я разговоры ваши,

И «ха-ха-ха»! и «хи-хи-хи»! —

повторял сам Лермонтов. Однажды он объявил, что прочитает новый роман под заглавием «Штос», причем уверял, что ему для прочтения его понадобится по крайней мере четыре часа. Он потребовал, чтобы собрались вечером рано и никого из посторонних не пускали. Все желания были исполнены, и избранники сошлись числом около тридцати. Наконец Лермонтов входит с огромной тетрадью. Принесли лампу, двери заперли, началось чтение. Спустя четверть часа все было кончено. Оказалось, что написано было несколько страниц и остальное в тетради — белая бумага. Сюда же Михаил Юрьевич принес однажды стихотворение свое «Волшебные звуки»:

Есть речи — значенье

Темно иль ничтожно...

Он пересказывал, как год назад привез первый набросок к Краевскому и как тот уличил его в незнании грамматики:

Из пламя и света

Рожденное слово,

вместо пламени. «Я тогда, — заметил Лермонтов, — никак не мог изменить стиха. Думал, думал, да и бросил, даже изорвать собирался, а Краевский напечатал, и напрасно: никогда торопиться с печатаньем не следует. Вот теперь я дело исправил». Поднялся спор: кто был за первую, кто за вторую редакцию.

На Святой неделе Лермонтов написал «Последнее новоселье», тоже читавшееся у Карамзиных.

Графиня Ростопчина в стихотворении, посвященном памяти Лермонтова, так рисует его отношение к кружку:

...Но лишь для нас, лишь в тесном круге нашем
Самим собой, веселым, остроумным,
Мечтательным и искренним он был,
Лишь нам одним он речью, чувства полной,
Передавал всю бешеную повесть
Младых годов, ряд пестрых приключений
Бывалых дней, и зреющие думы
Текущие поры... Но лишь меж нас, —
На ужинах заветных, при заре,
(В приюте том, где лишь немногим рад
Разборчиво-приветливый хозяин) —
Он отдыхал в беседе непритворной,
Он находил свободу и простор,
И кров как будто свой, и быт семейный...
Ноябрь, 1841 года

Любовь, которую поэт встречал в тесном кругу избранных людей, к нему совсем не питали уже известные нам официальные сферы, и надежды его на получение отставки не осуществлялись. Бабушка наконец, кажется, согласилась на то, чтобы Мишель бросил службу, но Бенкендорф не желал выпускать молодого человека из службы. Он был опальный, он нес наказание, да к тому же с 1840 года граф ненавидел поэта, так что хлопоты о последнем отпуске в столицу на свидание с бабушкой (собственно хлопоты были о выходе в отставку) шли не через Бенкендорфа, прежнего ходатая за молодого человека, а через военного министра и дежурного генерала Клейнмихеля. Еще 28 июля 1840 года Лермонтов писал бабушке:

То, что вы мне пишите о словах графа К(Клейнмихеля), я полагаю, еще не значит, что мне откажут отставку, если и подам; он только просто не советует, а чего мне здесь еще ждать? Вы бы хорошенько спросили, — только выпустят ли, если я подам?

Теперь поэту быстро пришлось убедиться, что на выход в отставку надежды мало, что к нему в правящих сферах чрезвычайно не расположены. Из представления к награде за боевую службу во время экспедиции 1840 года ничего не вышло. «Из Валерикского представления меня здесь вычеркнули»! — пишет поэт в конце февраля. Напрасно генерал-адъютант Граббе (от 5 марта 1841 года) еще раз настойчиво ходатайствует о награждении Лермонтова, на этот раз, золотой саблей. К довершению всего, Михаил Юрьевич тотчас по приезде в Петербург имел несчастье раздражить против себя. На масляной, на другой же день после прибытия в столицу, поэт участвовал на балу, данном графине Воронцовой-Дашковой. Его армейский мундир с короткими фалдами сильно выделял его из толпы

гвардейских мундиров. Граф Соллогуб хорошо помнил недовольный взгляд великого князя Михаила Павловича, пристально устремленный на молодого поэта, который крутился в вихре бала с прекрасной хозяйкой вечера. «Великий князь, очевидно, несколько раз пытался подойти к Лермонтову, но тот несся с кем-либо из дам по зале, словно избегая грозного объяснения. Наконец графине указали на недовольный вид высокого гостя, и она увела Лермонтова во внутренние покои, а оттуда задним ходом его препроводила из дому. В этот вечер поэт не подвергся замечанию. Хозяйка энергично заступалась за него перед великим князем, принимала всю ответственность на себя, говорила, что она зазвала поэта, что тот не знал ничего о бале и, наконец, апеллировала к правам хозяйки, стоящей на страже неприкосновенности гостей своих». Нелегко было затем выпросить у великого князя забвение этому проступку Лермонтова.

Считалось в высшей степени дерзким и неприличным, что офицер опальный — отбывающий наказание — смел явиться на бал, на котором были члены императорской фамилии. К тому же, кажется, только накануне приехавший, поэт не успел явиться «по начальству» всем, кому следовало. На этот раз вознегодовал на Михаила Юрьевича и граф Клейнмихель, и все военное начальство, может быть, не без участия в деле и Бенкендорфа. Но так как великий князь, строгий во всех делах нарушения устава, молчал, то было неудобно привлечь Лермонтова к ответственности за посещение бала в частном доме. Тем не менее этот промах был ему поставлен на счет и повлек за собой распоряжение начальства о скорейшем возвращении Михаила Юрьевича на место службы. Надежда получить разрешение покинуть службу оборвалась. «Марта 9-го, — пишет Лермонтов Бибикову, — уезжаю отсюда заслуживать себе отставку на Кавказе».

Друзья да бабушка опять принялись хлопотать о поэте. Не без больших усилий уговорили великого князя положить гнев на милость и замолвить за провинившегося доброе слово. Лермонтов получил разрешение оставаться в Петербурге еще некоторое время. Затем отсрочка была возобновлена.

Поэт стал уже льстить себя надеждой, что продленный отпуск можно будет обратить и в совершенное увольнение от службы; как вдруг дело приняло совершенно неожиданный оборот.

«Как-то вечером, — рассказывал А.А. Краевский, — Лермонтов сидел у меня и, полный уверенности, что его наконец выпустят в отставку, делал планы своих будущих сочинений. Мы расстались в самом веселом и мирном настроении. На другое

утро часу в десятом вбегает ко мне Лермонтов и, напевая какую-то невозможную песню, бросается на диван. Он в буквальном смысле слова катался по нем в сильном возбуждении. Я сидел за письменным столом и работал. — Что с тобой? — спрашиваю Лермонтова. Он не отвечает и продолжает петь свою песню, потом вскочил и выбежал. Я только пожал плечами. У него-таки бывали странные выходки — любил школьничать! Раз он меня потащил в маскарад, в дворянское собрание; взял у княгини Одоевской ее маску и домино и накинул его сверх гусарского мундира; спустил капюшон, нахлобучил шляпу и помчался. На все мои представления Лермонтов отвечал хохотом. Приезжаем; он сбрасывает шинель, одевает маску и идет в залы. Шалость эта ему прошла безнаказанно. Зная за ним совершенно необъяснимые шалости, я и на этот раз принял его поведение за чудачество. Через полчаса Лермонтов снова вбегает. Он рвет и мечет, снует по комнате, разбрасывает бумаги и вновь убегает. По прошествии известного времени он опять тут. Опять та же песня и катание по широкому моему дивану. Я был занят; меня досада взяла: — Да скажи ты, ради Бога, что с тобой, отвяжись, дай поработать!.. Михаил Юрьевич вскочил, подбежал ко мне и, схватив за борты сюртука, потряс так, что чуть не свалил меня со стула. „Понимаешь ли ты! Мне велят выехать в 48 часов из Петербурга“. Оказалось, что его разбудили рано утром. Клейнмихель приказывал покинуть столицу в 48 часов и ехать в полк в Шуру. Дело это вышло по настоянию графа Бенкендорфа, которому не нравились хлопоты о прощении Лермонтова и выпуске его в отставку».

Надо полагать, что Бенкендорфу не нравились и литературные замыслы поэта, особенно желание основать журнал. Он вообще не желал иметь в столице «беспокойного» молодого человека, становившегося любимцем публики. Это неприязненное отношение к поэту еще более выясняется из предписания от 30 июня 1841 года, посланного вдогонку за Лермонтовым на Кавказ и подписанного дежурным генералом Клейнмихелем. В предписании говорилось, чтобы поручика Лермонтова ни под каким видом не удалять из фронта полка, то есть не прикомандировывать ни к каким отрядам, назначаемым в экспедицию против горцев. Таким образом, поэт и не подозревал, что ему отрезается всякий путь к выслуге, а он именно надеялся «выслужить себе на Кавказе отставку». О предписании этом Лермонтов, вероятно, так и не узнал, потому что покуда оно пошло по инстанциям и прибыло на место назначения, то есть к кавказскому начальству Михаила Юрьевича, его уже не было в живых.

Надо полагать, что Бенкендорф успел убедить военного министра издать указанное секретное предписание относительно поручика Лермонтова вследствие сообщений о том, что названный поручик не раз позволял себе самовольно оставлять место служения и появлялся то на водах, то в Ялте без надлежащего разрешения. У Бенкендорфа были свои соглядатаи, сообщавшие ему обо всем, что происходило даже и на отдаленном Кавказе. «Помните, господа, — говорил генерал Вельяминов высланным на Кавказ, — что здесь есть много людей в черных и красных воротниках, которые следят за вами и за нами».

Нечего было делать, надо было готовиться к отъезду. В квартире Карамзиных еще раз собрались друзья, как за год перед этим, проститься с Михаилом Юрьевичем. По свидетельству многих очевидцев, Лермонтов во время прощального ужина был чрезвычайно грустен и говорил о близкой, ожидавшей его смерти. За несколько дней перед этим Лермонтов с кем-то из товарищей посетил известную тогда в Петербурге ворожею, жившую у «пяти углов» и предсказавшую смерть Пушкина от «белого человека»; звали ее Александра Филипповна, почему она и носила прозвище «Александра Македонского» после чьей-то неудачной остроты, сопоставившей ее с Александром, сыном Филиппа Македонского. Лермонтов, выслушав, что гадальщица сказала его товарищу, со своей стороны спросил: будет ли он выпущен в отставку и останется ли в Петербурге? В ответ он услышал, что в Петербурге ему вообще больше не бывать, не бывать и отставки от службы, а что ожидает его другая отставка, «после коей уж ни о чем просить не станешь». Лермонтов очень этому смеялся, тем более, что вечером того же дня получил отсрочку отпуска и опять возмечтал о вероятии отставки. «Уж если дают отсрочку за отсрочкой, то и совсем выпустят», — говорил он. Но когда нежданно пришел приказ поэту ехать, он был сильно поражен. Припомнилось ему предсказание. Грустное настроение стало еще заметнее, когда после прощального ужина Лермонтов уронил кольцо, взятое у Софьи Николаевны Карамзиной, и, несмотря на поиски всего общества, из которого многие лица слышали, как оно покатилось по паркету, его найти не удалось.

В конце апреля или начале мая Лермонтов тронулся в путь. В почтампт, откуда отправлялся маль-пост в Москву, Лермонтов, не терпевший проводов, прибыл с Шан-Гиреем, который и принял от уезжающего поэта последнее прости бабушке и петербургским друзьям. Отъезжающий Михаил Юрьевич наружно был весел и шутил. Было ли весело у него на душе — другой вопрос. Своему неудовольствию на преследовавшего его Бенкендорфа поэт дал

волю, написав по его адресу восемь стихов, в которых выражает надежду, что «за хребтом Кавказа укроется от Российских пашей, от их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей».

За Лермонтовым водилась повадка переступать установления служебных правил. Его самостоятельная натура не терпела пут и определенных строгих рамок существования, налагаемых военной дисциплиной. Он часто позволял себе отступления, которые сходили ему с рук, благодаря вниманию к нему друзей и некоторых понимавших его положение начальников. Таковыми были Галафеев и в особенности Граббе. Не так ли Инзов относился к подчиненному ему Пушкину? Но, конечно, далеко не все глядели на Лермонтова снисходительно. Теперь опасность строгого наказания за отступления и своевольные поездки и отлучки росла. Решено было, что с поэтом на Кавказ поедет Монго Столыпин. Ему поручалось друзьями и родными оберегать поэта от опасных выходок.

ГЛАВА XIX

Последнее путешествие на Кавказ. — Встреча с Боденштедтом. — Из Ставрополя в Пятигорск. — Затруднения со стороны начальства относительно пребывания поэта в Пятигорске. — Дом, в котором жил Лермонтов. — Жизнь в Пятигорске. — Семья Верзилиных. — Антагонизм между приезжим и местным обществом. — Кружок молодежи. — Нелюбовь к Лермонтову представителей приезжего столичного общества. — Отношение к ним Лермонтова. — И.С. Мартынов. — Выходки Лермонтова: альбом карикатур, шалости.

Наш поэт держал путь свой на Москву. Круг друзей в любимом им городе принял его сердечно, и путник наш чувствовал себя хорошо. «Я от здешнего воздуха потолстел в два дня, — пишет он бабушке, — решительно Петербург мне вреден». Михаил Юрьевич проводил время у Розена, Анненковых, у Мамоновой, Лопухиных, виделся со Столыпиными. В кругу молодежи в ресторане встретил его тогда и немецкий поэт Боденштедт. Прислушаемся к его рассказу:

«Мы были уже за шампанским. Снежная пена лилась через край стаканов, и через край лились из уст моих собеседников то плохие, то меткие остроты.

— А! Михаил Юрьевич! — вскричали двое-трое из моих собеседников при виде только что вошедшего молодого офицера.

Он приветствовал их коротким „здравствуйте“, слегка потрепал Олсуфьева по плечу и обратился к князю со словами:

— Ну, как поживаешь, умник?

У вошедшего была гордая, непринужденная осанка, средний рост и замечательная гибкость движений. Вынимая при входе носовой платок, чтобы обтереть мокрые усы, он выронил на пол бумажник или сигарочницу и при этом нагнулся с такой ловкостью, как будто был вовсе без костей, хотя плечи и грудь были у него довольно широки.

Гладкие, белокурые, слегка вьющиеся по обеим сторонам волосы оставляли совершенно открытым необыкновенно высокий лоб. Большие, полные мысли глаза, вовсе не участвовали в насмешливой улыбке, игравшей на красиво очерченных губах молодого человека.

Одет он был не в парадную форму: на шее небрежно повязан черный платок; военный сюртук не нов и не доверху застегнут, и

из под него виднелось ослепительный свежести белье. Эполет на нем не было.

Мы говорили до тех пор по-французски, и Олсуфьев представил меня на том же диалекте вошедшему. Обменявшись со мной несколькими беглыми фразами, офицер сел с нами обедать. При выборе кушаньев и в обращении к прислуге он употреблял выражения, которые в большом ходу у многих — чтоб не сказать у всех — русских, но которые в устах нового гостя неприятно поражали меня. Поражали потому, что гость этот был — Михаил Лермонтов.

Во время обеда я заметил, что Лермонтов не прятал под стол своих нежных, выхоленных рук. Отведав нескольких кушаньев и осушив два стакана вина, он сделался очень разговорчив и, надо полагать, много острил, так как слова его были несколько раз прерываемы громким хохотом. К сожалению, для меня его остроты оставались непонятными, так как он нарочно говорил по-русски и к тому же чрезвычайно скоро, а я в то время недостаточно хорошо понимал русский язык, чтобы следить за разговором. Я заметил только, что остроты его часто переходили на личности; но, получив раза два меткий отпор от Олсуфьева, он счел за лучшее упражняться только над молодым князем.

Некоторое время тот добродушно переносил шпильки Лермонтова; но наконец и ему уже стало невмочь, и он с достоинством умерил его пыл, показав, что при всей ограниченности ума, сердце у него там же, где и у других людей.

Казалось, Лермонтова искренно огорчило, что он обидел князя, своего товарища, и он всеми силами старался помириться с ним, в чем скоро и преуспел.

Я уже знал и любил тогда Лермонтова по собранию его стихотворений, вышедшему в 1840 году, но в этот вечер он произвел на меня столь невыгодное впечатление, что у меня пропала всякая охота поближе сойтись с ним. Весь разговор с самого его прихода звенел у меня в ушах, как будто кто-нибудь скреб по стеклу.

Я никогда не мог, может быть, к вреду моему, сделать первый шаг к сближению с задорным человеком, какое бы он ни занимал место в обществе; никогда не мог извинить шалостей знаменитых и гениальных людей, только во имя их знаменитости и гениальности. Я часто убеждался, что можно быть основательным ученым, поэтом или писателем и, в то же время, невыносимым человеком в обществе. У меня правило основывать свое мнение о людях на первом впечатлении; но в отношении Лермонтова мое первое неприятное впечатление вскоре совершенно изгладилось приятным.

Не далее, как на следующий же вечер, встретив снова Лермонтова в салоне г-жи М., я увидел его в самом привлекательном свете. Лермонтов вполне умел быть милым.

Отдаваясь кому-нибудь, он отдавался от всего сердца; только едва ли с ним это часто случалось. В самых близких и прочных дружественных отношениях находился он с умной графиней Ростопчиной, которой было бы поэтому легче, нежели кому-либо дать верное понятие об его характере.

Людей же, недостаточно знавших его, чтобы извинять его недостатки за его высокие, обаятельные качества, он скорее отталкивал, нежели привлекал к себе, давая слишком много воли своему несколько колкому отсроумию. Впрочем, он мог быть, в то же время, кроток и нежен, как ребенок, и вообще в характере его преобладало задумчивое, часто грустное настроение.

Серьезная мысль была главной чертой его благородного лица, как и всех значительнейших его творений, к которым его легкие, шутливые произведения относятся, как его насмешливый, тонко очерченный рот к его большим, полным думы глазам.

Многие из соотечественников Лермонтова разделили с ним его прометеевскую участь, но ни у одного из них страдания не вызвали таких драгоценных слез, которые служили ему облегчением при жизни и дали ему неувядаемый венок по смерти».

Выехал Лермонтов из Москвы вместе с Алексеем Аркадьевичем Столыпиным. Ехали они до Ставрополя очень долго, дорога была прескверная. В Ставрополе видел их ремонтер Борисоглебского уланского полка Магденно:

«Покуда человек мой хлопотал о лошадях, я пошел наверх и, в ожидании обеда, стал бродить по комнатам гостиницы. Помещение ее было довольно комфортабельно: комнаты высокие, мебель прекрасная. Большие, растворенные окна дышали свежим, живительным воздухом. Было обеденное время, и я с любопытством озирался на совершенно новую для меня картину. Всюду военные лица, костюмы — ни одного штатского, и все почти раненые: кто без руки, кто без ноги, на костылях, на лицах рубцы и шрамы, немало с черными широкими перевязками на голове и руках. Эта картина сбора раненых героев глубоко запала мне в душу. Незадолго перед тем было взято Дарго. Многие из присутствующих участвовали в славных штурмах этого укрепленного аула.

Зашел я и в бильярдную. По стенам ее тянулись кожаные диваны, на которых восседали штаб и обер-офицеры, тоже большей частью раненые. Два офицера в сюртуках без эполет одного и того же полка играли на бильярде. Один из них, по ту

сторону бильярда, с левой моей руки, первый обратил на себя мое внимание».

Это был Лермонтов. Известность его тогда уже распространилась, и партнер по бильярду с гордостью объяснил Магденке, с кем он играл. Лермонтов в Ставрополе представлялся командующему войсками генералу Граббе, который, выехав в отряд, по просьбе поэта дозволил ему оставаться несколько дней в Ставрополе, а затем догонять отряд за Лабой.

«Отобедав, — рассказывает далее Магденко, — я продолжал путь свой в Пятигорск и Тифлис. Чудное время года, молодость и дивные, никогда и не снившиеся картины величественного Кавказа, который смутно чудился мне из описаний, наполняли душу волшебным упоением. Во всю прыть неслися кони, погоняемые молодым осетином. Он вгонял их на кручу и, когда кони, обессилев, останавливались, быстро соскакивал, подкладывал под задние колеса экипажа камни, давал им передохнуть и опять гнал и гнал во всю прыть. И вот, с горы, на которую мы взобрались, увидал я знаменитую гряду Кавказских гор, а над ними двух великанов: вершины Эльбруса и Казбека, в неподвижном величии, казалось, внимали одному Аллаху. Стали мы спускаться с крутизны — что-то на дороге в долине чернеется. Приблизились мы, и вижу я сломавшуюся телегу, тройку лошадей, ямщика и двух пассажиров, одетых по-кавказски, с шашками и кинжалами. Придержали мы лошадей, спрашиваем: чьи люди? Люди в папахах и черкесках верблюжьего сукна отвечали просьбой сказать на станции господам их, что с ними случилось несчастье — ось сломалась. Кто господа ваши? „Лермонтов и Столыпин“, — отвечали они разом.

Приехав на станцию, я вошел в комнату для проезжающих и увидал уже знакомую мне личность Лермонтова в офицерской шинели с отогнутым воротником — после я заметил, что он и на сюртуке своем имел обыкновение отгинать воротник — и другого офицера чрезвычайно представительной наружности, высокого роста, хорошо сложенного, с низкоостриженной прекрасной головой и выразительным лицом. Это был капитан Нижегородского драгунского полка Столыпин. Я передал им о положении слуг их. Через несколько минут вошел только что прискакавший фельдъегерь с кожаной сумой на груди. Едва переступил он за порог двери, как Лермонтов с криком: „А, фельдъегерь, фельдъегерь!“ подскочил к нему и стал снимать с него суму. Фельдъегерь сначала было заупрямился. Столыпин стал говорить, что они едут в действующий отряд, и что, может быть, к ним есть письма из Петербурга. Фельдъегерь утверждал, что он послан „в армию к начальникам“; но Лермонтов сунул ему

что-то в руку, выхватил суму и выложил хранившееся в ней на стол. Она, впрочем, не была ни запечатана, ни заперта. Оказались только запечатанные казенные пакеты; писем не было.

Солнце уже закатилось, когда я приехал в город или, вернее, только крепость Георгиевскую. Смотритель сказал мне, что ночью ехать дальше не совсем безопасно. Я только что принялся пить чай, как в комнату вошли Лермонтов и Столыпин. Они поздоровались со мной, как со старым знакомым, и приняли приглашение выпить чаю. Вошедший смотритель на приказание Лермонтова запрягать лошадей отвечал предостережением в опасности ночного пути. Лермонтов ответил, что он старый кавказец, бывал в экспедициях, и его не запугаешь. Решение продолжать путь не изменилось и от смотрительского рассказа, что позавчера в семи верстах от крепости зарезан был черкесами проезжий унтер-офицер. Я, со своей стороны, тоже стал уговаривать лучше подождать завтрашнего дня, утверждая что-то вроде того, что лучше же приберечь храбрость на время какой-либо экспедиции, чем рисковать жизнью в борьбе с ночными разбойниками. К тому же разразился страшный дождь, и он-то, кажется, сильнее доводов наших подействовал на Лермонтова, который решился-таки заночевать. Принесли, что у кого было съестного, явилось на стол кахетинское вино, и мы разговорились. Они расспрашивали меня о цели моей поездки, объяснили, что сами едут в отряд за Лабу, чтобы участвовать в „экспедициях против горцев“. Я утверждал, что не понимаю их влечения к трудностям боевой жизни, и противопоставлял ей удовольствия, которые ожидаю от кратковременного пребывания в Пятигорске, в хорошей квартире, с удобствами жизни и разными затеями, которые им в отряде, конечно, доступны не будут...

На другое утро Лермонтов, входя в комнату, в которой я со Столыпиным сидели уже за самоваром, обратясь к последнему, сказал: „Послушай, Столыпин, а ведь теперь в Пятигорске хорошо (он назвал несколько имен), поедем в Пятигорск“. Столыпин отвечал, что это невозможно. „Почему? — быстро спросил Лермонтов, — там комендант старый Ильяшенко, и являться к нему нечего, ничто нам не мешает. Решайся, Столыпин, едем в Пятигорск!“ С этими словами Лермонтов вышел из комнаты. На дворе лил проливной дождь. Надо заметить, что Пятигорск стоит от Георгиесюго на расстоянии 40 верст, по тогдашнему — один перегон.

Столыпин сидел задумавшись. „Ну что, — спросил я его, — решаетесь, капитан?“ „Помилуйте, как нам ехать в Пятигорск, ведь мне поручено везти его в отряд. Вон, — говорил он, указывая

на стол, — наша подорожная, а там инструкция — посмотрите“. Я поглядел на подорожную, которая лежала раскрытой, а развернуть сложенную инструкцию посовестился и, признаться, очень о том сожалею.

Дверь отворилась, быстро вошел Лермонтов, сел к столу и, обратясь к Столыпину, произнес повелительным тоном:

— Столыпин, едем в Пятигорск! С этими словами вынул он из кармана кошелек с деньгами, взял из него монету и сказал: „Вот, послушай, бросаю полтинник, если упадет кверху орлом — едем в отряд; если решеткой — едем в Пятигорск. Согласен?“

Столыпин молча кивнул головой. Полтинник был брошен, и к нашим ногам упал решеткой вверх. Лермонтов вскочил и радостно закричал: „В Пятигорск, в Пятигорск! Позвать людей, нам уже запрягли!“ Люди, два дюжих татарина (грузина?), узнав в чем дело, упали перед господами и благодарили их, выражая непритворную радость. Верно, — думал я, — нелегка пришлась бы им жизнь в отряде.

Лошади были поданы. Я пригласил спутников в свою коляску. Лермонтов и я сидели на задней скамье. Столыпин на передней. Нас обдавало целым потоком дождя. Лермонтову хотелось закурить трубку, — оно оказалось немыслимым. Дорогой и Столыпин, и я молчали, Лермонтов говорил почти без умолку и все время был в каком-то возбужденном состоянии. Между прочим он указывал нам на озеро, кругом которого он джигитовал, а трое черкесов гонялись за ним, но он ускользнул от них на лихом своем карабахском коне.

Говорил Лермонтов и о вопросах, касавшихся общего положения дел в России. Об одном высокопоставленном лице я услыхал от него тогда в первый раз в жизни моей такое жестокое мнение, что оно и теперь еще кажется мне преувеличенным.

Промокшие до костей, приехали мы в Пятигорск и вместе остановились на бульваре в гостинице, которую содержал армянин Найтаки. Минут через 20 в мой номер явились Столыпин и Лермонтов, уже переодетыми, в белом, как снег, белье и халатах. Лермонтов был в шелковом темно-зеленом с узорами халате, опоясанный толстым поясом с золотыми желудями на концах. Потирая руки от удовольствия, Лермонтов сказал Столыпину:

— Ведь и Мартышка, Мартышка здесь! Я сказал Найтаки, чтобы послали за ним.

Именем этим Лермонтов приятельски называл старинного своего хорошего знакомого Николая Соломоновича Мартынова».

Тотчас по приезде Лермонтов стал изыскивать средства получить разрешение остаться в Пятигорске. Он обратился к

услужливому и «на все руки ловкому» Найтаки, и тот привел к нему писаря из Пятигорского комендантского управления Карпова, который заведывал полицейской частью (в управлении тогда сосредоточивались полицейские дела) и списками вновь прибывающих в Пятигорск путешественников и больных. Офицеры охотно пользовались каждым удобным случаем, чтобы оставаться подольше в веселом Пятигорске. Когда комендант, добродушный Ильяшенко, высылал на место служения, обращались к доктору Реброву, который не отказывался давать свидетельства о болезни. Положат такого пациента дня на два в госпиталь, а потом под предлогом недостатка места, отпустят долечиваться на квартиру. Даже начальство, приметив слишком большое скопление «нездоровых» офицеров в Пятигорске, распорядилось, чтобы тех, кому не надо было пользоваться минеральными водами, отправлять в Георгиевский военный госпиталь. Лермонтов не раз обращался к доктору Реброву, когда желал оставаться в Пятигорске, но на этот раз он к нему обратиться не решился, вследствие какой-то размолвки (не из-за истории ли с его дочерью, о которой говорено выше?). Вот ему и пришлось обратиться за помощью Карпова. Он составил рапорт на имя Пятигорского коменданта, в котором Лермонтов сказывался больным. Комендант Ильяшенко распорядился об освидетельствовании Михаила Юрьевича комиссией врачей при Пятигорском госпитале. «Я уже раньше, — рассказывает Карпов, — обделал дельце с главным нашим лекарем, титулярным советником Барклай-де-Толли». Лермонтов и Столыпин был признаны больными и подлежащими лечению минеральными ваннами, о чем 24 мая за N N 805 и 806 комендант Ильяшенко донес в штаб войск Кавказской линии и Черномории в Ставрополь. К рапорту было приложено и медицинское свидетельство о болезни обоих офицеров.

Чтобы покончить с этой формальной частью вопроса о том, своевольно ли или с разрешения начальства Лермонтов оставался в Пятигорске, скажем, что в ответ на рапорт коменданта Ильяшенко флигель-адъютант полювник Траскин от 8 июня писал ему, что не видя из приложенных к рапорту свидетельств о болезни, чтобы капитану Столыпину и поручику Лермонтову было необходимо пользоваться минеральным водами, а усматривая, напротив, что болезнь их может быть излечена и другими средствами, просит их немедленно выслать в Георгиевский военный госпиталь. «Всем же прибывшим из отряда офицерам, кроме раненых, объявить, что командующий войсками к 15 числу (июня) прибудет в Червленую, и соблюсти, чтобы они к тому времени выехали из Пятигорска, кроме майора Пушкина, о

котором последует особое распоряжение».

Комендант предписал Лермонтову и Столыпину отправиться или в отряд, или в Георгиевский госпиталь и препроводил им подорожную. Лермонтов отвечал на это рапортом от 18 июня (за N 132): «Ваше высокоблагородие предписать мне за N 1000 изволили отправиться к месту моего назначения или, если болезнь моя того не позволит, в Георгиевск, чтобы быть зачисленному в тамошний госпиталь. На это честь имею почтительнейше донести, что, получив от вашего высокоблагородия позволение остаться здесь до излечения и также получив от начальника штаба полковника Траскина предписание, в котором он также дозволил мне остаться здесь, предписав о том донести полковому командиру полковнику Хлюпину и отрядному дежурству, и так как я уже начал пользование минеральными водами и принял 23 серных ванн, то, прервав курс, подвергаюсь совершенному расстройству здоровья и не только не излечусь от своей болезни, но могу получить новые, для удостоверения в чем имею честь приложить свидетельство меня пользующего медика. Осмеливаюсь при том покорнейше просить походатайствовать мне у г. начальника штаба позволение остаться здесь до совершенного излечения и окончания курса вод». (Такого же содержания рапорт подал и Столыпин.)

Ильяшенко от 23 июня (за N 1118) сообщал об этом полковнику Траскину, но ответа от него не последовало. Кроме этого, есть сведения о том, что Лермонтов писал тоже письмо к генералу Граббе и, быть может, последний, благоволя к поэту, посмотрел сквозь пальцы на все дело, или же распоряжение его не успело дойти до поэта еще при жизни. Надо полагать, что было решено вообще принять меры более действенные для удаления из Пятигорска укрывавшихся там офицеров; это видно из того, что на другой день после смерти Лермонтова в Пятигорск приезжает Траскин, и им принимаются меры, чтобы офицеры тотчас разъехались по своим частям. Приехать в Пятигорск из Ставрополя по случаю смерти Михаила Юрьевича Траскин, конечно, не мог, потому что в то время события сообщались не по телеграфу. Во всяком случае, Лермонтов, высказал малую ретивость ехать в действующий отряд. Боевая жизнь была ему достаточно известна и уже не тянула к себе.

Написав первый свой рапорт Ильяшенко, друзья пошли осматривать рекомендованную им квартиру в доме Василия Ивановича Чиляева, лежавшем на краю города, на верхней площадке, недалеко от подошвы Машука. Обойдя комнаты, поэт остановился на балкончике, выходившем в садик на

противоположной стороне дома. Деревья, тогда еще молодые, целы до сей поры и теперь оттеняют весь домик, но крытый балкончик, давно обветшалый, был сломан еще в 50-х годах. Пока Столыпин делал разные замечания и осведомлялся о цене квартиры, Михаил Юрьевич стоял задумавшись. Сговорившись с хозяином, Алексей Аркадьевич спросил своего друга: «Ну что, Лермонтов, хорошо ли?» Поэт словно очнулся и небрежно ответил: «Ничего... здесь будет удобно... дай задаток». Столыпин вынул бумажник и заплатил все деньги за квартиру.

Наружность домика, или, вернее, хаты, была самая незатейливая и совершенно походила на казацкие домики в слободках Пятигорска, Кисловодска и других городках и станицах. Он, очевидно, воздвигался помаленьку. К нему пристраивали то новый вход и сени, то заменяли дверь окном и обратно. Окна все были разных величин. Стены дома снаружи были вымазаны глиной и выбелены. Крыша тростниковая с одной трубой.

Домик внутри разделен был накрест стенами, которые образовывали четыре комнаты. Из пристроенных, очевидно, позднее сеней вели две двери: налево — в перегороженную прихожую; отсюда одна в две комнаты, выходившие окнами на двор — их занял Столыпин, другая — в две комнаты с окнами в сад — их занял Лермонтов. Впрочем, квартира у них была общая и соединялась дверью между двумя крайними комнатами.

Вид квартира имела более чем скромный. Низкие приземистые комнаты, с выбелишыми дощатыми потолками и крашенными разноцветной краской стенами, были обставлены сборной мебелью разной обивки и дерева, по большей части окрашенного темной масляной краской. Все условия жизни в Пятигорске были тогда весьма просты. Сам город имел характер, который теперь сохранили слободки его. Каменных домов почти не было. Лестницы, ведущей с бульвара к Елисаветинскому источнику, тоже. К нему поднимались горными тропинками, обсаженными виноградниками, которых теперь и след простыл. За Елисаветинской галереей, там, где ныне находятся Калмыцкие ванны, был один общий бассейн, в котором купались прежде без разбора лет и пола, а затем соблюдая очередь мужских и дамских часов. Бульвар, не доходя до Елисаветинского источника, оканчивался полукругом, и только по обеим сторонам его стояли более «элегантные» дома. Посетители были большей частью помещики наших степных губерний, немного из обеих столиц, а всего более было офицеров Кавказского корпуса. Самая пестрая, разноязычная толпа в военных, гражданских и народных азиатских костюмах расхаживала по бульвару, особенно во время

вечерней музыки около Николаевских ванн.

Жизнь в Пятигорске была веселая, полная провинциальной простоты, и только приезжие из столиц вносили «чопорность», по выражению местных жителей. Последние коротали время без затей. Захочется потанцевать — сложатся, пригласят музыку с бульвара в гостиницу Найтаки — и приглашает каждый своих знакомых на танцы, прямо с прогулки, в простых туалетах. Танцевали знакомые с незнакомыми, как члены одной семьи. Однако уже в то время этот обычай стал выводиться, уступая новым порядкам, вводимым столичными гостями. На вечерах «официальных», когда гостиница Найтаки обращалась в благородное собрание, дамы появлялись в бальных туалетах, а военные — в мундирах. Местное общество, особенно дамы, не сходилось со «столичными гостями». Выезды и пикники тех и других носили различный характер. Кавалькады местного или «смешанного общества», как называли его противники, отличались пестротой и шумливостью. Ездили или в колонию Кар-рас, верстах в семи от Пятигорска, или на Перкальскую скалу — место на склоне лесистого Машука, где стояла сторожка и жил сторож Перкальский, бесстрашный и умный старик, умевший жить в мире с чеченцами, а для приезжего водяного общества предлагавший некоторые примитивные удобства при прогулках и пикниках. Ездили и к «провалу», воронкообразной пропасти на скате Машука, глубиной сажен в 15, на дне которой находится глубокий бассейн серной воды, до дна которого, рассказывают, «никто доискаться не мог». Теперь к нему прорыт туннель, и доступ удобен; в 1840-х годах только смельчаки спускались туда сверху на веревках. Случалось, что затейники покрывали «провал» досками, и на них давались импровизированные балы. Это называлось танцевать над «пропастью» или над «адской бездной». Молодые люди чувствовали себя свободнее среди местного общества, но многим было лестно попасть в «аристократический круг» приезжих и хоть на водах сблизиться с лицами, которые в Петербурге были им мало доступны. Местное общество, впрочем, тоже имело свое подразделение на более и менее аристократическое. Более аристократическое было в антагонизме с приезжей аристократией, оберегало права свои и ревниво не уступало своих кавалеров. Между местными жителями пользовался особенным уважением дом бывшего наказного атамана всех кавказских казаков (собственно кавказской казачьей бригады) генерал-лейтенанта Петра Семеновича Верзилина, сослуживца Ермолова. Имея дочь от первого брака Аграфену Петровну, Верзилин женился на вдове полковника Марии Ивановне Клингенберг, имевшей дочь Эмилию Александровну. От

этого брака родилась еще дочь, Надежда Петровна. Кроме этих барышень наезжала еще и приемная дочь — Карякина, бывшая замужем за купцом. Хлебосольный хозяин, радушная хозяйка и три красивые, веселые дочери привлекали в дом молодых людей. Веселье, смех, музыка и танцы часто слышались сквозь окна гостеприимного дома. Сад его соприкасался с домом Чиляева, а рядом с этим домом по другую сторону находился опять другой еще дом Верзилиных, в котором жили: корнет Михаил Глебов и Николай Соломонович Мартынов. Передний дом Чиляева занимал состоявший при ревизирующем сенаторе Гане титулярный советник князь Александр Илларионович Васильчиков. Таким образом, наняв квартиру в дворовом домике Чиляева, Столыпин и Лермонтов находились в ближайшем соседстве с хорошими знакомыми и товарищами по школе гвардейских юнкеров. Через Глебова и Мартынова познакомились они и с семьей Верзилиных. Менее часто бывал там князь Васильчиков, еще реже Столыпин. Из прочих постоянных посетителей назовем Льва Сергеевича Пушкина, брата поэта; весьма юного, еще недавно произведенного в офицеры Лисаневича, сына храброго генерала Лисаневича, изменнически убитого кумыками в Герзель-Ауле, полковника Зельмица (жившего с дочерьми своими тоже в доме Верзилиных), поручика Н.П. Раевского (впрочем, редко бывавшего у Верзилиных), юнкера Бенкендорфа, князя Сергея Трубецкого и других.

Понятно, что молодежь ухаживала за барышнями в доме Верзилиных, в особенности за Эмилией Александровной, носившей название «Розы Кавказа», и младшей из сестер Надеждой Петровной, главными поклонниками которой были Мартынов и Лисаневич. Старшая Аграфена Петровна была «просватана за приставом трухменских народов Диковым» — ее и называли трухменской царицей — Лермонтов написал шуточное шестистишие, в котором изображает трех девушек и ухаживавшую за ними молодежь:

Пред девицей Emilie
Молодежь лежит в пыли,
У девицы же Nadine
Был поклонник не один;
А у Груши целый век
Был лишь дикий человек.

Предводителем всей этой молодежи был Михаил Юрьевич. Иногда его веселость и болтливость доходили до шалости. Времяпрепровождение бывало полно детской незатейливости. «Бегали в горелки, играли в кошку-мышку, в серсо, — рассказывает Эмилия Александровна, — потом все это

изображалось в карикатурах, что нас смешило. Однажды сестра (Надя) просила написать что-нибудь ей в альбом. Как ни отговаривался Лермонтов, его не слушали, окружили толпой, положили перед ним альбом, дали перо в руки и говорят: пишите. Лермонтов посмотрел на Надежду Петровну... В этот день она была причесана небрежно, а на поясе у нее был небольшой кинжальчик. На это-то и намекал поэт, когда набросал ей экспромптом:

Надежда Петровна,
Зачем так неровно
Разобран ваш ряд,
И локон небрежный
Над шейкою нежной,
На поясе нож —
C' est un vers qui cloche...»
(А этот стих «хромает» (фр.))

Эта веселая жизнь «лермонтовской банды», как называли молодежь, которой он руководил, возбуждала зависть в одних, неприязнь в других. Вновь приезжие, мало знакомые с Кавказом, особенно петербуржцы, поражались отсутствию сдержанности в местном обществе. Они были вежливы, но держались вдалеке от кавказцев; удивлялись тем из своих товарищей, которые могли вести с ними постоянное общение, и в интимном кругу называли это «sencanailler» (якшаться со всяким сбродом (фр.)). Они находили, что в экспедициях, на службе можно и должно поддерживать товарищеские отношения, но в обществе следует строго держаться тех границ, которые налагаются положением. Конечно, «на водах» можно себе дозволить некоторые вольности, но надо уметь полагать им предел. Действительно, на Кавказе были весьма неприглядные личности, подобные драгунскому капитану, выведенному Лермонтовым в «Герое нашего времени», но были и «Максимы Максимовичи». Для вновь прибывавших гвардейцев и вообще членов петербургского общества эта разница ускользала. Люди, как конногвардеец Глебов, ее вполне осознавали, но новички в кавказской жизни в ней разбираться не могли и приносили с собой, особенно на первых порах, привычки, интересы и предрассудки столичных гостиных и категорий. Этим людям Лермонтов был неприятен, даже ненавистен, уже и в Петербурге. Он, как пишет Соллогуб, «по рождению не принадлежал к высшему кругу».

Поэт завоевал себе там положение, держался с некоторыми из ряду выходившими людьми, как семьи князя Одоевского и Карамзиных, да прекрасными женщинами, «царицами салонов», но про него, как про Пушкина, говорили, что сел он не в свои

сани, и видели в нем дерзкого выскочку, который, несмотря на небольшой чин и опальное свое положение, тщится играть роль, которую играть ему не подобает. Его ненавидели там за резкость и остроту языка, за его антимолчалинские свойства, за самобытность и самостоятельность суждении, за возрастающую славу и репутацию таланта, выходившего из пределов обыденности. И вот этот-то человек, опальный и в последнее время выброшенный из Петербурга за «неумение вести себя», и тут опять играет роль, первенствует, острит, глумится, бьет в лицо петербургским традициям. «Тут выказались, — говорили они, — вся его армейская натура, показалось ослиное ушко из-за накинутой львиной шкуры».

Лермонтов, со своей стороны, платил им презрением, сердил, острил над ними, выставлял их в смешном виде. Он с особенным наслаждением, доходя до молодечества, задевал их своими выходками, являясь, то бесшабашно заносчивым, то отменно вежливым, но всегда с оттенком презрения. Лермонтов сильно ненавидел людей, занятых собой, самолюбие которых значительно превышало умственные их способности, и которые принимали за оригинальность и превосходство ума своего обыденность общественной морали и общепринятые суждения, которыми прониклись. К людям недалеким, но простым и искренним, поэт относится дружественно и тепло. «Ты просто глуп и слава Богу!» — говорил он о них. Особенно не терпел Михаил Юрьевич тех из посетителей Кавказских вод, которые напускали на себя аристократический вид, и, подделываясь под тон присутствующих членов «высшего общества» и всячески угождая им, полагали, что хоть временно могут заставить верить простаков в принадлежность их к «высшему кругу». Про этих-то людей Лермонтов в повести своей выразился: «Они исповедуют глубокое презрение к провинциальному обществу и вздыхают о столичных аристократических гостиных, куда их не пускают».

Многие очень молодые или несамостоятельные люди не знали, куда примкнуть. У Верзилиных было весело, да и семья была с положением, но там бывают и «армейские кавказцы». Не хотелось им принадлежать к лермонтовской банде, хотелось им считаться в обществе серьезном, аристократическом. В одном кругу — веселье и непринужденность, в другом для них скука, но зато возможность бросить пыль в глаза: «Глядите-де, с кем я знаком!» К тому же, члены петербургского общества, косясь на круг Лермонтова, охотно отрывали оттуда членов и привлекали к себе особенно тех, кто по рождению и положению считался принадлежащим к аристократическому слою. Князь Васильчиков, тогда еще 22-летний юноша, испытал на себе затруднительность

положения. Он редко бывал у Верзилиных, более примыкая к противоположному лагерю, но, как хороший и чистый человек, не чуждался личных отношений с Лермонтовым и приятелями его, тем более, что безукоризненный «лев» столичных гостиных, Столыпин, был ближайшим другом Михаила Юрьевича. Не знал, как собственно держать себя и Николай Соломонович Мартынов; по товарищеским традициям примыкал он к кружку Лермонтова, он и жил с Глебовым и до известной степени подчинялся ему. В сущности добродушный человек, он при огромном самолюбии особенно, когда оно было уязвлено, мог доходить до величайшего озлобления. Уязвить же самолюбие его было очень нетрудно. Он приехал на Кавказ, будучи офицером кавалергардского полка, и был уверен, что всех удивит своей храбростью, что сделает блестящую карьеру. Он только и думал о блестящих наградах. На пути к Кавказу, в Ставрополе, у генерал-адъютанта Граббе за обеденным столом много и долго с уверенностью говорил Мартынов о блестящей будущности, которая его ожидает, так что Павел Христофорович должен был охладить пылкого офицера и пояснить ему, что на Кавказе храбростью не удивишь, а потому и награды не так-то легко и даются. Да и говорить с пренебрежением о кавказских воинах не годится. «К нам (в 1839 году) на квартиру, — рассказывает Костенецкий, состоявший в то время при штабе в Ставрополе, — почти каждый день приходил Н.С. Мартынов. Это был очень красивый молодой гвардейский офицер, блондин, со вздернутым немного носом и высокого роста. Он был всегда очень любезен, весел, порядочно пел под фортепьяно романсы и полон надежд на свою будущность: он все мечтал о чинах и орденах и думал не иначе, как дослужиться на Кавказе до генеральского чина. После он уехал в Гребенский казачий полк, куда он был прикомандирован, ив 1841 году я увидел его в Пятигорске. Но в каком положении! Вместо генеральского чина он был уже в отставке всего майором, не имел никакого ордена и из веселого и светского молодого человека сделался каким-то дикарем: отрастил огромные бакенбарды, в простом черкесском костюме, с огромным кинжалом, в нахлобученной белой папахе, мрачный и молчаливый». Мартынов в общем носил форму Гребенского казачьего полка, но, как находившийся в отставке, делал разные вольные к ней добавления, меняя цвета и прилаживая их согласно погоде, случаю или вкусу своему. По большей части он носил белую черкеску и черный бархатный или шелковый бешмет. В последнем случае — это бывало в дождливую погоду — он надевал черную папаху вместо белой, в которой являлся на гулянье, Рукава черкески он обыкновенно засучивал, что

придавало всей его фигуре смелый и вызывающий вид. Он был фатоват и, сознавая свою красоту, высокий рост и прекрасное сложение, любил щеголять перед нежным полом и производить эффект своим появлением. Охотно напускал он также на себя мрачный вид, щеголяя «модным байронизмом». Неудивительно, что Лермонтов, не выносивший фальши и заносчивости, при всем дружественном расположении к Мартынову нещадно преследовал его своими насмешками.

Так как Лермонтов с легкостью рисовал, то он часто и много делал вкладов в альбом, который составлялся молодежью. В него вписывали или рисовали разные события и случайности из жизни водяного общества, во время прогулок, пикников, танцев; хранился же он у Глебова. В лермонтовских карикатурных набросках Мартынов играл главную роль. Князь Васильчиков помнил, например, сцену, где Мартынов верхом въезжает в Пятигорск. Кругом восхищенные и пораженные его красотой дамы. И въезжающий герой, и многие дамы были замечательно похожи. Под рисунком была подпись: «Monsieur le poignard faisant son entree a Piatigorsk (Господин кинжал, въезжающий в Пятигорск (фр.))». В альбоме же можно было видеть Мартынова, огромного роста с громадным кинжалом от пояса до земли — объясняющегося с миниатюрной Надеждой Петровной Верзилиной, на поясе которой рисовался маленький кинжальчик. Комическую подпись князь Васильчиков не помнил. Изображался Мартынов часто на коне. Он ездил плохо, но с претензией, неестественно изгибаясь. Был рисунок, на котором Мартынов, в стычке с горцами что-то кричит, махая кинжалом, сидя в полуоборот на лошади, поворачивающей вспять.

Михаил Юрьевич говорил: «Мартынов положительно храбрец, но только плохой ездок, и лошадь его боится выстрелов. Он в этом не виноват, что она их не выносит и скачет от них». «Помню, — рассказывает Васильчиков, — и себя, изображенного Лермонтовым, длинным и худым посреди бравых кавказцев. Поэт изобразил тоже самого себя маленьким, сутуловатым, как кошка вцепившимся в огромного коня, длинноногого Монго Столыпина, серьезно сидевшего на лошади, а впереди всех красовавшегося Мартынова, в черкеске, с длинным кинжалом. Все это гарцевало перед открытым окном, вероятно, дома Верзилиных. В окне были видны три женские головки. Лермонтов, дававший весьма меткие прозвища, называл Мартынова: „le sauvage au grand poignard (дикарь с большим кинжалом (фр.))“, или „Montagnard au grand poignard (горец с большим кинжалом(фр.))“, или просто „Monsieur le poignard (Господин кинжал(фр.))“. Он довел этот тип до такой простоты, что просто рисовал характерную кривую

линию, да длинный кинжал, и каждый тотчас узнавал, кого он изображает».

Обыкновенно наброски рассматривались в интимном кружке, и так как тут не щадили сами составители ни себя, ни друзей, то было неудобно сердиться, и Мартынов затаивал свое недовольство. Однако бывали и такие карикатуры, которые не показывались. Это более всего бесило Мартынова. Однажды он вошел к себе, когда Лермонтов с Глебовым с хохотом что-то рассматривали или чертили в альбоме. На требование вошедшего показать, в чем дело, Лермонтов захлопнул альбом, а когда Мартынов, настаивая, хотел его выхватить, то Глебов здоровой рукой отстранил его, а Михаил Юрьевич, вырвав листок и спрятав его в карман, выбежал. Мартынов чуть не поссорился с Глебовым, который тщетно уверял его, что карикатура совсем к нему не относилась.

В душе Лермонтов не был зол, он просто шалил и ради острого слова не щадил ни себя ни других; но если замечал, что заходит слишком далеко, и предмет его нападок оскорблялся, он первый спешил его успокоить и всеми средствами старался изгладить произведенное им дурное впечатление, нарушавшее общее мирное настроение.

Однажды он неосторожным прозвищем обидел жену одного из местных служащих. Дама не на шутку огорчилась. Лермонтову стало жаль ее, и он употребил все усилия получить прощение ее. Бегал к ней, извинялся перед мужем, так что обиженная чета не только его простила, но почувствовала к Михаилу Юрьевичу самую сильную любовь и приязнь.

Лермонтов был шалун в полном ребяческом смысле слова, и день его разделялся на две половины, между серьезными занятиями и чтением и такими шалостями, какие могут прийти в голову разве только 15-летнему мальчику, например, когда к обеду подавали блюдо, то он с громким смехом бросался на него, вонзал свою вилку в лучшие куски, опустошал все кушанье и часто оставлял всех нас без обеда. В Пятигорск являлся помещик с тетрадкой стихов. Он всем надоедал ими и добивался, чтобы его выслушал и Лермонтов; тот под разными предлогами увиливал, но, узнав, что помещик привез с собой небольшой боченочек свежепросоленных огурцов, редкость на Кавказе и до которых Михаил Юрьевич был большой охотник, последний вызвался прийти на квартиру к стихотворцу с условием, чтобы он угостил его огурцами. Помещик пришел в восторг, приготовил тетрадь стихов и угощение, среди которого на первом месте стоял боченочек с огурчиками. Началось чтение. Пока автор все более увлекался декламацией своих виршей, Лермонтов принялся за

огурцы и, в ответ на вопросительные междометия и восклицания чтеца, только выражал свое одобрение. Чтение подходило к концу; Лермонтов, успев съесть часть огурчиков, другой набил себе карманы и стал прощаться. Тут только объяснилось, что похвалы Михаила Юрьевича относились к огурцам, а не к стихам. Помещик пришел в негодование и всюду рассказывал о бесстыдстве Лермонтова, съевшего все огурцы, припасенные для подарка кому-то. «И как только он успел съесть их все?!» — говорил недоумевавший пиит.

Друзья обыкновенно обедали в Пятигорской гостинице, и однажды Лермонтов, потехи ради, повторил то, что делалось шалунами в школе гвардейских юнкеров. Заметив на столе целую башню наставленных друг на друга тарелок, он стуком по своей голове слегка надломил одну и на нее, еще державшуюся, поставил прочие. Когда лакей схватил всю массу тарелок, то, не успев донести по назначению, к полному своему недоумению и ужасу почувствовал, как нижняя тарелка разъехалась, и вся их масса разлетелась по полу вдребезги. Присутствующие частью испугались от неожиданного шума, частью хохотали над глупым выражением растерявшегося служителя. Хозяин осерчал, и только щедрое вознаграждение со стороны Лермонтова успокоило его и изумленного слугу.

Михаил Юрьевич работал большей частью утром в своей комнате, при открытом окне, или же в большей комнате, для чего он и переставил обеденный стол с противоположного конца к дверям, выходившим на балкон. Он любил свежий воздух и в закупоренных помещениях задыхался. В окно его спальни глядели из садика ветки вишневого дерева, и, работая, поэт протягивал руку к спелым вишням и лакомился ими... Чем больше и серьезнее он работал, тем, казалось, чувствовал большую необходимость дурачиться и выкидывать разные чудачества. Об этих шалостях много говорилось, обыкновенно с негодованием, как о черте, недостойной серьезного человека, их охотно именовали «гусарскими выходками», и мы только что, да и в прежних главах приводили некоторые из этих выходок. Но нам и в голову не приходит строго судить за них поэта. Льюис в известной биографии Гете рассказывает, как великий поэт, уже известный Германии, написавший Вертера и частью Фауста, в избытке жизненных сил, выделывал разные шалости: после усиленных занятий валялся по полу или вместе с Веймарским герцогом выходили вооруженные бичами на городскую площадь и щелкали ими в продолжение целых часов наперегонки. Гете было в то время лет 26. Для обыденных натур, судивших его только с точки зрения этих выходок, он тоже в то время никак не мог быть

признан необыкновенным человеком.

Так как уж мы заговорили о шалостях и выходках поэта, то нельзя не вспомнить о случае, бывшем с Михаилом Юрьевичем в имении товарища его А.Л. Потапова. Потапов пригласил к себе в имение в Воронежской губернии двух товарищей лейб-гвардии гусарского полка Реми и Лермонтова. Дорогой товарищи узнали, что у Потапова гостит дядя его, свирепый по службе генерал. Слава его была такая, что Лермонтов ни за что не хотел ехать к Потапову, утверждая, что все удовольствие деревенского пребывания будет нарушено. Реми с трудом уговорил Лермонтова продолжать путь. За обедом генерал любезно обошелся с молодыми офицерами, так что Лермонтов развернулся и сыпал остротами. Отношения Лермонтова и генерала приняли складку товарищескую. Оба после обеда отправились в сад, а когда Потапов и Реми через полчаса прибыли туда, то увидали, к крайнему своему изумлению, что Лермонтов сидит на шее у генерала. Оказалось, что новые знакомые играли в чехарду. Когда затем объяснили генералу, как Лермонтов его боялся и не хотел продолжать пути, генерал сказал назидательно: «Из этого случая вы можете видеть, какая разница между службою и частной жизнью... На службе никого не щажу, всех поём, а в частной жизни я такой же человек, как и все».

ГЛАВА XX Дуэль

Настроение против Лермонтова. — Интрига. — Бал, данный молодежью пятигорским дамам 8 июля. — Недовольство балом представителей столичного общества. — Празднество, задуманное князем Голицыным. — Вечер 13 июля у Верзилиных и столкновение на нем между Лермонтовым и Мартыновым. — Вызов. — Меры, принятые для предупреждения дуэли, и легкомысленное отношение к ней друзей поэта. — Последнее творчество Лермонтова. — Настоящая причина дуэли кроется в тогдашних условиях общественной и официальной жизни. — Последнее пребывание поэта в колонии близ Пятигорска. — Место дуэли. — Свидетели ее. — Поединок и смерть.

Некоторые из влиятельных личностей из приезжающего в Пятигорск общества, желая наказать несносного выскочку и задиру, ожидали случая, когда кто-нибудь проучит ядовитую гадину.

Как в подобных случаях это бывало не раз, искали какое-либо

подставное лицо, которое, само того не подозревая, явилось бы исполнителем задуманной интриги: Так, узнав о выходках и полных юмора проделках Лермонтова над молодым Лисаневичем, одним из поклонников Надежды Петровны Верзилиной, ему через некоторых услужливых лиц было сказано, что терпеть насмешки Михаила Юрьевича не согласуется с честью офицера. Лисаневич указывал на то, что Лермонтов расположен к нему дружественно и, в случаях, когда увлекался и заходил в шутках слишком далеко, сам первый извинялся перед ним и старался исправить свою неловкость. К Лисаневичу приставали, уговаривали вызвать Лермонтова на дуэль — проучить. «Что вы, — возражал Лисаневич, — чтобы у меня поднялась рука на такого человека!»

Есть полная возможность полагать, что те же лица, которым не удалось подстрекнуть на недоброе дело Лисаневича, обратились к другому поклоннику Надежды Петровны Н. С. Мартынову. Здесь они, конечно, должны были встретить почву более удобную для брошенного ими семени. Мартынов, мелко самолюбивый и тщеславный человек, умственное и нравственное понимание которого не выходило за пределы общепринятых понятий, давно уже раздражался против Лермонтова, которого он в душе считал и по «карьере», и по талантам «салонным». О его поэтическом гении Мартынов, как и многие современники, судил свысока, а, может быть, в критической оценке своей не заходил далее того полкового командира Михаила Юрьевича, который после невзгоды последнего, постигшей его за стихи на смерть Пушкина, выговаривал ему: «Ну ваше ли дело писать стихи?! Предоставьте это поэтам и займитесь хорошенько командованием своего взвода». Где было Мартынову задумываться над Лермонтовым, как великим поэтом, когда люди, как товарищ поэта Арнольди, еще в 1884 году говорили, что все они в то время писали стихи не хуже Лермонтова.

Мартынов, находясь в Пятигорске в общем товарищеском кругу с Лермонтовым, да живя с Глебовым, стеснялся, конечно, резко высказывать внутреннее негодование на Михаила Юрьевича, но он не раз просил поэта оставить его в покое своими издевательствами «особенно в присутствии дам».

Между тем антагонизм «смешанного общества» с представителями «столичного» шел своим чередом. 8 июля молодежь задумала дать бал в честь знакомых пятигорских дам. Деньги собрали по подписке. Лермонтов был главным инициатором, ему дружно помогали другие. Местом торжества избрали грот Дианы возле Николаевских ванн. Площадку для танцев устроили так, что она далеко выходила за пределы грота. Свод грота убрали разноцветными шалями, соединив их в центре

в красивый узел и прикрыв круглым зеркалом; стены обтянули персидскими тканями; повесили искусно импровизированные люстры, красиво обвитые живыми цветами и зеленью; на деревьях аллей, прилегающих к площадке, горело более 2000 разноцветных фонарей. Музыка, помещенная и скрытая над гротом, производила необыкновенное впечатление, особенно в антрактах между танцами, когда играли избранные музыканты или солисты. Во время одного антракта кто-то играл тихую мелодию на струнном инструменте, и Лермонтов уверял, что он приказал перенести нарочно для этого вечера Эолову арфу с «бельведера» выше Елисаветинского источника. От грота лентой извивалось красное сукно до изящно убранной палатки — дамской уборной. По другую сторону вел устланный коврами путь к буфету. Небо было бирюзовое с легкими небольшими янтарными облачками, между которыми мерцали звезды. Была полная тишина — ни один листок не шевелился. Густая пестрая толпа зрителей обступала импровизированный танцевальный зал. Свет фантастически ударял по костюмам и лицам, озаряя листву дерев изумрудным светом. Общество было весело настроено, и Лермонтов танцевал необыкновенно много.

«После одного бешеного тура вальса, — рассказывает Лорер, — Лермонтов, весь запыхавшийся от усталости, подошел ко мне и тихо спросил: „Видите ли вы даму Дмитриевского? Это его карие глаза! Не правда ли, как она хороша?!“ Дмитриевский был поэт и в то время был влюблен и пел прекрасными стихами о каких-то карих глазах. Лермонтов восхищался этими стихами и говаривал: „После твоих стихов разлюбишь поневоле черные и голубые глаза и полюбишь карие очи...“ В самом деле она была красавицей. Густые каштановые волосы ее были гладко причесаны и только из-под ушей спускались на плечи красивыми локонами... Большие карие глаза, осененные длинными ресницами и темными, хорошо очерченными бровями, поразили бы всякого... Бал продолжался до поздней ночи или, вернее, до утра. Семейство Арнольди удалилось раньше, а скоро и все стали расходиться; говорю расходиться потому, что экипажей в Пятигорске не было. С вершины грота я видел, как усталые группы спускались на бульвар. Разошлась и молодежь... А я все еще сидел погруженный в мечты!..»

Бал этот, в высшей степени оживленный, не понравился лицам, нерасположенным к Лермонтову и его «банде». Они не принимали участие в подписке, а потому и не пошли на него. Еще до бала они всячески старались убедить многих из бывших согласными участвовать в нем, отстать от предприятия и создать свой «вполне приличный, а не такой, где убранство домашнее,

дурного вкуса» и дам заставляют «танцевать по песку». Под влиянием этих толков и князь Владимир Сергеевич Голицын, знакомый со многими из «смешанного общества», стал говорить о том, что неприлично угощать женщин хорошего общества танцами с кем попало на открытом воздухе. Говорят, что с этими представлениями князь Голицын обратился к Лермонтову или высказывал их в присутствии последнего и что Лермонтов возразил ему, что здесь не Петербург, что то, что неприлично в столице, совершенно прилично на водах с разношерстным обществом. Тогда князь поднял опять старый вопрос о приличном и неприличном обществе и сообщил о желании устроить бал, как следует, в казенном саду, воздвигнув там павильон с дощатой настилкой — с приличным для танцев полом; допускать же участников лишь по билетам.

Лермонтов заметил, что не всем это удобно, что казенный сад далек от центра города и что затруднительно будет препроводить усталых после танцев дам по квартирам, наемных же экипажей в городе всего 3 или 4. Князь стоял на своем, утверждал, что местных дикарей надо учить, надо показывать им пример, как устраивать празднества.

Мы видели, что молодежь с князем Голицыным не согласилась и устроила свой праздник. Тогда князь со своей стороны решился устроить бал в названном казенном саду на 15 июля, в день своих именин, и строптивую молодежь не приглашать.

У Верзилиных, кроме случайных сборов, молодежь и знакомые сходились по воскресным дням, и тогда бывали в их салоне танцы. 13 июля, в воскресенье, стали собираться обыкновенные посетители, потолковали идти ли в казенную гостиницу на танцевальный вечер и решили провести вечер в своем кругу. Народу было немного: полковник Зельмиц с дочерьми, Лермонтов, Мартынов, Трубецкой, Глебов, Васильчиков, Лев Пушкин и еще некоторые. В этот вечер Мартынов был мрачен. Действительно ли был он в дурном расположении духа или драпировался в мантию байронизма? Может быть, его сердило, что на аристократический вечер, приготовлявшийся князем Голицыным с большими затеями, он приглашен не был. Танцевал Мартынов в этот вечер мало. Лермонтов, на которого сердилась Эмилия Львовна за постоянное поддразнивание, приставал к ней, прося «сделать с ним хоть один тур». Только под конец вечера, когда он усилил свои настойчивые требования и, изменив тон насмешки, сказал: «M-elle Emilie, je vous prie, un tour de valse seulement, pour la derniere fois de ma vie (я прошу вас, только один тур вальса, в последний раз в жизни

(фр.))», она с ним провальсировала. Затем Михаил Юрьевич усадил Эмилию Львовну около ломберного стола и сам поместился возле. С другой стороны занял место Лев Пушкин. «Оба они, — рассказывала Эмилия Александровна, — отличались злоязычием и принялись a qui mieux mieux (в запуски) острить. Собственно обидно злого в том, что они говорили, ничего не было, но я очень смеялась неожиданным оборотам и анекдотическим рассказам, в которые вмешали и знакомых нам людей. Конечно, доставалось больше всего водяному обществу, к нам мало расположенному, затронуты были и некоторые приятели наши. При этом Лермонтов, приподнимая одной рукой крышку ломберного стола, другою чертил мелом иллюстрации к своим рассказам». В это время танцы прекратились, и общество разбрелось группами по комнатам и углам залы. Князь Трубецкой сидел за роялем и играл что-то очень шумное. По другую сторону Надежда Петровна разговаривала с Мартыновым, который стоял в обыкновенном своем костюме — он и во время танцев не снял длинного своего кинжала — и часто переменял позы, из которых одна была изысканнее другой. Лермонтов это заметил и, обратив наше внимание, стал что-то говорить по адресу Мартынова, а затем мелом, двумя-тремя штрихами, иллюстрировал позу Мартынова с большим его кинжалом на поясе. Но и Мартынов, поймав два-три обращенные на него взгляда, подозрительно и сердито посмотрел на сидевших с Лермонтовым. «Перестаньте, Михаил Юрьевич! Вы видите — Мартынов сердится», — сказала Эмилия Александровна. Под шумные звуки фортепьяно говорили не совсем тихо, а скорее сдержанным только голосом. На замечание Эмилии Александровны Лермонтов что-то отвечал улыбаясь, но в это время, как нарочно, Трубецкой, взяв сильный аккорд, оборвал свою игру. Слово poignard отчетливо раздалось в устах Лермонтова. Мартынов побледнел, глаза сверкнули, губы задрожали, и, выпрямившись, он быстрыми шагами подошел к Михаилу Юрьевичу и, гневно сказав: «сколько раз я просил вас оставить свои шутки, особенно в присутствии дам!» — отошел на прежнее место. «Это свершилось так быстро, — заметила Эмилия Александровна, — что Лермонтов мог только опустить крышку ломберного стола, но ответить не успел. Меня поразил тон Мартынова и то, что он, бывший на ты с Лермонтовым, произнес слово вы с особенным ударением. „Язык мой, враг мой!“ — сказала я Михаилу Юрьевичу. „Ce nest rien: demain nous serons bons amis (это ничего; завтра уже мы вновь будем хорошими друзьями (фр.))!“ — отвечал он спокойно».

Танцы продолжались — никто из присутствующих не заметил ничего из краткого объяснения. Даже Лев Пушкин не придал ему

значения. Скоро стали расходиться, и никого не поразило, когда, выходя из ворот дома Верзилиных, Мартынов остановил за рукав Лермонтова и, оставшись позади товарищей, сказал сдержанным голосом по-французски то же, что было им сказано в зале: «Вы знаете, Лермонтов, что я очень долго выносил ваши шутки, продолжающиеся, несмотря на неоднократное мое требование, чтобы вы их прекратили».

— Что же, ты обиделся? — спросил Лермонтов, продолжая идти во след за опередившими товарищами.

— Да, конечно, обиделся.

— Не хочешь ли требовать удовлетворения?

— Почему ж нет?!

Тут Лермонтов перебил его словами. «Меня изумляют и твоя выходка, и твой тон... Впрочем, ты знаешь, вызовом меня испугать нельзя... хочешь драться — будем драться».

— Конечно, хочу, — отвечал Мартынов, — и потому разговор этот может считаться вызовом.

Подойдя к домам своим, они молча раскланялись и вошли в свои квартиры. Как Лермонтов передал Столыпину о происшедшем, мы не знаем. Вообще нельзя не пожалеть, что до нас не дошло ничего письменного о поэте со стороны Глебова и особенно Столыпина, который в те дни был ближе всех к Михаилу Юрьевичу.

Мартынов, вернувшись, рассказал дело своему сожителю Глебову и просил его быть секундантом. Глебов тщетно старался успокоить Мартынова и склонить его на примирение. Особенное участие в деле принимали, конечно, ближайшие к сторонам молодые люди: Столыпин, князь Васильчиков и уже поименованный Глебов. Так как Мартынов никаких представлений не принимал, то решили просить Лермонтова, не придававшего никакого серьезного значения делу, временно удалиться и дать Мартынову успокоиться. Лермонтов согласился уехать на двое суток в Железноводск, в котором он вообще проводил добрую часть своего времени. В отсутствие его друзья думали дело уладить.

Как прожил поэт в одиночестве своем в Железноводске последние сутки — кто это знает! В обществе он бывал, как мы видели, всегда почти весел и шаловлив, на одиноких прогулках и при работе — погруженным в себя и до меланхолии грустен. Комментариями и лучшими истолкователями тогдашнего душевного состояния поэта, конечно, могут служить двенадцать его последних стихотворений. Предчувствием томимый, видит он себя в долине Дагестана с свинцом в груди недвижным, одиноким:

Глубокая в груди чернела рана,
И кровь лилась хладеющей струей.

Один из тогдашних посетителей минеральных вод, товарищ поэта по школе Гвоздев поздно вечером встретил Михаила Юрьевича на одинокой прогулке. Он был мрачен и говорил о близкой смерти...

Одиноким вышел поэт на дорогу жизни и нигде не мог найти настоящего приюта. То сравнивает он себя с дубовым листом, который еще свежим и зеленым оторвался от ветки родимой:

И в степь укатился, жестокою бурей гонимый,
Засох и увял он от холода, зноя и горя,
И вот, наконец, докатился до Черного моря.
У Черного моря чинара стоит молодая...

Но и она не принимает его: не пара он ее свежим листам! То чувствует себя поэт сильным и твердым, как утес, но сиротой в «пространстве мира»:

Одиноко
Он стоит; задумался глубоко,
И тихонько плачет он в пустыне...

Наконец, обдумывая вопросы жизни и бытия, один со своими мыслями, он чувствует, что и должен быть одиноким, если хочет «провозглашать любви и правды чистые ученья». Занималась заря юного дня. Зреющий поэт и человек вступал в новый фазис жизни. Он сознал себя и жаждал нераздельной всецелой отдачи себя творчеству и идеалу. Что в него ближайшие еще бешенее будут бросать каменья — это он понимал. Но уж это его не смущало.

Расчеты друзей, уговоривших Михаила Юрьевича удалиться в Железноводск, оказались неверными. Мартынов ко всяким представлениям оставался глух и больше хранил мрачное молчание. Между тем, все дело держалось не в особенном секрете. О нем узнали многие, знали и власти, если не все, то добрая часть их, и, конечно, меры могли бы быть приняты энергические. Можно было арестовать молодых людей, выслать их из города к месту службы, но всего этого сделано не было. Напротив, в дело вмешались и посторонние люди, как например Дорохов, участвовавший в 14 поединках. Для людей, подобных ему, а тогда в кавказском офицерстве их было много, дуэль представляла приятное препровождение времени, щекотавшее нервы и нарушавшее единообразие жизни и пополнявшее отсутствие интересов. Нет никакого сомнения, что Мартынова подстрекали со стороны лица, давно желавшие вызвать столкновение между поэтом и кем-либо из не в меру щекотливых или малоразвитых личностей. Полагали, что «обуздание» тем или

другим способом «неудобного» юноши-писателя будет принято не без тайного удовольствия некоторыми влиятельными сферами в Петербурге. Мы находим много общего между интригами, доведшими до гроба Пушкина и до кровавой кончины Лермонтова. Хотя обе интриги никогда разъяснены не будут, потому что велись потаенными средствами, но их главная пружина кроется в условиях жизни и деятелях характера графа Бенкендорфа, о чем говорено выше и что констатировано столькими описаниями того времени.

Итак, попытка, удалив Лермонтова, дать успокоиться Мартынову, не удалась. Подстрекаемый ли другими или упорствуя тем больше, чем настойчивее хотели отклонить его от дуэли, Мартынов не уступал. Его тешила роль непреклонного, которую он принял на себя. Он даже повеселел и не раз подсмеивался над «путешествующим противником» своим. Пришлось принять решение дать дуэли осуществиться. Но все же из друзей Лермонтова никто не верил в ее серьезность. Все были убеждены, что противники обменяются выстрелами, подадут друг другу руки, и все закончится веселой пирушкой. Даже все было подготовлено к тому, чтобы отпраздновать в веселой компании счастливый исход. Сам Лермонтов говорил, что у него рука не поднимется на Мартынова и что он выстрелит в воздух. Это было сообщено и самому Мартынову, и никто не верил в серьезность его напускной торжественности.

15 июля было назначено днем для поединка. Дали знать Лермонтову в Железноводск. Ему приходилось ехать через немецкую колонию Каррас. Там должны были встретить его товарищи. Местом же для дуэли было назначено подножие Машука на половине дороги между колонией и Пятигорском. Ближайшие к поэту люди так мало верили в возможность серьезной развязки, что решили пообедать в колонии Каррас и после обеда ехать на поединок. Думали даже попытаться примирить обоих противников в колонии у немки Рошке, содержавшей гостиницу. Почему-то в кругу молодежи господствовало убеждение, что все это шутка, — убеждение, поддерживавшееся шаловливым настроением Михаила Юрьевича. Ехали скорее, как на пикник, а не на смертельный бой. Даже есть полное вероятие, что кроме четырех секундантов: князя Васильчикова, Столыпина, Глебова и князя Трубецкого, на месте поединка было еще несколько лиц в качестве зрителей, спрятавшихся за кустами — между ними и Дорохов.

В колонии Каррас Лермонтов, приезжая из Железноводска, нашел M-lle Быховец, прозванную «la belle noire (прекрасная брюнетка (фр.))», с теткой ее Прянишниковой, ехавших в

Железноводск. Сюда приехали и товарищи поэта, кто именно — остается невыясненным, наверное, Столыпин. Есть сведение, что в числе еще других лиц прибыл и Мартынов. Продолжая верить в несерьезность поединка, молодые люди еще утром 15 июля заходили к Верзилиным, сговариваясь, так как никто из них не был приглашен на праздник князя Голицына, прийти инкогнито на горку в саду или близ сада, чтобы посмотреть на фейерверк. Туда к ним должны были явиться и Верзилины. Молодежь, как видели мы, думала по счастливом окончании дуэли поужинать вместе в товарищеском кругу. Некоторые надеялись, что, быть может, в Каррасе как-нибудь удастся примирить противников. Вот почему Лермонтов должен был там пообедать. Хотели привести и Мартынова. Говорят, Мартынов приехал туда на беговых дрожках с князем Васильчиковым. Лермонтов был налицо. Противники раскланялись, но вместо слов примирения Мартынов напомнил о том, что пора бы дать ему удовлетворение, на что Лермонтов выразил всегдашнюю свою готовность. Верно только то, что князь Васильчиков с Мартыновым на беговых дрожках, с ящиком принадлежавших Столыпину кухенрейторских пистолетов, выехали отыскать удобное место у подножия Машука, на дороге между колонией Кар-рас и Пятигорском. Обедая с M-lle Быховец и ее теткой, Михаил Юрьевич шутил и, наконец, взяв у первой из дам золотой ободок, который тогда носили на голове, стал оборачивать им красивые пальцы своих холеных рук. M-lle Быховец просила ей возвратить фиори-турку, но поэт отказался, сказав, что сам привезет, если будет жив, и с этими словами встал и, весело раскланявшись, вышел. На слова эти, как на шутку, дамы внимания не обратили.

Молодые люди сели на коней и помчались по дороге к Пятигорску. День был знойный, удушливый, в воздухе чувствовалась гроза. На горизонте белая тучка росла и темнела. Не доезжая 2,5 верст, приблизительно, до города, повернули налево в гору, по следам, оставленным дрожками князя Васильчикова и Мартынова. Подошва Машука, поросшая кустарником и травой, и ныне сохраняет тот же вид. Кудрявая вершина знаменитой горы высилась над всей местностью, как и теперь. Если встать к ней спиной, то перед глазами извивалась лентой железноводская дорога. Далее поднимается пятиглавый Бештау, а налево величаво и безмолвно глядит Шат-гора (Эльбрус), сияя белизной своей снеговой вершины. Около 6 часов прибыли на место. Оставив лошадей у проводника своего Евграфа Чалова, молодые люди пошли вверх к полянке между двумя кустами, где ожидали их Мартынов и Васильчиков или же Трубецкой, что тоже остается невыясненным. Докторов не было

не потому, чтобы, как это сообщается некоторыми, никто не хотел ехать, а потому опять, что как-то дуэли не придавали серьезного значения, и потому даже не было приготовлено экипажа на случай, что кто-нибудь будет ранен.

Мартынов стоял мрачный со злым выражением лица. Столыпин обратил на это внимание Лермонтова, который только пожал плечами. На губах его показалась презрительная усмешка. Кто-то из секундантов воткнул в землю шашку, сказав: «Вот барьер». Глебов бросил фуражку в десяти шагах от шашки, но длинноногий Столыпин, делая большие шаги, увеличил пространство. «Я помню, — говорил князь Васильчиков, — как он ногой отбросил шапку, и она откатилась еще на некоторое расстояние. От крайних пунктов барьера Столыпин отмерил еще по 10 шагов, и противников развели по краям. Заряженные в это время пистолеты были вручены им (Глебовым?). Они должны были сходиться по команде: „Сходись!“ Особенного права на первый выстрел по условию никому не было дано. Каждый мог стрелять, стоя на месте, или подойдя к барьеру, или на ходу, но непременно между командой: два и три. Противников поставили на скате, около двух кустов: Лермонтова лицом к Бештау, следовательно выше; Мартынова ниже, лицом к Машуку. Это опять была неправильность. Лермонтову приходилось целить вниз, Мартынову вверх, что давало последнему некоторое преимущество. Командовал Глебов.... „Сходись!“ — крикнул он. Мартынов пошел быстрыми шагами к барьеру, тщательно наводя пистолет. Лермонтов остался неподвижен. Взведя курок, он поднял пистолет дулом вверх и, помня наставления Столыпина, заслонился рукой и локтем, „по всем правилам опытного дуэлиста“. „В эту минуту, — пишет князь Васильчиков, — я взглянул на него и никогда не забуду того споюйного, почти веселого выражения, которое играло на лице поэта перед дулом уже направленного на него пистолета“. Вероятно, вид торопливо шедшего и целившего в него Мартынова вызвал в поэте новое ощущение. Лицо приняло презрительное выражение, и он, все не трогаясь с места, вытянул руку к верху, по-прежнему к верху же направляя дуло пистолета. „Раз... Два... Три!“ — командовал между тем Глебов. Мартынов уже стоял у барьера. „Я отлично помню, — рассказывает далее князь Васильчиков, — как Мартынов повернул пистолет, курком в сторону, что он называл стрелять по-французски! В это время Столыпин крикнул: „Стреляйте! Или я разведу вас!..“ Выстрел раздался, и Лермонтов упал, как подкошенный, не успев даже схватиться за больное место, как это обыкновенно делают ушибленные или раненые.

Мы подбежали... В правом боку дымилась рана, в левом

сочилась кровь... Неразряженный пистолет оставался в руке...

Черная туча, медленно поднимавшаяся на горизонте, разразилась страшной грозой, и перекаты грома пели вечную память новопреставленному рабу Михаилу...“».

Эпилог

Труп поэта на месте поединка. — Перевоз тела в Пятигорск. — Затруднения при похоронах. — Могила. — Следственное дело. — Степень виновности Мартынова и других. — Слухи о причинах, побудивших Мартынова драться с Лермонтовым. — Преследователи и защитники Михаила Юрьевича. — Высочайшее повеление относительно лиц, причастных к дуэли. — Перенесение тела Михаила Юрьевича в Тарханы.

Неожиданный строгий исход дуэли даже для Мартынова был потрясающим. В чаду борьбы чувств, уязвленного самолюбия, ложных понятий о чести, интриг и удалого молодечества, Мартынов, как и все товарищи, был далек от полного сознания того, что творится. Пораженный исходом, бросился он к упавшему. «Миша, прости мне!» — вырвался у него крик испуга и сожаления...

В смерть не верилось. Как растерянные стояли вокруг павшего, на устах которого продолжала играть улыбка презрения. Глебов сел на землю и положил голову поэта к себе на колени. Тело быстро холодело... Васильчиков поехал за доктором; Мартынов — доложить коменданту о случившемся и отдать себя в руки правосудия ... Мы ничего не знаем о других!.. Что делал многолетний верный друг поэта Монго-Столыпин? Он ли закрывал глаза любимого им и любившего его человека?.. Князь Васильчиков упорно молчал относительно других лиц, свидетелей дуэли. Он и о Дорохове говорить почему-то не хотел. Надо полагать, что они рассыпались по окрестностям или ускакали в Пятигорск. Наскоро решено было на неизбежном следствии показать, что секундантами и свидетелями всего случившегося были только Глебов и князь Васильчиков. Они менее всего рисковали. Глебов, плен которого у горцев наделал много шуму, был на счету офицера не только безукоризненного, но и много обещавшего — о нем знали в Петербурге. Отец Васильчикова был любим государем и имел значительный пост. Наконец, оба они проживали на водах с разрешения, не так, как князь Трубецкой, и не были, как Столыпин и Дорохов, замешаны в дуэлях и не навлекли еще на себя недовольство правительственных лиц. Между тем, в Пятигорске трудно было достать экипаж для перевозки Лермонтова. Васильчиков, покинувший Михаила Юрьевича еще до ясного определения его смерти, старался привезти доктора, но никого не мог уговорить

ехать к сраженному. Медики отвечали, что на место поединка при такой адской погоде они ехать не могут, а приедут на квартиру, когда привезут раненого. Действительно, дождь лил как из ведра, и совершенно померкнувшая окрестность освещалась только блистанием непрерывной молнии при страшных раскатах грома. Дороги размокли. С большим усилием и за большие деньги, кажется, не без участия полиции, удалось наконец выслать за телом дроги (вроде линейки). Было 10 часов вечера. Достал эти дроги уже Столыпин. Князь Васильчиков, ничего не добившись, приехал на место поединка без доктора и экипажа.

Тело Лермонтова все время лежало под проливным дождем, накрытое шинелью Глебова, покоясь головою на его коленях. Когда Глебов хотел осторожно спустить ее, чтобы поправиться — он промок до костей — из раскрытых уст Михаила Юрьевича вырвался не то вздох, не то стон; и Глебов остался недвижим, мучимый мыслью, что, быть может, в похолоделом теле еще кроется жизнь.

Так лежал, неперевязанный, медленно истекающий кровью, великий юноша-поэт... Гроза прошла. Стало совсем тихо. Полный месяц ярким сиянием осветил окрестность и вершины гор, спавших во тьме ночной.

Наконец появился долгожданный экипаж в сопровождении полковника Зельмица и слуг. Поэта подняли и положили на дроги. Поезд, сопровождаемый товарищами и людьми Столыпина, тронулся.

В Пятигорске между тем происходило следующее. В 7-м часу было назначено открытие празднества, которое готовил князь Голицын в «казенном саду» и которым собирался удивить «пятигорских дикарей». Ничего подобного еще не бывало... Обширный павильон, сооружавшийся в продолжение нескольких дней, весь состоял из зеркал, спрятанных в цветах и зелени. С утра толпились любопытные, которых к назначенному часу решено было выпроводить из сада. Но вот разразилась гроза. Даже старожилы не могли припомнить подобной. Улицы обратились в потоки; нечего было и думать добраться до сада. Сестры Верзилины, принарядившись, готовились отправиться на бал князя Голицына, но ливень не унимался. К ним пришел Дмитриевский и, видя барышень в бальных туалетах и опечаленными, вызвался привести обычных посетителей из молодежи и устроить свой танцевальный вечер. «Не успел он высказаться, — рассказывает Эмилия Александровна Шан-Гирей, — как вбегает полковник Антон Карлович Зельмиц с растрепанными длинными седыми волосами, с испуганным лицом, размахивает руками и кричит: (Один наповал, другой под

арестом!) Мы бросились к нему: — Что такое, кто наповал, где? — „Лермонтов убит!“ — раздались роковые слова... Внезапное известие до того поразило матушку, что с ней сделалась истерика... Уже потом, от Дмитриевского, узнали мы подробности о случившемся...»

«Мальчишки, мальчишки, что вы со мною сделали», — плакался, бегая по комнате и схватившись за голову, добряк Ильяшеню, когда ему сообщили о катастрофе. Мартынов тотчас был арестован. Сам комендант не на шутку испугался и растерялся. Он, еще не зная, убит или ранен Лермонтов, приказал, чтобы, как только привезут, его поместили на гауптвахту. Той порой тело прибыло в Пятигорск. Разумеется, на гауптвахту его сдать нельзя было и, постояв перед ней несколько минут, пока выяснилось, что поручик Тенгинского полка Лермонтов мертв, его повезли дальше. Кто-то именем коменданта опять-таки остановил поезд перед церковью, сообщив, что домой его везти нельзя. Опять замедление. Наконец, смоченный кровью и омытый дождем труп был привезен на квартиру и положен на диван в столовую, где еще недавно у открытого окна по утрам работал поэт, слагая или исправляя свои чудные песни. Глебов раньше, потом Васильчиков были арестованы и под конвоем проведены к месту заключения. Было за полночь, когда прибыла наконец давно ненужная медицинская помощь.

Бледный, истекший кровью, с улыбкой презрения на устах, в «исторической» канаусовой рубашке, смоченной кровью, лежал Михаил Юрьевич. Вокруг ходила молодежь, растерявшаяся и пораженная. Вместо веселого ужина, приготовленного для встречи счастливо возвратившегося и примиренного с товарищем поэта, приходилось хлопотать о приведении в порядок его смертных останков. Весть быстро разнеслась по городу, и еще вечером приходили приятели и знакомые под кров сраженного певца. Никто из друзей не спал... Спали ли те, что с такою настойчивостью и искусством вели интригу и добились желанного?!

На другое утро тело было обмыто. Окостенелым членам трудно было дать обычное для мертвеца положение; сведенных рук не удалось расправить, и они были накрыты простыней. Веки все открывались, и глаза, полные дум, смотрели чуждыми земного мира. В чистой белой рубашке лежал он на постели в своей небольшой комнате, куда перенесли его. Художник Шведе снимал с него портрет масляными красками. С утра дом и двор, где жил поэт, были переполнены народом. Многие плакали. Общественное мнение, конечно, разделилось. Говорили, что поэт был несносен: ни Мартынов — так другой непременно убил бы

его. Большинство видело во всем происшествии «ссору двух офицеров из-за барышни». Называли Эмилию Александровну Клингенберг, другие — сестру ее Надежду Петровну Верзилину. Толковали и о госпоже Быховец. Взятый у нее накануне золотой ободок нашли поврежденным и облитым кровью в боковом кармане его. Может быть, кто-нибудь вспоминал и предсказание цыганки, высказанное юному поэту или его бабушке: «Убьют его из-за спорной женки». Михаил Юрьевич рассказывал об этом, говоря, что быть убиту в сражении ему на роду не писано. Но чего не припоминают в подобных случаях!..

Столыпин и друзья, распорядившись относительно панихиды, стали хлопотать о погребении останков поэта. Ординарный врач Пятигорского военного госпиталя Барклай-де-Толли выдал свидетельство, в котором говорилось, что «Тенгинского военного полка поручик М.Ю. Лермонтов застрелен на поле, близ горы Машука, 15 числа сего месяца, и, по освидетельствовании им, тело может быть предано земле по христианскому обряду». Но протоиерей Павел Александровский не решался этого сделать. «Несколько влиятельных личностей, которые не любили Лермонтова за его не щадивший никого юмор, старались повлиять и на коменданта, и на отца протоиерея в смысле отказа, как в отдании последних почестей, так и в христианском погребении праха ядовитого покойника, как один из них выразился об умершем. Они говорили, что убитый на дуэли — тот же самоубийца, и что на похороны самоубийцы по обряду христианскому едва ли взглянет начальство снисходительно».

Против этих интриг стали действовать друзья поэта. Они уговаривали протоиерея, представляли ему значительность связей бабки покойного и друзей его, обещали богатое вознаграждение. Но он колебался. Напрасно говорили ему, что князь Васильчиков честью ручается, что отец Павел за исполнение обряда отвечать не будет. Тщетно обращались к содействию жены его, стараясь задобрить и ее Напуганная она говорила батюшке: «Не забывай, что у тебя семейство».

Ильяшенко, на которого напирали с двух противоположных сторон, сам не знал, как поступить и не решался категорически разрешить протоиерею предать земле убитого по образцу церковному. На формальный запрос протоиерея Александровского, он прямо не отвечал, а, желая от себя отстранить всякую ответственность, уведомил плац-майора подполковника Унтилова 16 же июля, чтобы тот сообщил духовенству, возможно ли приступить к погребению по христианскому обряду тела поручика Лермонтова. Что сделал Унтилов и что ему отвечал протоиерей Александровский,

неизвестно; но, надо полагать, что дело о погребении решено не было, потому что пришлось вмешаться в него начальнику штаба.

Старик, добрый и недалекий, Ильяшенко недаром перепугался. Очевидно, ему шепнули, что в Петербурге не очень долюбливали Лермонтова, может быть, до него дошла также и весть о секретной бумаге от 20 июня, подписанной дежурным генералом Клейнмихелем, о том, чтобы Лермонтова держать при полку и ни под каким видом не выпускать, ни в экспедиции, ни в отпуск. Вообще произошли усиленный надзор и деятельность со стороны начальства. «Прежде в Пятигорске не было ни одного жандармского офицера: теперь, Бог знает откуда, их появилось множество, и на каждой скамейке отдыхало, кажется, по одному голубому мундиру», — рассказывает очевидец. Было послано донесение Бенкендорфу. Труп был вскрыт, и оказалось, что поэт был убит на месте.

Тем временем в Пятигорск прибыл начальник штаба полковник флигель-адъютант Траскин. Ему сообщили о затруднениях относительно похорон поэта, и что духовенство упорствует, утверждая, что человек, убитый на поединке, — тот же самоубийца. Полковник Траскин авторитетом своим подействовал на протоиерея. Похороны поэта состоялись в тот же день — 17 июля около 6 часов вечера. Друзья, желая придать более торжественности похоронам, хлопотали о воинских почестях. Но это разрешено не было. На плечах товарищей гроб был донесен до Пятигорского кладбища и похоронен по всем правилам православной религии. Понятно, что почти весь Пятигорск участвовал на похоронах. Были и представители всех полков, в которых волей или неволей служил Лермонтов. Полковник Безобразов — представителем Нижегородского драгунского полка, А. И. Арнольди — Гродненского гусарского, Тиран — лейб-гусарского. Мартынов просил позволения проститься с покойным, но ему, вероятно, в виду раздражения против него, этого не позволили. Плац-майору Унтилову приходилось еще накануне несколько раз выходить из квартиры Лермонтова к собравшимся на дворе и на улице, успокаивать и говорить, что это не убийство, а честный поединок. Были горячие головы, которые выражали желание мстить за убийство и вызвать Мартынова. Возбуждение вызвало затем и усиленную высылку молодежи из Пятигорска по распоряжению начальника штаба Траскина.

Во время шествия и похорон погода стояла ясная, и все также спокойно и безучастно глядели вершины ближних и дальних гор, когда при молитве и торжественном пении опускали в землю прах великого русского поэта...

Место могилы, в которую был опущен прах, неизвестно. Продолговатый камень с именем усопшего исчез. Когда прах перевезли в Тарханы, он долго оставался возле раскопанной могилы на Пятигорском кладбище. Постоянные посещения ее приезжими на воды кого-то смутили. Могила была засыпана, и на нее сброшен камень. Часть его еще долго торчала из-под земли. Затем он исчез. Весьма возможно, что он был употреблен при кладке фундамента для кладбищенской церкви.

Начались следствие и суд. Признавшие себя официально единственными свидетелями дуэли князь Васильчиков и Глебов делали все, чтобы выгородить всех прочих участников. Не был упомянут даже служитель Чалов, державший лошадей, а заявлено, что лошади были привязаны к кустам. Выгородили и Верзилиных, хотя с последних было снято показание. Арестованные имели полную возможность сообщаться и заранее сговариваться или списываться относительно того, что показывать. Сохранилось знаменательное письмо, писанное рукой Глебова от лица своего и Васильчикова к Мартынову, во время следствия.

Посылаем тебе брульок (от фр. «brouillon» — черновик) 8-й статьи. Ты к нему можешь прибавить по своему уразумению; но это сущность нашего ответа. Прочие ответы твои совершенно согласуются с нашими, исключая того, что Васильчиков поехал верхом на своей лошади, а не на дрожках беговых со мной. Ты так и скажи. Лермонтов же поехал на моей лошади: так и пишем. Сегодня Траскин еще раз говорил, чтобы мы писали, что до нас относится четверых, двух секундантов и двух дуэлистов. Признаться тебе, твое письмо несколько было нам неприятно. Я и Васильчиков не только по обязанности защищаем тебя везде и всем, но потому, что не видим ничего дурного с твоей стороны в деле Лермонтова, и приписываем этот случай несчастному случаю (все это знают): судьба так хотела, тем более, что ты в третий раз в жизни своей стрелял из пистолета (два раза, когда у тебя пистолеты рвало в руке и этот третий), а совсем не потому, чтобы ты хотел пролить кровь, в доказательство чего приводим то, что ты сам не походил на себя, бросился к Лермонтову в ту секунду, как он упал, и простился с ним. Что же касается до правды, то мы отклоняемся только в отношении к Т(рубецкому) и С(толыпину), которых имена не должны быть упомянуты ни в коей случае. Надеемся, что ты будешь говорить и писать, что мы тебя всеми средствами уговаривали. Придя на барьер, напиши, что ждал выстрела Лермонтова.

Письмо это доказывает, как мало можно полагаться на официальное следствие по делу о смерти Лермонтова. Мартынов

сам себя, да и другие его выгораживали. Так, утверждали, что Мартынов не умел стрелять из пистолета: нам известен случай еще одной дуэли Мартынова в Вильне, где он тоже стрелял, как на дуэли с Лермонтовым. Быстро подойдя к барьеру, он, прицелясь, повернул пистолет и выстрелил, что называл «стрелять по-французски», и тоже попал в своего противника.

Военный суд приговорил всех трех подсудимых лишить чинов и прав состояния. Командир отдельного кавказского корпуса, признавая подсудимых виновными, майора Мартынова — в произведении с поручиком Лермонтовым поединка, на котором убил его, а корнета Глебова и титулярного советника князя Васильчикова — в принятии на себя посредничества в этой дуэли, полагал: майора Мартынова в уважение прежней его беспорочной службы, начатой в гвардии, отличия, оказанного в экспедиции против горцев в 1837 году, за что он удостоен ордена св. Анны 3 степени с бантом, и того, что Мартынов вынужден был к произведению дуэли с Лермонтовым беспрестанными его обидами, на которые долгое время ответствовал увещанием и терпением, — лишив чинов и ордена, выписать в солдаты до выслуги, а корнета Глебова и князя Васильчикова, хотя и следовало бы подвергнуть одинаковому наказанию с майором Мартыновым, но, принимая во внимание молодость их, хорошую службу, бытность первого из нихв экспедиции против горцев в 1840 году и полученную им тогда тяжелую рану, — вменив в наказание содержание под арестом до предания суду, выдержать еще в крепости на гауптвахте один месяц и Глебова перевести из гвардии в армию тем же чином. Все дело и приговор были внесены на рассмотрение Государя Императора.

Тем временем Васильчикову и Глебову заменили содержание на гауптвахте домашним арестом. Мартынову разрешили выходить вечером, в сопровождении караульного солдата, подышать чистым воздухом. Однажды его встретили Верзилины. «Его белая черкеска, черный бархатный бешмет с малиновой подкладкой, произвели на нас неприятное впечатление, — пишет Эмилия Александровна Шан-Гирей, — я не скоро могла заговорить с ним, а сестра Надя (которой было 16 лет) не могла преодолеть своего страха».

Но напрасно Эмилия Александровна теперь как бы возмущается равнодушием Мартынова. Глядя ретроспективно, люди иначе относятся к прошлому, и самой Эмилии Александровне не избежать укора в равнодушии к судьбе поэта, так как она, по собственному признанию, 18 июля, на другой день после похорон Михаила Юрьевича, участвовала на балу, данном князем Голицыным в казенном саду. Эти факты только

подтвержают, что уже сказано нами, то есть что большинство видело в Лермонтове не великого поэта, а молодого офицера, о котором судили и рядили так же, как о любом из товарищей, с которыми его встречали. Поэтому винить Мартынова больше других непосредственных участников в деле несчастной дуэли — несправедливо. Он виноват не более как Дантес в смерти Пушкина. Оба были орудиями если не злой, то мелкой интриги дрянных людей. Сами они мало понимали, что творили. И в характере их есть некоторое сходство. Оба нравились женщинам и кичились своими победами, даже и служили они в одном и том же кавалергардском полку. Оба не знали, «на кого поднимали руку». Разница только в том, что Дантес был иностранец,

На ловлю счастья и чинов
Заброшенный к нам по воле рока,

а Мартынов был русский, тоже занимавшийся ловлей счастья и чинов, но только не заброшенный к нам, а выросший на нашей почве. Право, не решаемся обвинить его и невольно удивляемся попыткам уличить Мартынова в убийстве Лермонтова, как и попыткам защитить его и всю ответственность взвалить на славного нашего поэта. Стараясь разъяснить причину дуэли, писатели постоянно кружили около второстепенных фактов, смешивая, как это часто бывает, причину с поводом. Поэтому мы встречаемся с рассказами и догадками разного, чисто личного свойства, тогда как причина здесь, как и в пушкинской дуэли, лежала в условиях тогдашней социальной жизни нашей, неизбежно долженствовавшей давить такие избранные натуры, какими были Пушкин и Лермонтов. Они задыхались в этой атмосфере и в безвыходной борьбе должны были разбиться или заглохнуть. Да, действительно, не Мартынов, так другой явился бы орудием неизбежно долженствовавшего случиться.

Здесь в концу нашего труда да позволит нам читатель указать ему на стихотворение Лермонтова, писанное им в самом начале его поэтической деятельности, вполне могущее служить иллюстрацией только что сказанного:

Поверь, ничтожество есть благо в здешнем свете!..
К чему глубокие познанья, жажда славы,
Талант и пылкая любовь свободы.
Когда мы их употребить не можем?
Мы, дети севера, как здешние растенья,
Цветем недолго, быстро увядаем...
Как солнце зимнее на сером небосклоне.
Так пасмурна жизнь наша, так недолго
Ее однообразное теченье...
И душно кажется на родине,

И сердцу тяжко, и душа тоскует...
Не зная ни любви, ни дружбы сладкой,
Средь бурь пустых томится юность наша,
И быстро злобы яд ее мрачит,
И нам горька остылой жизни чаша,
И уж ничто души не веселит.

Пятнадцатилетний юноша высказал ясно и верно положение выходящих из ряда индивидуальностей среди современного мира.

Не станем подвергать критическому анализу всякие соображения и рассказы о причинах, побудивших Мартынова вызвать Лермонтова на поединок. Мы попытались проследить истину. Теперь скажу только еще по поводу одного навета, который вышел главным образом от людей, расположенных к Мартынову.

Говорили, что Мартынов заступился за честь сестры, будто бы выставленной поэтом в княжне Мэри, так же, как в Грушницком был выставлен сам Мартынов. Эта нелепая догадка отпадает сама собой после всего, что было сказано нами относительно «Героя нашего времени».

Другие утверждали, что вступился Мартынов за честь своей сестры вследствие непозволительной проделки со стороны Лермонтова. Она будто состояла в том, что отец Мартынова дал Лермонтову, уезжавшему на Кавказ, пакет для своего сына. Пакет был запечатан, и в нем находилось письмо сестры Мартынова, которое она посылала брату. Влюбленный в Мартынову (?) Лермонтов ужасно желал узнать, какого о нем мнения красавица. Он не удержался и удовлетворил своему любопытству. Про него говорили дурно. Отдать вскрытое письмо по назначению стало неудобным, и Лермонтов решил сказать Мартынову, что он в дороге потерял пакет. Но в пакете были деньги. Задержать их Лермонтов, конечно, не мог и передал их Мартынову сполна. Когда Мартынов написал об утрате домой, его известили, что Лермонтову не было сказано, что в пакете 500 рублей. Как же мог он это узнать? Очевидно, он вскрыл письмо. Мартынов вознегодовал на товарища, а Лермонтов, чувствуя себя виновным, всячески придирался к Мартынову и, наконец, довел до дуэли. Вся несообразность и деланность ясна. Если даже допустить (?), что любопытство могло побудить Михаила Юрьевича распечатать чужое письмо, то немыслимо, чтобы он — умный человек — мог подумать, что дело останется неразъясненным? Не проще ли было уж и не отдавать денег, пока не выяснилось бы, что таковые были в пакете и тогда возвратить их. Не говорим уж о том, что весь рассказ о письме противоречит прямому и честному характеру поэта. Его и недруги не представляли человеком нечестным, а

только ядовитым и задирой.

Даже за гробом преследовала Михаила Юрьевича клевета и злоба. Цензура не пропускала слишком сочувственных о нем отзывов, не терпела выражений высокого уважения к поэту; она вычеркивала слова: славный, знаменитый и проч. У А.А. Краевского видели мы прбцензурированный лист стихотворений Лермонтова из «Отечественных записок» N 1, 1848 г. Помещая стихотворения, редактор предпосылает им заметку свою: «Не входя в рассмотрение литературного достоинства стихов 15-летнего поэта, мы желаем сохранить их на страницах нашего журнала, в котором он почти начал свое кратковременное, но славное поприще».

Цензура зачеркнула слово славное. Краевский рассказывал и о других подобных случаях. Не то же ли происходило по отношению к памяти А.С. Пушкина?

Вообще, очевидно старались по возможности сдержать симпатию к молодому поэту, а память его зачернить и распространить в обществе, как и прежде, о нем дурное мнение. Был пущен слух, как бы в подтверждение того, что в самых высших сферах Лермонтова очень не любили, и что по получении известия о смерти Лермонтова, государь сказал: «Собаке — собачья смерть!» Это положительно неправда! Известие пришло в присутствии дежурного флигель-адъютанта А.И. Философова, родственника Михаила Юрьевича, и Государь решительно ничего подобного не говорил. И государь, и великий князь Михаил Павлович, как мы видели выше, являлись защитниками Михаила Юрьевича от слишком ревностных преследователей его личности и таланта. Надо предполагать, что распространение таких вестей было на руку Бенкендорфу

Лучшие люди, с сердцем и умом, относились к памяти поэта с уважением и негодуя выражались о виновниках его гибели.

На сообщение полковника Траскина об обстоятельствах дуэли и смерти Лермонтова П.Х. Граббе отвечал ему: «...Несчастная судьба нас, русских. Только явится между нами человек с талантом — десять пошляков преследуют его до смерти. Что касается до его убийцы, пусть на место всякой кары он продолжает носить свой шутовской костюм».

А.П. Ермолов по поводу ранней смерти Лермонтова говорил: «Уж я бы не спустил этому Мартынову. Если бы я был на Кавказе, я бы спровадил его; там есть такие дела, что можно послать, да, вынувши часы, считать, через сколько времени посланного не будет в живых. И было бы законным порядком. Уж у меня бы он не отделался. Можно позволить убить всякого другого человека, будь он вельможа и знатный: таких завтра будет много, а этих

людей не скоро дождешься!» И все это сребровласый герой Кавказа говорил, по своему слегка притопывая ногой.

Князь П.А. Вяземский, известный поэт наш, замечает по поводу известия о смерти Михаила Юрьевича: «...В нашу поэзию стреляют удачнее, чем в Луи Филиппа. Вот второй раз, что не дают промаха». По случаю дуэли Лермонтова князь А.Н. Голицын рассказывал мне, что при Екатерине была дуэль между князем Голицыным и Шепелевым. Голицын был убит и не совсем правильно, по крайней мере, так в городе говорили, и обвиняли Шепелева. Говорили также, что Потемкин не любил Голицына и принимал какое-то участие в этом деле.

В январе 1842 года состоялось по делу о смертельной дуэли Лермонтова высочайшее повеление (от 3 января): «Майора Мартынова посадить в Киевскую крепость на гауптвахту на три месяца, и предать церковному покаянию. Титулярного советника князя Васильчикова и корнета Глебова простить, первого во внимание к заслугам отца, а второго по уважению полученной тяжелой раны».

В январе же последовало Высочайшее соизволение на перевоз тела поэта из Пятигорска в пензенское имение Арсеньевой село Тарханы для погребения на фамильном кладбище.

Бабушке Арсеньевой долго не решались сообщить о смерти внука. Узнав о том, она, несмотря на все предосторожности и приготовления, вынесла апоплексический удар, от которого медленно оправилась. Веки глаз ее, впрочем, уже не поднимались. От слез они закрылись. Все вещи, все сочинения внука, тетради, платья, игрушки — все, что старушка берегла — все она раздала, не будучи в состоянии терпеть около себя что-либо, чего касался поэт. Слишком велика была боль! Потому-то так трудно приходилось собирать повсюду рассеянный материал для полного собрания сочинений Лермонтова и биографии его.

Скончалась Арсеньева в 1845 году. Мартынов отбывал церковное покаяние в Киеве с полным комфортом. Богатый человек, он занимал отличную квартиру в одном из флигелей Лавры. Киевские дамы были очень им заинтересованы. Он являлся изысканно одетым на публичных гуляньях и подыскивал себе дам замечательной красоты, желая поражать гуляющих и своим появлением, и появлением прекрасной спутницы. Все рассказы о его тоске и молитвах, о «ежегодном» навещании могилы поэта в Тарханах — изобретения приятелей и защитников. В Тарханах на могиле Лермонтова Мартынов был всего один раз проездом.

Тело Михаила Юрьевича было вырыто из кавказской земли и привезено в Тарханы 21 апреля 1842 года. Через два дня оно было

положено в землю родимого села рядом с прахом матери.

Лермонтов скончался, а над его могилой громче прежнего поднялись крики о его легкомыслии, ничтожности, подражательности, необразовании, пошлой шаловливости — невыносимости характера. Кричали много и громко, заглушая голоса, певшие ему хвалу.

Бычачий рев всегда заглушает соловьиное пение. Но время берет свое; потому уже, что оно, то медленно тащится, то несется, но всегда идет навстречу истине, то есть прогрессу и совершенствованию всего человеческого и идеального.

Юноша Лермонтов, зреющий еще только человек и поэт, скошенный в самом начале своего могучего созревания, являлся с детства уже вполне определенной индивидуальностью. В эпоху всеобщей нивелировки личностей он проходил жизненный путь нравственно одиноким, с глубокой думой на молодом челе. Юные силы, характер, темперамент не могли развиваться, идти в уровень с быстро совершенствующейся, самобытной мыслью в нем. Между ними был разлад, как между полными думы глазами — этим зеркалом мысли — и детским выражением губ — рефлектором чувств и ощущений человека.

С годами этот разлад должен был исчезнуть совсем; он уже начинал исчезать, но гармония сил пока еще не установилась. Существующий внутри человека разлад и разлад человека с окружающим обществом, ничтожным и шаблонным, должен был выразиться в тяжком нравственном страдании, тем более тяжком, что любящая душа, бичуемая далеко опередившей мыслью, искала прибежища в гордости духа, упорно отказывавшего людям заглянуть в тайник дум и мук своих. Избыток молодых сил требовал, однако, выхода и участия в жизни.

Михаил Юрьевич не достиг еще тех лет, той гармонии и совершенства, когда, весь поднимаясь в область мысли, гениальный человек реет, как горный орел над землей, все видя, все замечая своим проницательным оком. Для него не наступила еще та пора, когда творчество, охватив все существо, уносит человека над обыденной жизнью. Юноша еще должен был знакомиться с этой жизнью для уразумения, для совершенствования самого себя и обогащения в себе творческого материала. Он много читал, учился, мысленно беседовал с умами великих людей в их сочинениях. Между трудом ознакомления с ними и с жизнью окружающей проходил его досуг. Отрываясь от мира идей и входя в жизнь общества или товарищей, он не находил между ними ничего общего. Разница между жизнью идей и действительностью была так велика, что не могла не вызывать в нем горькой насмешки, и с разочарованных уст его невольно

срывались слова, задевавшие ничтожное самолюбие людей вполне собою довольных.

Чем моложе и, следовательно, несдержаннее был Лермонтов, тем более ощущалась рознь между ним и большинством современников, тем более ненавидели его с ним сталкивающиеся шаблонные люди. С годами это сгладилось бы настолько, насколько поэт, пришедший в гармонию с собой, реже бы спускался с высот своей идейной жизни, менее бы сталкивался с ними. Глядя на него издалека, сквозь призму произведений его гениальной фантазии и жизненного понимания, не сталкиваясь с ним близко, все мелкое и заурядное отнеслось бы к нему без чувства личной досады и уязвленного самолюбия.

Лермонтов начинал это понимать, он начинал сознавать, что ему надо жить исключительно для того, на что он был призван, что ему не следовало более вращаться в сферах обыденной, им уже познанной жизни; но с одной стороны, его не выпускали из нее, его злобно и насильно приковывали к среде, в которую его забросила судьба, с другой, сам он, повторяю, не успел еще установить вполне гармонию своего внутреннего существа.

Роковое совершилось!.. Он пал под гнетом обыденной силы, ополчившейся на него, пал от руки обыденного человека, воплощавшего собой ничтожество времени, со всеми его бледными качествами и жалкими недостатками. Тленное истлело, но высоко и все выше поднимается нетленное им созданное, и русская нация, и нации иноземные воздают справедливость хоть юному еще, но бессмертному гению.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Желая дать по возможности полную биографию М.Ю. Лермонтова, я собирал материал для нее начиная с 1879 года. Я мог, однако, заниматься только урывками. Тщательно следя за малейшим извещением или намеком о каких-либо письменных материалах или лицах, могущих дать сведения о поэте, я не только вступил в обширную переписку, но и совершил множество поездок. Материал оказался рассеянным от берегов Волги до Западной Европы, от Петербурга до Кавказа. Иногда поиски были бесплодны, иногда увенчивались неожиданным успехом. История разыскивания материалов этих представляет много любопытного и поучительного, и полагаю со временем описать испытанное мною. Случалось, что клочок рукописи, найденный мной в Штутгарте, пополнял и объяснял, что случайно уцелело в пределах России.

Труда своего я не пожалел; о достоинстве биографии судить читателю. Я постарался проследить жизнь поэта шаг за шагом, касаясь творчества его в связи с ней.

Необходимо было бы написать еще и подробное критико-литературное изыскание о нем. Тогда образ Лермонтова, как человека и писателя, еще яснее вырезался бы из тумана различных мнений и суждений русских и европейских критиков. Каждый великий поэт и писатель является продуктом не только жизни, но и литературных толков, родных и чужеземных. Касаться толков этих в своей книге я мог лишь слегка и намеками; это требует особого изучения и особого труда.

Что касается внешней стороны издания, то трудность редактирования его значительно увеличивалась тем, что печатание происходило в Москве. Корректура и объяснения письменным путем весьма затруднительны и подают повод к недоразумениям, отражающимися на издании. К довершению бед в начале июня пожар в типографии истребил часть уже отпечатанных томов (рукописи сгорело немного). Пришлось некоторые части и отдельные листы набирать снова. Спешность работы повлекла за собою некоторые недосмотры, которые приходится исправлять только в главных чертах, прилагая к изданию перечень важнейших опечаток.

Опубликовано отдельным изданием: Висковатый П.А. М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. М, 1891; ранее публиковалось отдельными частями: Русская мысль. 1881 — 1883.

Висковатый (Висковатов) Павел Александрович (1842 — 1905) — русский историк литературы.